

ISSN 0132-0637

1997

8

Октябрь

Октябрь

8 1997

книжное обозрение

18 МАРТА 1997 г.

The BOOK
REVIEW

ВЫХОДИТ С 1966 г.

№ 11 (1605)

10 Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ-97)



Девиз: «Книга на службе мира и прогресса»

Организатор — Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок
Государственного Комитета РФ по печати.
Срок проведения — 3–8 сентября 1997 г.

Сегодня на этой странице наш друг — еженедельная газета «Книжное обозрение».

Она для тех, кто любит книгу, любит литературу, родной язык, Отечество свое той «странною любовью», что присуща истинным патриотам. Она знает о книгах России, кажется, все.

Если вы захотите поближе познакомиться с «Книжным обозрением», вот координаты газеты:

Подписной индекс — 50051

Адрес: 129272, Москва, Суцевский вал, 64

Телефон: 281-62-66

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

1997

АВГУСТ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий НАЙМАН. Великая душа. Из книги «Славный конец бесславных поколений»	3
Бахыт КЕНЖЕЕВ. Сочинитель звезд. Стихи	23
Александр МЕЛИХОВ. Высокая болезнь. Повесть	27
Ольга АРЕФЬЕВА. Будем Были. Стихи	61
В. ЗУБЧАНИНОВ. Повесть о прожитом. Окончание	64
Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы	135

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Юрий БУРТИН. Выход из кризиса: инвентаризация иллюзий	161
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Панорама

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. Среди рам и картин	177
--	-----

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Века за плечами и 150 лет впереди **183**

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Однажды в Америке **188**

В несколько строк

Б. ФИЛЕВСКИЙ.
Лавка букиниста **191**

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать
по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,
по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —
по факсу: (095) 238-46-34,
по телефону: (095) 238-49-67,
по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 30.06.97. Подписано к печати 22.07.97. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9180 экз. Заказ № 1904. Цена 15 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1792 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-Mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Великая душа

ИЗ КНИГИ «СЛАВНЫЙ КОНЕЦ
БЕССЛАВНЫХ ПОКОЛЕНИЙ»

Фигура Иосифа Бродского не просто напрашивается на роль главной в книге, названной «Славный конец бесславных поколений» и сосредоточенной почти целиком конкретно на его поколении, — она представляется фундаментом и одновременно шпилем всей ее конструкции. Между тем она первая скорее выпадает из идеи как бесславного поколения, так и его славного конца. Во всяком случае, не такое бесславие и не такую славу имел в виду автор, замышляя книгу.

28 января 1996 года поэт умер, и сразу обнаружила себя напористая тенденция максимального упрощения его судьбы, сведения ее к схематичной легенде. Многие, и я в их числе, сказали в тот день: «Солнце нашей поэзии закатилось», — но тогда в этом многократном повторении фразы, произнесенной когда-то на смерть Пушкина, звучала прежде всего тоска по тому, что «солнце закатилось», а не утверждение того, что умер второй Пушкин. Хотя, как выяснилось вскоре, и оно тоже.

Собственно говоря, его сопоставление, сравнение и логически вытекавшее уравнение с Пушкиным осуществлялось именно через упомянутое упрощение. Ведь Пушкин тоже был не реальный, тоже примитивизированный: лицей, где он чему-то как-то учился, а больше грыз гусиное перо; Державин, передавший лиру; донжуанский список; ссылка; травля; молоденькая далекая от его интересов красotka-жена; и толкуемая аллегорически дуэль: с обществом, с миропорядком. Близкая до неприличия схема составлялась и из биографии Бродского и обкатывалась, обнашивалась, подавалась еще при его жизни, хотя и не в лоб, — из опасения получить в лоб от него реального. Так что не Пушкин как таковой был целью проведения параллелей, а чертеж того, что в представлении людей есть великий поэт, — чертеж, на который в России раз навсегда перенесены грубо контуры Пушкина.

Сейчас в сознании широкой публики Бродский — это тот, кого арестовали, сослали на Север, выперли за границу, и там он получил Нобелевскую премию. У более осведомленных круг связанных с ним обстоятельств пошире, но за перечисленные пушкинские не выходит. И что любопытно и что забавно, расходится весь этот круг обстоятельств, только этот круг и ничего, кроме этого круга, от людей *хорошо* осведомленных, в той или иной степени близких Бродскому и формирующих мнение о нем. Еще и еще раз публикуются в газетах и по телевидению факты или прежде известные, или смущающе похожие на них, так что нам уже непонятно, к кому выходил из коношской тюрьмы Бродский с белыми ведрами: к тому, к кому выходил, или к тому, кто был в это время за тридцать километров от Коноши, или ко всем, кто навещал его в Архангельской области.

Место Державина, естественно и логично, отдано Ахматовой. Журнал «Звезда» напечатал четверостишие «О своем я уже не заплачу» — с посвящением Бродскому, взятым в угловые скобки. В обиходе житейском это, согласно той же Ахматовой, называется «народные чаяния»: у Ахматовой нет стихов, *посвященных* Бродскому. «Последней розе» предпослана строчка из его стихотворения, но эпиграф, как известно, не посвящение. Единственное основание

считать посвященным четверостишие «О своем...» добыто, насколько я понимаю, из книги «Рассказы о Анне Ахматовой», где автор очень осторожно говорит, что оно с самого начала ассоциировалось у него с Бродским из-за «золотого клейма неудачи» — рыжих его волос.

У Ахматовой было индивидуальное отношение к каждому из нас. Например, к Бобышеву, Бродскому и мне, удостоенным «Роз» — «Пятой», «Последней» и «Запретной» (с вариацией в «Небывшей»), — более личное, чем к Рейну. И к Бродскому более высокое, чем к остальным. В 1964 году она знала, какой он поэт, какого ранга, а мы нет. И никто, кроме нее, тогда не знал. Через четверть века биограф Бродского Валентина Полухина интервьюировала меня на пути из Ноттингема в Стратфорд-на-Эвоне. Дело было в автобусе, я сидел у окна, с моей стороны пекло солнце, деваться было некуда, поэтому вопрос «когда вы поняли, что он великий поэт?» (или даже «гений») я отнес к общему комплексу неприятностей этой поездки и огрызнулся, что и сейчас не понимаю. Охладившись, подумал, что все-таки вопрос поставлен некорректно, некорректность в слове «когда»: когда, начав с его 19, моих 22 лет и потом годами видясь чуть не каждый день и ни сначала, ни потом ничего подобного себе про него не говоря, можно вдруг сказать: «Это не он, это великий поэт Иосиф Бродский»? Ахматова же поняла это сразу.

Что такое великий человек, в чем его *величие*, трудно определить. Я в своей жизни с «великими людьми» не встречался и тех, не знакомых мне лично, о ком говорили как о таковых, таковыми не сознавал. Мне и в величие Наполеона приходится верить только потому, что о нем так думал Раскольников. Я близко знал несколько человек значительных, *очень* значительных, однако линии рисунка, которые оставляет печать величия, обнаружил разве что на Ахматовой — в том виде, как мы это себе представляем по художественной литературе. Но даже от нее — сильнее, от остальных же — исключительно было ощущение не величия, а некоей *великости*, проявляющейся наглядно, метрически — гео-, стерео-, в четвертом измерении. Как сама она однажды, рассказывая что-то о своем превышающем обычные размеры коте Глюке по кличке «полтора кота», неожиданно прибавила про Бродского: «Вы не находите, что Иосиф — типичные полтора кота?»

Это, пожалуй, я чувствовал с начала. Он говорил насыщенно, насыщенней, чем другие. Правда, неорганизованно, сплошь и рядом это сводило насыщенность на нет, но все равно с самых первых встреч он во время разговора не давал лениться, отдыхать на сторонней мысли, обдумывать собственную тему, если вел свою, заставлял за словами, которые произносил, следить, ни одного не пропуская. Когда читал стихи, успевал еще на них сам же реагировать: дескать, не совсем то, не так, не получилось, совсем не то — иронически хмыкал, морщился, самоиздевательской улыбкой извинялся.

Так было в период от «Мимо ристалищ, кладбищ» и «Играй, играй, Диззи Гиллесли», поэтики тогда общепринятой, то есть подражательной — «геологической», «подгитарной», «компанейской», — до «Шествия» включительно, вещи еще бесформенной, довольно монотонной и, в общем, банальной, однако производившей уже впечатление своими габаритами, превышающими все мыслимые. Году к 62-му все стало на свои места, он заговорил своим голосом, который потом менялся только качествами — леденел, горчел, дистиллировался. Три, максимум четыре года нахождение пути от поэзии вообще, пусть и талантливой, до своей, личной — эта стремительность развития тоже впечатляла, тоже мерой обходившей, опережавшей привычные, на сей раз временной.

То, что он бросил школу после седьмого класса и дальше *образовывал* себя вне систем, по-своему, поработало на его уникальность, закрепляло его неповторимость, отдельность от других. С пятнадцати лет он стал усваивать знание свободно, сам выбирал (разумеется, через кого-то из тех, с кем разговаривал, через прочитанную книгу, которая ссылалась на другую), сам решал, когда сказать «а, понятно». Это могло привести и зачастую приводило к тому, что мысль и интуиция опережали знание, *его* мысль и интуиция — *предлагаемое* ему знание, он произносил «а, понятно» на середине страницы, тогда как главное, иногда опровергающее, заключалось в ее конце. И Византия не такая, как он ее проглотил, а потом переварил в своем эссе, и Рим не сходится с фактическим, и стоицизм не выводится из поздних стоиков вроде Марка Аврелия, и даже ан-

глийские метафизики не вполне такие, и даже его возлюбленный Джон Донн. Но, как воспетый им пернатый хищник, он знал, куда смотреть, чтобы найти добычу, и в отличие от крыловского петуха знал, что делать с выклевыванным из кучи жемчужным зерном, а выклевывал его почти всегда.

Правда, к хорошо, систематически, в особенности к европейски образованным людям в нем до конца дней сохранялся некоторый пиетет: присыпанный обязательной насмешливостью, но пиетет. Уже в Нью-Йорке я описывал ему свою недавнюю встречу с нашим общим другом, голландцем Кейсом Верхейлем, и по ходу рассказа произнес: «На это я решил промолчать». «*Забоялись* западного интеллектуала?» — немедленно пошел он. Я даже не понял сперва: мне в голову не приходило, что Кейс для меня западный интеллектуал, — хотя, вероятно, для третьих лиц именно такая его характеристика и содвигалась бы. Промолчать я тогда решил, просто не желая ни соглашаться, ни не соглашаться с ним, ибо согласием сколько-то предал бы человека, которого люблю и которым он был невольно обижен и за это в разговоре со мной упрекал, а несогласием усугубил бы его обиду... Но я жил в России, где, прежде чем проникнуться уважением к европейскому интеллектуалу, надо еще примерить его на российскую действительность, на втискивание в переполненный автобус, клубящиеся очереди, покупку того, что есть, а не того, что хочешь, недоброкачественную пищу, полгода зимней темноты и холода, на государственные газеты и книги и, наконец, на государственное «зайдите-ка к нам», раздающееся по частному телефону. Или самому прорвать все это, выйти в пространство, где такой интеллектуализм имеет реальное содержание, — что Бродский и сделал.

В 88-м, когда мы встретились в Нью-Йорке после шестнадцатилетнего перерыва, я увидел его полутора-котовость в расцвете, в полноте, в зените. Он откликался на всякий предмет, иногда такой, который до той минуты не мог быть ему известен, стартовал сразу энергично, случалось, и невпопад, и вокруг да около, но даже и в этом рысканье, подыскивании нужного слова и нужного решения не давал тебе роздыху и спуску и в конце концов выговаривал что-то существенное, неожиданное. О вещах же прежде обдуманных начинал говорить, как будто объясняя тебе еще не, а другим уже известное, как будто повторяя однажды прочитанную лекцию, цитируя из когда-то написанной книги, но и тут после первых фраз зажигался, увлекался поворотами мысли, которые выражались у него в поворотах речи, опять-таки превосходивших обыкновенные степенью точности и концентрированности.

У Ахматовой и еще двух (может быть, трех) крупного калибра людей, с которыми я за жизнь был близок, это проявлялось иначе, но во всех случаях как нежданный плюс к тому, чего от них ждал. То есть и плюса этого тоже ждал, но никогда не знал, где и как он проявится. Определяющая разница между ними и Бродским заключалась в том, что они видели и слышали собеседника и в большей или меньшей мере взаимодействовали с ним, тогда как для Бродского он был повод для еще одного доказательства, но прежде всего ратруб громкоговорителя, поглощавший произносимые Бродским слова. Не то чтобы он не прислушивался, но, и слыша, исходил из того, что знает и может сказать на всплывшую тему больше и лучше собеседника, если только тема не узко специальная, а на узко специальную вообще нечего тратить время. Я имею в виду главным образом последний период, когда понимание мира и знание жизни достигли у него уровня неопровергаемости, присущее же ему с юности качество *сообщать*, а не общаться — завершенности.

Году в 90-м у меня обнаружили в Англии троюродные кузены, все врачи. (За сто лет до того их дед эмигрировал из Риги, а его сестра, моя бабка, осталась и в декабре 1941 года была расстреляна немцами.) Неожиданный родственник из России, вообще говоря, нежелательный дар судьбы, тем более и родство дальнее, но я держался независимо да и пташка был для их стаи редкая, рашн поэт, так что мы подружились. В конце моего оксфордского года они придумали съехаться к нам на прощальный ланч. Накануне условленного дня вдруг позвонил из Лондона Бродский и сказал, что хочет завтра нас навестить, придет часов в пять, с ночевой. Я прикинул, что ланч в час, досидят кузены по местным обычаям до полтретьего, ну до трех, и сказал, что ждем. Потому что знакомство чужих людей, один из которых Бродский, агрессивно неприязненный уже потому, что надо знакомиться, а потом и потому, что такие чужие

и не за тем я к вам, А. Г., в Оксфорд тащился,— не хотелось и в воображении разыгрывать.

Кузены с женами, шесть докторов, от ортопеда до психиатра, и всё «европейские величины», лучше консилиума не собрать, в русском доме по-русски разнежались, про время забыли и досидели до четырех. В четыре приехал Бродский, увидел, ошетинился, напрягся, закрылся, те и вовсе перестали торопиться, и как хозяин потянул я этот воз со скрипом. Уже, сказав по ходу дела *изэр*, был он поправлен кузеном-офтальмологом на *айзэр* и рывкнул, что это здесь, у них, которые манерничать любят, *айзэр*, а нормальные люди, как в Америке, говорят *изэр*; уже спросил меня по-русски, где я набрал таких *монстров*, слово, замечу, международное,— и тогда инстинктивно выдернул я тему, которая должна была, по моим понятиям, всех объединить, а именно: что мне предстоит операция грыжи. Их она должна была взволновать как врачей, его — как друга.

«Это не грыжа,— немедленно сказал он,— это рефлюкс эзофагит,— и с вызовом посмотрел на врачей.— Это такой клапан между пищеводом и желудком. Края с годами стираются, его начинает мотать в обе стороны,— он показал ладонью,— пища забрасывается наверх, становится не различить, изжога это, язва или сердце». Кузен-уролог перегнулся ко мне за спиной жены и прошептал: «О чем он? Где он это вычитал?» Странная речь, однако, имела странный успех — по той простой причине, что от его речи, любой, исходило сильнейшее обаяние,— по докторским лицам прошла волна умиления, его лицо тоже потеплело. Наконец они ушли. Через день он позвонил из Лондона: «Слушайте, а у вас не паховая грыжа?» Я ответил, что паховая. А выпирает? А тянет? А в ногу отдает? А когда что-то поднимаете, то вздувается? Все разузнав, он сказал, что и у него так же и ему, стало быть, надо ложиться на операцию,— и после секундной паузы сделал обобщающее заключение: «Вот так мы и лечимся — друг у друга».

Конечно, в последние годы его авторитарность бросалась в глаза, но должен сказать, что в молодости желание настоять на своем, сломить чье-то несогласие было ничуть не меньше. Может, и больше, но тогда еще требовалось доказывать, что то, что он говорит, истина только потому, что он это говорит. Тому, кто в течение пяти, семи, десяти лет и, главное, *только что* был Осей, а то и Оськой, сделать это нелегко. При живой Ахматовой — вообще невозможно. Да и после ее смерти, даже на фоне мощной подпитки славой, слетевшей на него вслед за судом и ссылкой, передававшейся из уст в уста и по радио, необходим был новый стиль поведения на людях.

Компания братьев Виноградовых, Еремина, Герасимова, Уфлянда однажды позвала нас смотреть какой-то международный футбол по телевизору, с предполагавшейся по окончании выпивкой. За игрой следили постольку поскольку, а больше насмешничали друг над другом, пронзительно шутили и требовали того же от нас. Тогда Бродский был в этом не силен, чувствовал себя, уступая другим, неуютно и, едва кончился матч, сказал, что уходит. Его уговаривали остаться, он был неумолим, Леня Виноградов проводил его до выхода на лестницу и, вернувшись, картинно встал в дверях и произнес, скандируя с нарочитой торжественностью: «От нас ушел большой поэт!» (как принято было тогда говорить на официозных похоронах).

Новый стиль выработался быстро и органично. В гостях, не говоря уже о выступлении публичном, он с первых минут начинал поработать аудиторию, ища любого повода, чтобы напасть и превозмочь всякого, кто казался способен на возражение или просто на собственное мнение, и всех вместе. И аудитории это, в общем, нравилось. И он это знал. Читением стихов, ревом чтения, озабоченного тем в первую очередь, чтобы подавить слушателей, подчинить своей власти и лишь потом донести содержание, он попросту сметал людей. Стихи были замечательные, но собравшаяся компания или зал, естественно, не могли этого вместить, что называется, с ходу, поэтому им следовало дать это понять адекватным звуком, напором, воем, пением, громом, лишить их воли — как это в недалеком будущем сделали с террористами голландские реактивные истребители, один за одним проповорвшие воздух в нескольких метрах над захваченным теми поездом. Прибавим к этому заключенную и в самих стихах, и в голосе, сгущенном в черепной коробке, как под виолончельной декой, напевность —

пленительную, гипнотизирующую. Вскоре как-то уже не шутилось про «большого поэта» — все, включая шутников, поверили, что он большой, и, подшучивая, ты тем самым записывал себя в более мелкий разряд, и уж не из зависти ли ты это делал?

Сразу оговорюсь, что звук был первичнее какого бы то ни было намерения, звук был не орудием, а целью, и вообще *в начале был Звук*. Всякий стих и все стихотворение непременно проходят этап чисто звуковой, дописьюменый, и, уже будучи записаны, продолжают в этом звуке существовать, и донесением до публики именно этого звука он и занимался. Вы не усваивали содержания, но вы воспринимали имманентный ему звук. О том, как Бродский его достигал и с ним справлялся, существует почти канонизированный фольклор. В давней молодости он позвонил моей нынешней жене, сказал, что написал новые стихи, хочет прочесть. Стихотворение было длинное, на середине чтения их разъединили. Он узнал об этом, только дочитав до конца и не услышав ее ответа. Перезвонил, выяснил, с какого места пропал звук, сказал, что прочтет снова и будет после каждой строфы просить подтверждения слышимости. Звук набирал силу от строфы к строфе, между ними он успевал спрашивать в обычном тоне «да?», слышать «да» — и следующую начинал с высоты и громкости, на которых оборвал предыдущую.

Много лет спустя я преподавал в Америке, в Брин Море, и он приехал туда на семидесятилетие Джорджа Клайна. С Джорджем мы оба познакомились за четверть века до того, он первый перевел стихи Бродского на английский. В войну он был военным летчиком, это повышало температуру наших чувств к нему. Я поинтересовался тогда у него, нет ли нечестности в таком бою, когда ты не видишь, кого убиваешь, когда летишь в синем небе, а бомбочки упархивают куда-то вбок и вниз — что-то вроде не оскверняющего твою чистоту иудейско-мусульманского побивания камнями с дистанции. Он сказал, что возможно и так, но что точно *не* так, когда на металлическом полу в луже крови плавают один-двое из твоего экипажа, а вокруг что-то все время взрывается и все время попадает в самолет. Бринморское чествование состояло из конференции, посвященной Клайну-философу, и из — гвоздь программы — чтения стихов, сперва Клайном своего английского перевода, потом Бродским по-русски. Посередине, уже разошедшись, он начал «Второе Рождество на берегу незамерзающего Понта» — с полного звука, взревел, вдруг уперся в меня глазами — и расхохотался, даже отвернулся, чтобы дохохотать. Стихи посвящены Э. Р. — нашей английской подруге, прелестной и умнице, с которой я ездил на Острова кататься на коньках и которая подарила мне тогда словарь Webster'a, написав «Учи! и торчи! (Бродский)». Отхохотавшись и посерьезнев, он начал снова — но ровно с той же мощью, с того же взрева, подготовленного всем предыдущим чтением, словно бы вырезав случайный эпизод смеха и смонтировав кадры главного сюжета встык.

В таком чтении, еще когда он был юношей, таился соблазн подчинять зал своей воле, властвовать над ним, все это так, но все это можно и следует отнести за счет издержек молодой, еще не управляемой страсти к превосходству, безудержному желанию заставить всех с собой соглашаться. Я про себя посмеивался, что ему дали имя Иосиф, в 1940 году, когда «Иосиф» и «Адольф» были в моде, а значили как раз это самое. Его и в стихах потягивало тогда говорить за других, вместо других, от их имени. Стихотворение «Остановка в пустыне» было первым, которое при всех своих очевидных достоинствах меня разочаровало трибунным голосом, которым поэт обращался к предположительно внимающим массам, но вокруг все были от него в восторге, и я помалкивал.

Однажды Иосиф позвонил, сказал: «Приезжайте, у меня симпатичный итальянец». Итальянец был ужасно симпатичный, Джанни. Мы пошли гулять, по Литейному к Невскому, было тесновато, нас с ним вынесло вперед, Иосиф с еще одним встреченным по пути приятелем шли сзади. Я спросил у итальянца, собирается ли он переводить Бродского, — он, до тех пор немногословный, с живостью откликнулся, что как раз хотел спросить у меня, какие стихи я бы посоветовал. Я сказал, что принято, да и поэту приятно, когда начинают с последних, тем более что последнее, «Остановка в пустыне», написано белым стихом, легче переводить. Он мгновенно ответил: «Скорее красным», — и я уставился на него, а он, улыбаясь, на меня. До этого мгновения я разговаривал с милым

иностранцем, а тут увидел, с кем. «Меня зовут Анатолий Найман», — сказал я и протянул руку. «А меня Джованни Бутафава», — весело ответил он и пожал ее. (О нем отдельно, отдельно!)

Ахматова, похоже, это — и как свойство натуры Бродского, и как тенденцию — видела; или предвидела. Его преданность ей была безызывной, так же, как ее нежность к нему. Но, сознавая, или предполагая, или допуская, что при его даре и его амбициях ему предстоит — чтобы не сказать: предначертана — судьба поэта с мировой славой, она была сосредоточена исключительно на судьбе поэта, на ее подлинности, которую могут исказить, продешевить, обессилить самые разнообразные соблазны, и из первых — слава. Ей самой слава далась без затрат, никаких специальных действий и поведения от нее не требовала, но она с близкого расстояния наблюдала Гумилева с его литературной политикой и видела, чего это стоило.

Она прощала Бродскому и никому больше житейскую необязательность — проявлявшуюся, кстати сказать, очень редко, как, например, когда он должен был встретить на вокзале приезжавшую из Риги пожилую ее невестку Ханну Вульфовну Горенко с вещами и то ли забыл, то ли проспал. Когда часа через два мы все съехались наконец к Ахматовой, кипел и пыхтел я один, а ни та, ни другая, ни, главное, он виду не подавали, что что-то произошло, о чем стоит говорить, ни Ханну жалеть, ни Иосифу пенять. «Бывает», — как мне сказала потом, улыбнувшись, Ахматова, и эту улыбку, как и необсуждение проступка, я впоследствии наполнил неизвестно откуда и мгновенно пришедшим в голову сюжетом, как будто кто-то мне продиктовал: то ли, что он ночью писал очередную «Элегию Джону Донну» и под утро заснул, то ли, что, наоборот, проснулся вовремя, но стал писать и забылся, — бывает. Тем более что ведь обошлось же все.

Зато, когда после «Исаака и Авраама», всеми высоко оцененных, он вскоре начал еще одну вещь на библейский сюжет, она высказалась резко в том смысле, что Библия не сборник тем для сочинения стихов и хотя каждый поэт может натолкнуться в ней на что-то свое, собственное, но тогда это должно быть исключительно личным, и что нечего эксплуатировать однажды добытый успех. Также и когда его любовный роман, о развитии которого мы знали не только по пронзительным стихам, но и по наблюдаемым с близкого расстояния обстоятельствам, а то и по вынужденно принимаемому участию в них, переместился почти целиком из поэзии в быт, она сказала: «В конце концов поэту хорошо бы разбираться, где муза и где *блядь*». (Прозвучало оглушительно — вроде «пли!» и одновременного выстрела; это слово она произнесла еще однажды, но в цитате, а вообще никогда ни прежде, ни после *таких* слов не употребляла. Прибавлю, что к реальной даме это отношения не имело, сказано было абсолютно несправедливо, исключительно из сочувствия и злости, в том же духе, что под горячую руку о бедной Наталье Николаевне, — но отсчет велся от поэта, к нему и выставлялись неснижаемые требования.)

Что касается ее оценки стихотворения, написанного им в ссылке в ответ на призыв властей сочинить что-нибудь патриотическое и напечатанного в местной газете («Мой народ, не склонивший *та-та* головы», с момента написания так и не могу вспомнить слово; рифмуется «ниже травы»), то тут требуется разъяснение. Оценка: «Или это гениально, или я ничего не понимаю в поэзии», — высказанная вслух, когда я привез ей эти стихи, и занесенная в дневник, относится, вероятнее всего, к тому, что Бродский без большого труда блестяще сделал то, чего власть в свое время ждала от нее и что у нее не только совершенно не получилось, а и вышло чуть ли не издевкой — так вымученно и беспомощно выглядел ее цикл «Слава миру». Недаром дальше в дневнике идет упоминание о сыне, ради которого все и предпринималось. Другими словами, ее фразу можно интерпретировать так: «Я, как вам известно, в поэзии понимаю — так вот, я утверждаю, что поэт должен уметь делать в стихах все, в том числе и на заказ, и Бродский сделал это гениально». Думаю, и замечание о его песне «Лили Марлен», в особенности о куплете «Лупят ураганам, боже помоги, я отдам иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взанем под фонарем с тобой вдвоем стоять, Лили Марлен». «Ничего столь циничного в жизни не слышала», — не без восхищения произнесенное, стоит с этим в прямой связи: то есть

если поэт в стихах циничен, то опять-таки цинизм должен быть крайний, высшего класса.

Справедливости ради надо сказать, что и Бродский стихи, которые она тогда писала, принимал не (подобно большинству) как последние добавления к уже готовому корпусу поэзии Ахматовой, а как живые стихотворения поэта-современника, не просто оценивая их, по большей части восторженно, но отмечая и приемы, технику, движения. Про

Или забыты, забиты, за... Кто там
Так научился стучать?
Вот и иди мне обратно к воротам
Новое горе встречать,—

он, между прочим, сказал: «“за... Кто там“ — это она у нас научилась, да? У молодых». (Я не ответил «да», во-первых, потому что надо было вперед самому это почувствовать, а во-вторых, оказывается, правильно сделал, потому что вскоре выяснилось, что стихи были написаны тремя годами раньше, до ее знакомства с нами, то есть, возможно, он был прав про «молодых», но не про «нас».)

Он вообще умел смотреть и всегда смотрел на вещи непосредственно — даже когда научился видеть второй план и третий. «Русским русских показывают», — сказал он (выразительно прокартавив), когда мы проходили мимо Манежа, в котором открылась выставка резьбы, вышивки и пр. и на ступенях публичку встречали экскурсоводши в кокошниках. Думаю, в те годы, когда мы по-настоящему дружили и друг друга любили, шесть-семь с начала 60-х, нас сближало, помимо прочего, и то, что он подчеркнуто ценил это качество и во мне. Одним из наших паролей тогда была максима Акутагавы — для Бродского оставшаяся насущной и животрепещущей на всю жизнь: «У меня нет мировоззрения, у меня есть нервы». (Другим были фолкнеровские «несчастные сукины дети» — о людях, всех, о человечестве.) Потому он так и доверял своей первой реакции, и ориентировался на нее. Часто говорил: «Вы же видели его физиономию» — или: «При такой роже едва ли», — в ответ на допущение, что обладатель физиономии или рожи способен на что-то доброе или путное.

В феврале 90-го года я читал лекцию в его семинаре в Маунт Холиок — «Уроки Ахматовой», — лекцию апробированную, американским студентам уже читанную и всякий раз имевшую успех. Кончив с чувством, что вот одарил еще одну группу алкавших, теперь вопросы, аплодисменты и по домам, я вдруг услышал его вопрос: «Значит, сколько и какие конкретно уроки, давайте коротко сформулируем». Я мог ответить в духе Толстого: «Если бы возможно было сформулировать короче, я не писал бы “Войну и мир“», — но дело происходило в Америке, где дайджест — ядро культуры и искусству сжатых формулировок учатся со школы, так что пришлось попотеть.

Всю вторую половину дня до самой ночи мы проговорили, причем ему это напоминало какие-то наши вечера в Комарове: сосны, сырой снег, огонь в печи (ну, в камине), спешить некуда, — а мне в Норинской: спешить некуда, огонь в печи, тьма за окном, и неизвестно где, в какой дали от места, называемого домом, находимся. Комарово или Норинская, все равно четверть века назад, и от туда бесконечно выскакивали темы для разговора, четверть века назад устремленные к кульминациям, захватывающие, сейчас в виде эпилогов. Всплыл и Элиот, которым и он, и я были увлечены, а потом я понемногу, поняв рецепт, разочаровался. А он? «Тут особенно нечего обсуждать», — сказал он. — Поэт для университетов. И сознавал это, и хотел таким быть». Мы разговаривали как будто на могиле былого: пришли навестить и отдаем дань, не настолько, однако, скорбную, чтобы не говорить свободно. Я сказал, что вот уж кто университетский поэт, так это Паунд: при каждом стихотворении список прочитанной литературы. «Да оба они хороши», — поддал он. Я почувствовал, что хвачено лишку, и решил поправить дело: «Конечно, на фоне Джойса и тот, и другой легоньки...» «И Джойс такой же!» — прикончил он, как будто запер калитку огорды и, не оглядываясь, зашагал к кладбищенского холма на дорогу.

Еще одним объединяющим нас — но тут «мы» уже не двое, а десять, а может, сто, трудно сосчитать аккуратно, — качеством было сохранение независи-

мости во что бы то ни стало, до некоторой даже оголтелости. Ни ломтика из рук, которые угадывались как «чужие», причем угадывались по большей части инстинктивно; ни микроскопической уступки, пусть с перехлестом в сторону отрицания того очевидного, с чем согласен; ни малейшего изгиба позвоночника: прямая шея, прямые плечи, юнкерский взгляд, устремленный в навсегда далекую цель. С годами позиция всех независимых, кого я знаю, включая мою собственную, так или иначе смягчилась, а точнее, размягчилась. Как восклицал Хрущев: «На компромисы мы не пойдем!» — следующей же фразой диалектически объясняя смысл этой клятвы: «Карибский кризис был разрешен с помощью компромиса». Бродский остался рыцарем Независимости на всю жизнь. И как следствие — заложником.

Почти каждую свою реплику в живом диалоге он начинал с «нет». «Нет, не совсем так», — что на нашем языке значило: «Совсем не так». И дальше развивал свои соображения, собственную точку зрения, которая могла дословно совпасть с опровергаемой в начале ответа. Мы ехали в нью-йоркском метро, в вагон вошел молодой, крепкий на вид негр, стал просить милостыню. Я порылся в мелочи, нашел гривенник. Бродский сказал: «Не вздумайте подавать». Его единственным аргументом могла быть только излишне агрессивная назойливость попрошайки. Я пробормотал что-то вроде обычного, что плевать, кто и как просит, главное, что *просит*, и подал. Он фыркнул. Нам было выходить. В дверях он сунул ему три доллара.

В последние годы это получалось почти автоматически, и даже вопреки очевидной абсурдности было понятно: разделять ни чье мнение из тех, кто ему хоть чем-то не нравился, — а ему хоть чем-то не нравился, за редчайшим исключением, каждый, — он, как в принципе любой из живущих, не мог по той причине, что само это «не нравился» было показателем внутреннего расхождения и несогласия; тот же, кто ему нравился, потому, в частности, и нравился, что не лез со своим мнением. Как-то он упомянул, что приглашен в Амстердам прочесть лекцию на столетие Хейзинги. Я спросил, что ему Хейзинга. «Что он мне, я еще не думал, но вы же знаете наш метод: если он утверждает, что «так», я, естественно, утверждаю, что «не так», — потому что ведь действительно не так».

Точь-в-точь по этой логике и схеме он вел себя с Жирмунским году в 63-м, минуты через три после того, как с ним познакомился: стал объяснять старику, что говорить о поэтах «преодолевшие символизм» — значит ни уха, ни рыла не понимать в поэзии, а точнее, филистерский подход к литературе и идет он от пристрастия Жирмунского к немецким романтикам, которые как поэты тоже еще надо посмотреть, достойны ли, чтобы ими занимались. Правда, в тот момент все, исключая только что вошедшего академика, но включая говорившего, были сильно выпивши: дело происходило за обедом у Ахматовой в Комарове. Она мигнула Нине Антоновне Ольшевой, и та немедленно уволокла его из-за стола, «искать грибы».

(Стоит сказать, что смерть Жирмунского — через несколько лет после ахматовской — мы ощутили тоже как перелом — в культуре академической, более далекой от нас. Бродский высказался в том смысле, что он был последний настоящий академик, теперь пойдет мусор. Жирмунский был преданный поклонник, в широком смысле этого слова, Ахматовой, с его юных, приват-доцентских лет. И он был то, что называется чистый: это он в 1916 году, едучи с компанией из Крыма в Петербург, вышел из купе Саломеи Андронниковой, в котором молодые люди вольно острили в вольтерьянском духе, вышел со словами: «Я не могу находиться в одном помещении с людьми, которые в таком тоне говорят о непорочном зачатии». Однажды зимой, вскоре после похорон Ахматовой, мы с Бродским поехали на ее свежую могилу. Мы увидели над ней новый крест, махину, огромный, металлический, той фактуры и того художественного исполнения, которые царили тогда во вкусах, насаждаемых журналом «Юность» и молодежными кафе. К одной из поперечин был привинчен грубый муляж голубки из дешевого блестящего свинца или цинка. Рядом валялся деревянный крест, простой, соразмерный, стоявший на могиле со дня похорон. Потом выяснилось, что новый сделали по заказу Льва Николаевича Гумилева в псковских мастерских народного промысла, но в ту минуту для нас, помнящих

ее живую неизмеримо острее, чем мертвую, и все еще принадлежащую нам, а не смерти, родству и чьим бы то ни было эстетически-религиозным принципам, это было оскорбительно и невозможно, как ослепляющая зрение пощечина. И мы принялись выдирать новый, чтобы поставить старый. Земля была промерзшая, крест вкопан глубоко, ничего у нас не получилось. С кладбища мы отправились на дачу к Жирмунскому. Рассказали. Он встал с кресла, широко перекрестился и сказал торжественно: «Какое счастье! Два еврея вырывают православный крест из могилы — вы понимаете, что это значит?»)

В другой раз Ахматова, уже на улице Ленина, попросила нас не то отнести, не то забрать книгу у Евгеньева-Максимова, он жил в соседнем подъезде. Нас пригласили к столу — на арбуз. Жена внесла арбуз, но почему-то не осталась, мы стали поедать его и благостно разговаривать. То есть хозяин — благостно, а мы согласно помыкивали. К середине второго ломтя Бродского это, по-видимому, стало раздражать, он угрожающе сказал, что Блок поэт никудышный, а вот Баратынский — гениальный и как поэт гениальной Пушкина, — его с юности идефикс, которую сейчас он решил запустить, поскольку хозяин — известный блоковед и вообще филолог. Филолог, миролюбиво улыбаясь, заметил, что недавно была выдвинута такая концепция, что Баратынский в определенном смысле Сальери Моцарта — Пушкина. Бродский пальнул, когда тот еще договаривал последнее слово: «Полный кретин — кто до такого мог додуматься!» — и тотчас в коридоре у самой двери раздался легкий вскрик и что-то упало: то ли второй арбуз из рук стоявшей начеку жены, то ли она сама. Не исключено, что концепция была выдвинута в этом самом доме.

Его постоянная и беспощадная демонстрация своей независимости создавала неуютную, всегда чреватую, а сплошь и рядом раздражавшую скандалом обстановку. Незнакомому человеку находиться с ним в одном помещении больше пяти минут было сильнейшим испытанием: он изматывал своими «нет», «стоп-стоп», «конец света», а то и рыком, средним между Тарзаном и, скажем, быком (если бы быки рычали), с остановившимися как бы в идиотическом восторге глазами. Но сама независимость, в столь полном, целенаправленном, без малейших скидок виде, выдавая не просто незаурядную, а уникальную натуру, почти всем импонировала. Бессознательно, а кто и сознательно, люди соглашались, что выдающийся человек и должен — ну, если не должен, то может — быть таким, так что это никак не мешало его всеобщему признанию. Так или иначе, но, начав с тотального протеста, он пришел к тотальному — чуть не сказал: нигилизму — отрицанию, впрочем, продолжавшему включать в себя и протест, и в конце концов выглядел как бы попавшим в зависимость от независимости.

* * *

Когда он умер, я позвонил Исаее Берлину, сказал, что в эти дни хочется с ним об Иосифе говорить, в частности, расспрашивать, каков он был, когда приехал и в первые годы за границей. Он ответил, что тоже хочет сейчас со мной говорить, но не об этом, а о том, какой он был «тогда, в ахматовские годы, потому что все заседалось и, стало быть, совершилось тогда, а за границей был только сбор урожая». Но, чтобы собрать такой урожай — я имею в виду не «Часть речи», «Уранию», эссе и так далее, которые, допустим, так и так взошли бы и были сжаты, а Нобелевскую премию, оксфордскую мантию, Почетный легион и прочее, — надо было полоть, поливать, унавоживать, наблюдать, причем как следует. Когда Ахматова говорила: «Какую биографию делают нашему рыжему!» — она говорила о тех уникальных поворотах судьбы, за которые он платил болью и рисковал жизнью, а не историю сусальную рассказывала про еврейского мальчика со скрипкой, которого пинали и приглашали за черствую корку играть на свадьбах, а потом он стал звездой и выступал исключительно в Карнеги-холл и Ковент-гарден. А именно так истолковывают ее слова все повторяющие их сейчас с запевом «Ахматова любила говорить...». Это легенда, что она «любила» так говорить; я помню, как она *говорила* это — мне, на веранде в Комарове, за столом в пятах солнца, пробившегося сквозь кроны сосен. Я не против легенд, и мое воспоминание не требует ссылок на себя, но легендам противопоказан дачный стол под клеенкой и солнечные пятна, и по

легенде результатом уникальных поворотов судьбы должны быть не страдание и минуты крайнего риска как таковые, а Нобелевская премия. За премию, однако, надо платить особо, вот этими самыми прополкой, поливкой, молотьюбой.

Не ловите меня на слове, я не говорю, что он этим занимался ради рекордного урожая, но он этим занимался, не так ли? Вынужден был. И дело заключалось совсем не в том, чтобы выбить самые главные призы в глобальном тире и вообще не в честолюбии, а в сознании а) ничтожества, пошлости, самодовольной дисгармонии мира и б) способности своим талантом, энергией и направлением изменить его к лучшему. Парад же регалий, как наклейки лучших отелей на саквояже знатного путешественника, естественным образом сопровождал этот путь, одновременно помогая его совершать. Когда я спросил, с чего он так шумно вышел из Американской академии искусств, когда в нее приняли Евтушенко, а не раньше, когда того же Вознесенского, он дал довольно сбивчивые, малоубедительные объяснения и прибавил без видимой логической связи, но с внутренней кристалльной: «А. Г., вы представляете себе, что было бы, если бы Нобелевку дали кому-нибудь из них?»

Это был ответ на куда более главный вопрос, может быть, главнейший. Не в этой паре конкретно было дело, а в том, что в нашем мире они воплощали и что навязывали миру. Разумеется, и конкретно в них тоже, и это надо себе ясно представлять: на круг, лет двадцать пять, то есть два, если не больше, поколения, они обучали, как и о чем говорить, а значит, как и о чем думать. Они диктовали не просто моду, убогую, для бедных, применительно к политически-эстетическим возможностям перерисовываемую из недоступных публике журналов спецхрана, западных и старых наших, — а таковую же просодию речи общества и через нее строй мыслей: диктовали тем, кто зачинал детей в 60-м году, и этим выросшим детям в 80-м. И Бродский разбил эти гипсовые маски ужимок и подмигиваний и переучил людей их родному языку. Партийно-интеллигентская фея таким поэтически-стёбовым мутантом окончательно ушла к журналистам, речь стала поестественней, поточней, поответственней. Грамматическая и лингвистическая «модель Бродского», обе требующие от ординарного мозга усилий, возобладали. Неслабо, а! Ради этого можно было и постращать аудиторию, подавить на барабанные перепонки, затекшие серой «Бабьего Яра» и «Гойи».

В Нью-Йорке после заупокойной службы на сороковой день его подруга, знаменитая американская писательница, пригласила меня поужинать в ресторане. Мы выбрали «Русский самовар»; хозяин, Роман Каплан, усадил нас за столик в углу, за которым Бродский любил сидеть и над которым теперь висела его фотография. Мы говорили о нем, и я узнавал в ее рассказах его ленинградского, а она в моих — его нью-йоркского. У нее были к нему претензии — в общем, те же, что и я мог бы наскрести. Вдруг в ресторан вошел один из них, из пары. Поздоровался с хозяином, увидел нас, подошел. Начался бессодержательный разговор втроем, в котором она на несколько минут неожиданно объединилась с ним против меня (речь повернулась на Чечню, он был борец за мир со стажем, она — борец за справедливость, «янки вон из Вьетнама», они и познакомились когда-то на провьетнамском антиамериканском конгрессе, где он, представьте себе, защищал ту же идею). Наконец он ушел, мы заговорили по-человечески, и она сказала: «В Джозефе то одно было не по мне, то другое, но мы сейчас разговаривали, и ваш соотечественник — мой единомышленник находился прямо под его портретом, я смотрела на них и только думала горько: какая разница уровней!»

Существует, как говорит мой хороший знакомый, ад поэзии. Ты рождаешься с инструментом в душе, реагирующим на звук и ритм слова, и оказывается, что главный поэт в это время — Константин Симонов. Или Надсон. Или Бенедиктов. Может быть, даже Вячеслав Иванов. Тусклые отсветы, тяжелый воздух. Ты еще не догадываешься, что может быть по-другому, что где-то на подходе Тютчев, или Анненский, или Мандельштам. Тусклые отсветы на стенах твоей пещеры все-таки будоражат мрак, тяжелый воздух извне шевелит спрессованную сырость. Вдруг Симонова-Суркова сменяет Евтушенко-Вознесенский: луч света, глоток свежести! Теперь можно подождать и Тютчева, и Мандельштама. Можно подождать, но можно и не ждать, а самому выйти на де-

ло. И вот получается. Что получается, еще непонятно, не сразу, не до конца, потом будет видно. Но что вместо чего, тут сомнений нет, принято.

Конечно, твоим близким друзьям-соратникам то одно не так, то другое, но ты это сделал. Ты, а ни кто из них; всё, а не одно или другое. Чтобы такое выгорело, должно было сойтись множество факторов и фактов, точно вовремя, точно по месту. И, в частности, цельность, пренебрежение *одним и другим* — тоже необходимое условие. А когда дело сделано, тем паче нечего заниматься пересмотром и допускать, что могло быть не так, как было, или как ты думал и утверждал, что было. Например, насчет лиры, переданной Ахматовой.

Бродский, нельзя сказать, чтобы сопротивлялся навязываемой ему роли и статусу любимого ученика Ахматовой, но, во всяком случае, отнюдь не приветствовал. Довольно определенно он ставил на первое место Цветаеву — и как «поэта без рая», то есть доходящего до края отчаяния, дальше Ахматовой, и как оказавшую на него большее влияние. При этом часто он так говорил о Цветаевой именно в противовес Ахматовой. Он так считал, но тут был еще и замысел. Он не хотел быть не *любимым учеником*, а учеником. Во-первых, это была бы неправда, потому что ни он, ни кто из нас четверых, сентиментально объявленных «ахматовскими сиротами», не был ее учеником, а она нашим учителем в общепринятом, литературном содержании этого слова. Она нас учила, и мы у нее учились, но не писанию стихов, вернее, в последнюю очередь писанию стихов. И, во-вторых, с титулом «ученик Ахматовой» не станешь полноценным «Бродским». Это как должность, и чуть ли не пожизненная, по собственному опыту знаю. («Такой-то, ну секретарь Ахматовой», — представлял меня недавно один издатель своим друзьям, желая, видимо, сделать мне — и им? — приятное. Впрочем, времена все-таки меняются, и я не без мрачного удовлетворения прочел в газете, что к похоронному заведению, где в гробу лежал Бродский, «подъехали в такси ахматовские сироты Рейн и Кушнер».) Бродский предпочел объявить себя учеником Рейна, что и правда, и перекладывает ответственность на учителя. (И немного от «мой первый тренер» — из уст чемпиона мира.)

Но что *любимый*, он помнил всегда, и ценил как мало что на свете, и хранил эту память бережно и целомудренно. В сочетании с сознанием значительности, какой он обладал в последние годы, это породило апломб непререкаемого, единственно верного суждения об Ахматовой; в сочетании с весом, приобретенным в литературном мире, — некоторый, на мой взгляд, перекосящий в формировании публичного представления о ней. Здесь я решаюсь сказать то, что намеренно опустил в «Рассказах о Анне Ахматовой». Тогда, после двадцати лет утверждения официального ее образа, сконструированного из нескольких простых, грубо пригнанных узлов, пусть и расшатанного герценовски непримиримыми, опровергавшими каноническую ложь «Записками» Лидии Чуковской, невозможно было рассказать о личном характере отношений с Ахматовой так, чтобы это хоть в малой степени не отдавало личной выгодой. Автор «Рассказов» взялся почти ниоткуда: какой-то переводчик романской поэзии, когда-то по случаю сотрудничавший с Ахматовой над переводом лирики Леопарди, вот и все.

Между тем наши отношения складывались необычно и остро. Года с 62—63-го она стала вполне доверять мне, и в наших разговорах, или, как тогда не по-людски, казенно стали говорить, в *общении*, появилась конфиденциальность. В то время она интенсивно вспоминала свое начало, возвращалась к обстоятельствам и событиям пятидесятилетней давности, к атмосфере ранней молодости. Дух нашего поэтического поколения, конкретно нашей четверки, творческий, жизнерадостный и энергичный, скажу аккуратно и основываясь на несомнительных наблюдениях, напоминал ей об ее десятих годах прямыми и непрямыми соответствиями. По некоторым признакам, в частности, по неоднократным сравнениям того, как, например, одевался, или вел себя, или реагировал я, с теми или другими друзьями молодости, считаю, что во мне она находила еще и внешнее сходство с ними. Это подтвердилось, между прочим, через несколько лет, когда Аманда Хэйт, начиная курс лекций о поэзии Ахматовой, выставляла перед английскими студентами фотографии людей, так или иначе близких поэтессе, начиная с гумилевской и кончая моей: ткнув в меня, они запротестовали: «Этот уже был», — и показали на известного персонажа десятих годов.

Все это (и, разумеется, то, никакими наблюдениями и анализом не учитываемое, что приводит к творчеству) вдохновило ее на стихи, в которых она *разыгрывала* любовный роман, воспроизводивший в обращенной назад перспективе и отражавший в старых зеркалах ряд реалий нашего с ней единого многомесячного, хотя и разорванного на отдельные фрагменты, разговора, конкретного, всегда немного таинственного, мерцающего, исполненного искренности, чувства, лукавства, напрягаемого внезапным конфликтом, согреваемого быстрым примирением. Некоторые стихи из тех, что я тогда писал, она приводила к знаменателю своих собственных: например, на мои, начинавшиеся «После последней ссоры больше уже не мучь», адресованные третьему лицу, откликнулась ответом «Кто тебя мучит такого», включив их тем самым в «наш», слышимый ею, диалог. Уже тогда до меня доходили слухи, объясняющие наши с ней отношения по схеме, рисуемой желанием мерить всех по своей мерке, как правило, увы, пошло-подлой и, само собой, раскрашенной грязным воображением. Впоследствии я видел что-то в этом роде даже напечатанное, правда, в сочинениях мерзейших насквозь, а не именно на этот счет.

Естественным свойством таких отношений была своеобразная их короткость, большая интимность, взаимное понимание каких-то вещей с полуслова. Намеки, понятные обоим, шутки, ссылавшиеся на какие-то прежние. Возможно, Иосиф, при его установке всегда быть первым, немножко к этому ревновал: пару раз был застигнут на наивном коварстве. Однажды мы втроем подходили к лифту, и вдруг он сказал с невинным выражением лица и интонацией: «Ой, Толя, а покажите, как Анна Андреевна входит в кабину». А входила она, сперва сосредоточенно глядя перед собой в пол, потом делала грузный шаг внутрь и сразу поднимала глаза на зеркало, уже успев чуть вытянуть вперед губы и приподнять подбородок. И я это как-то раз перед ним изобразил. Она обиделась ужасно, несколько дней едва со мной разговаривала.

А еще до этого я среди лета заболел жестокой ангиной, я тогда снимал квартиру в Москве. Она была в Ленинграде, что-то срочное надо было обсудить по телефону, и то ли мой голос, то ли ни из чего не вытекавший поворот на Гамлета в нашем разговоре ее встревожил. Часа через три-четыре раздался звонок в дверь, оказалось, прилетел Иосиф, он у нее в тот момент находился, и она дала ему деньги на билет. Он привез с собой записку от нее и ее новое стихотворение «Тринадцать строчек», переписанное его рукой и ею подписанное. Строчек оказалось двенадцать, одну он пропустил — уникальный сейчас автограф, если только сохранился. Убедившись, что я не умираю, и что-то принеся из магазина, он умчался по своим делам. Вскоре я вернулся в Ленинград, Ахматова встретила меня «вселенским холодом». Через несколько минут выяснилось, что Иосиф по приезде сказал ей: «Ничего страшного, у него адюльтер, и он страдает». У меня в самом деле была тогда какая-то тягостная история, в которую, впрочем, я ни ее не собирался посвящать, ни с ним не делился. «Адюльтер» был не из нашего словаря и подобран специально — чтобы перевести дело в серьезный ранг: вот вы за него беспокоитесь, а он там безумствует, как Бронский с Карениной, и ему не до вас. Признаюсь, и меня это слово настроило на искусственность и некоторую выпренность, почему-то я даже перешел на французский, сказал: «Je avec une femme...» («Я с одной женщиной...»). «...une dame», — поправила Ахматова устало и с презрением.

Повторю, что и ревность, и коварство, если это вообще можно так называть, были незловредными, наоборот; в них было обаяние, присущее почти всем его проявлениям. Ничего не знаю о периоде его нью-йоркского, в частности, преднобелевского штурм-унд-дранга, но когда мы встретились в 88-м году, я обнаружил, что его «министерские» обязанности: отзывать на множество просьб и предложений, устраивать чьи-то дела, участвовать в проектах и так далее — и связанная с ними деловитость, волей-неволей будившие в сознании призрак Гете, ни на йоту не убавили чистоты и детскости его реакций, пленительного азарта, готовности изумляться. Что еще сохранилось с той поры неизменным и что меня в особенности тронуло — это верность «классовому чувству»: те, кого тогда печатали, так и остались — какие бы доброжелательные и милые отношения с ними с той поры ни сложились — «теми, кого тогда печатали» и в этом смысле *не нами*. Тяжеловатость умудренности опытом и знания тайных пружин не мешала голубым глазам выкатываться с той же наивностью,

что и в 58-м. Словом, определяющими качествами были нежность и щедрость того же размаха, что в юности, только с несоизмеримо расширившимися возможностями.

И вот от него такого я услышал (он знал, что я написал «Рассказы о А. А.»): «Оставьте мне вашу рукопись, и мы ее здесь немедленно тиснем». Однако книга ему — не скажу, что не понравилась: он дельно хвалил мне ее, — книга его не устроила. Он об этом сказал уклончиво, как-то мямлил, но другим не упускал случая сообщить, что не одобряет. Компактнее всего он выразил это по поводу следующей моей книги: «Поэзия и неправда»: один критик из эмиграции, прежде чем составить собственное мнение, спросил у него — он ответил в том смысле, что, ну, Толяй *под себя* пишет. Мне он тоже сказал, что не согласен, что пусть и то *о'кей*, и это, и на свой счет он не имеет возражений, но было не так, и вообще, «у вас фразы длинные, а мы же с молодости учились выражаться короткими».

Он написал предисловие к английскому и американскому изданию «Рассказов», по настойчивой просьбе издателей, немного из-под палки. В одном месте он противопоставил «Рассказы» «Запискам» Лидии Чуковской, которые тогда должны были выйти в «его» издательстве, «Фаррар, Страус и Жиру», — в пользу «Записок». Это редкий поворот в жанре предисловий: сообщить читателю, что он читает книгу худшую, чем мог бы прочесть. Впоследствии он сильно хвалил мне мемуары Михаила Ардова: вот где все так, как было. Эти мемуары, насколько я могу судить, по самому своему существу противоречат «Запискам» Чуковской да и тому, что опубликовал со слов Бродского на эту тему, об Ахматовой и тогдашней обстановке, Соломон Волков.

Как автору, мне иметь мнение о «Рассказах» не полагается, но дать аннотацию право есть. Эта книга — комментарий к полутора десяткам ахматовских писем ко мне. Не строгий академический, не исследовательский исторический, не концептуальный литературный, а академический, исторический, литературный, психологический, импрессионистский и какой вы хотите, в той органической связанности этих качеств, которую принято называть человеческой, и в том содержании, которое в них предполагает человек с улицы. Я готов принять, что Бродский смотрел на Ахматову более отстраненно, что ему было открыто в ней что-то иное, нежели мне, возможно, более крупное или более таинственное. Вполне естественно, если он иначе, чем я, может быть, более проникновенно, читал ее «слова прощенья и любви», про которые написал так пронзительно:

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в земле <сырой>, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Во всяком случае, с заменой «родной» земли на «сырую» — ибо и в Комарове сыро, и в Манхэттене, и тем более в Венеции — это теперь навсегда обратилось на него самого. Но в историях, которые Бродский наговорил Волкову на магнитофон, тоже много «не так», фактически. Ахматова, однако, — та. В «Рассказах» не мне судить, та ли Ахматова, но письма — те, и так вышло, что что стоит за тем или иным словом, знаю я и больше никто, и эта коллизия, возможно, его и не устраивала. Если так, то это все равно что его не устраивали сами письма. Так что да, да, я под себя пишу, под свое знание вещей, мне доверенных, писем, ко мне обращенных, справляясь у собственной жизни.

Когда Бродский пообещал напечатать книгу, я еще не понимал, каким могущественным влиянием он обладает. Его рекомендация не обсуждалась, тебе давали грант, место в университете, в журнале, заключали контракт на публикацию, и, наоборот, его неодобрение закрывало возможности — как это на время случилось, например, с аксеновским «Ожогом». Мою книгу он не рекомендовал, но и никак не препятствовал, когда ее захотели напечатать. Историю про то, как он дал убийственную оценку «Ожогу» в издательстве «Ардис», где книгу уже собирались выпустить, мне рассказывали по отдельности Бродский, Аксенов и Ефимов, там тогда работавший, и у всех троих она совпадала в деталях. Единственное, что прибавлял к ней в конце Бродский, был комментарий:

«А по-вашему тоже, мне уже навсегда запрещено говорить, что я думаю, если что-то не нравится?» И я посочувствовал ему.

При таком авторитете он должен был прежде, чем высказать мнение, обдумывать, кому какие слова можно или нельзя говорить. И вообще — он *должен был*. Должен был помогать, рекомендовать, устраивать, писать предисловия. Он делал это безотказно, часто через силу, он помог тысяче людей, но иногда казалось, что у него не было выбора. Если бы он стал отказываться, это значило бы только, что должен был, а не сделал — плохой человек. При всей своей знаменитой независимости, он попал в зависимость еще и от положения, которое занял. Он был хорошим человеком и потому делал.

В 89-м, кажется, году мы провели вместе два дня в Венеции. За полгода до того я сказал, что в декабре приглашен на симпозиум в Турин; оказалось, что он в эти же числа собирается в Венецию, предложил встретиться, мы условились о дне и конкретном месте. Его туда пригласили на презентацию эссе «Набережная неисцелимых», вышедшего отдельной книжкой. В декабре Венеция безлюдна, то есть представляет собой другой город по сравнению с летней: много пространства, пустые площади, улицы, можно идти в любом направлении, а не исключительно куда все. Он повел меня прежде всего во «Флориан». Еще в первый приезд итальянские друзья предупреждали: окажешься на Сан-Марко, следи, чтоб не попасть во «Флориан», там за одно то, что проходишь мимо двери, плати сто тысяч. Бродский заказал кофе, я, стараясь не глядеть в лист меню, чай. Мне принесли стеклянный цилиндр, наполненный ледяным желтым напитком, — оказывается, надо было сказать официанту: *горячего* чаю. Официант, который в свое время обслуживал Байрона, всех дождей Венеции, а возможно, и апостола Марка, посмотрел на меня как на удивительно бесполезную вещь, которую нельзя употребить даже применительно к чаю. В это время вошли трое англичан, мужчина и две женщины, все в возрасте от тридцати до сорока, каждый красоты необычайной. На мужчине был жилет в цветочках, вышитый, судя по всему, рукой самого Боттичелли, на женщинах — черные шляпы с огромными полями, одна была сильно беременна. Все расцеловались с Бродским, одна из женщин — и со мной. Бродский спросил, что они будут пить. На секунду вопрос как будто поставил их в тупик, но потом мужчина нашелся и сказал, что виски, и беременная, оказавшаяся его женой, — виски, и небеременная — виски. Бродский заплатил (возможно, миллион, если мои друзья говорили правду), сказал «увидимся», опять расцеловались, на этот раз со мной тоже, все трое, и мы вышли на улицу.

День был холодный, воздух жемчужный, время от времени мы выпивали чашечку кофе или рюмку граппы с грубой острой на вкус колбасой. Бродский заводил меня в улицы мне знакомые и в проулки, куда бы я никогда не заглянул по своей воле. В церкви святого Захарии он опустил монету, чтобы осветить Беллини. Группа святых и много тяжелой красной ткани в плавных складках. На меня это действует с юности, мой друг-художник — наш общий с Иосифом друг — любил и умел писать занавеси, портьеры, шторы. Я подумал, что нет, жаль, но нет, не тянут его ткани на беллиниевские. «Не тянет... — произнесся его имя, раздался в ту же секунду голос Бродского, — на Беллини, да?» — и, бросив еще монету в щель, он позвал меня посмотреть на живопись от другой стены, с расстояния.

Регулярно в дальнем конце улиц, которые мы пересекали, возникала английская тройка, они кричали нам «о-о!» все больше не в лад и приветствовали все более свободным взмахом рук. Всё вместе все больше напоминало Ивлина Во. К семи, сказал Бродский, мы приглашены на ужин в один дом, он еще из Нью-Йорка дал знать хозяевам, что нас будет двое.

Стало смеркаться, мы вышли к Сан-Джованни э Паоло, где беллиниевский Христофор переносит на плечах через поток маленького Иисуса, а Дева Мария удивительно похожа и на «М. Б.» юности Бродского, и на его жену Марию. Полицейский катер выскочил из канала и медленно поплыл вдоль берега, включив сирену, — по-моему, исключительно ради собственного развлечения. От надрывного звука мы свернули вбок, сделали небольшой крюк, и по каналу Нищих снова пошла к лагуна. Сзади опять послышалась сирена, на этот раз катера «скорой помощи». Он был освещен изнутри, и, когда проезжал мимо, мы увидели того, кого везли, лежащего на высоких носилках и покрытого одеяла-

ми, не то пальто. Катер пришвартовался к больничной пристани, мимо которой мы как раз проходили. В больших низких, на уровне пешеходов, окнах больницы тоже горел электрический свет, еще тусклый на фоне уличных сумерек, и приемный покой демонстрировал нам угромо свое содержимое: многочисленные топчаны, на которых под такими же попонами лежали такие же больные, и кто-то стоял возле них, склонялся, сновал. Мы подходили к набережной, когда на крутой мостик, стуча на низких округлых ступенях, въехала тележка: ее толкал высокий мужчина в черном переднике, глядевший на мир неприязненно и нагло, и на ней лежал черный лакированный, как гондола, пустой гроб. Тележка миновала горб моста и загрохотала вниз. Бродский помотал головой, как от наваждения, повернул ко мне лицо с широко открытыми глазами и проговорил: «Это еще что бы такое значило?» Показал подбородком на возникший перед нами «остров мертвых», кладбище Сан-Микеле, спросил, были ли я там, и пробормотал что-то вроде: «Вот бы где лежать, да?»

Ужин оказался на двадцать пять персон, дом оказался палаццо, выходившим сразу на несколько каналов. Мы прошли несколько внутренних дворов с садами и без, в одном стояло подобие «Давида» Микеланджело, а возможно, подлинник. Ужин, узнал я уже внутри, давался в честь Бродского, написавшего так замечательно о Венеции. Со мной все были необыкновенно ласковы, не то как с его «давним советским» другом, не то как с его другом-*поэтом*, которому к тому же повезло попасть, наконец, в общество, где поэзию ценят. От одной группы ко мне бросились старые друзья-англичане: в жилете, беременная и небеременная. Прекрасная хозяйка отвела меня в комнату, где — сколько? — лет сто семьдесят пять назад останавливался Байрон (и оттуда, стало быть, шагал во «Флориан»). Я спросил, где уборная, она открыла мне дверь в небольшую залу с картинами на стенах, двумя мраморными столами, букетами сухих цветов на них и потерявшимся в этом великолепии, к роскошной цветной умывальной раковине притулившимся унитазом.

Ужинали за тремя столами, с дворецким в белых перчатках и слугами, возле приборов стояли таблички с именами. Меня подвели к тому, где значилось «Леонардо». Я полюбозыствовал, почему именно так, хозяин спросил, а как, и, услышав *anatolynaiman*, сказал, что он что-то такое подозревал, когда Джозеф по телефону назвал мое имя, но через океан было неважно слышно, и он подумал, что *lynaiman* ближе всего к *leonardo*. За моим столом сидели еще две итальянские пары, из театрального мира, как они мимоходом бросили: они принялись расспрашивать меня о московских театрах. Мои ответы были неприлично скудными, я решил перехватить инициативу и спросил, играют они или ставят спектакли. Скромный ответ был, что скорее финансируют. После ужина перешли в залу, где там и сям, например, на рояле, но также и на скамеечке для игры в четыре руки, стояли разнообразные напитки в бутылках, мне хотелось думать, венецианского стекла. Вечер покатился по рельсам, одна из которых была условно феллиниевской, то есть у дам в треугольниках декольте, а у мужчин в овалах лысин стала густеть краснота и сквозь нее просвечивать возраст; другая же — условно русской с элементами братания и приобнимания, в которых застрельщиками были, естественно, мы двое, а остальные присоединялись стремительно и с южной горячностью. Хозяева взяли с меня слово, что, когда бы я ни появился в Венеции, я остановлюсь только у них. Я обещал при условии, что в Москве они будут жить только у меня. Бродский по-русски спросил, где, в какой из трех комнат моего панельного дома с экономной планировкой квартир; я ответил, что раскладушка решает любые проблемы. Мой друг-англичанин предлагал в любое время приезжать к нему в имение и в подтверждение дал визитную карточку, на которой его имя и титул занимали три строчки. Небеременная оказалась директором женского издательства и спросила, кого из русских писателей-женщин, кроме Татьяны Толстой, я могу ей рекомендовать. Мне показалось, что я отвечаю очень остроумно, если скажу, что у меня на примете есть несколько писателей-гермафродитов, и сказал; а она сказала, что надо подумать, а сейчас за эту идею, во всяком случае, выпить.

Следующее утро, как говорится, в упор не узнавало предыдущего дня: сосредоточенность, деловитость, четкое расписание. Английские товарищи опять взялись за свое, но на фоне двух интервью, которые одно за другим дал Бродский, серии фотографий в журнал, для которых он, быстро переходя с места на

место, позировал, делового письма, написанного на стойке бара под отхлебывание кофе, и нескольких телефонных звонков они выглядели заурядными бомжами-распаденцами. В полдень ему надлежало представлять русскую поэтессу по случаю выхода книжки ее стихов в Италии. Много лет назад в Ленинграде другая поэтесса, рычавшая на мир, как дикая кошка, говорила, что стихотворение, будучи нарушением сущего, должно восприниматься сущим как преступление, а если нет, то нет и поэзии. Она была талантливая, но, главное, она была максималистка, и это делало ее стихи большими, чем сделал бы один талант. Преступление не преступление — дело вкуса, но что-то в мире должно стать не так, как было, пока в нем не было стихотворения. У этой, переведенной на итальянский, стихотворение не значило *ничего*, ничего не происходило, пока слова стекали от первого к последнему, ничего не менялось, когда перелистывалась страница. На мостике перед входом в помещение, отведенное для действия, я сказал, что погуляю, встретимся после, а он, докуривая сигаретку, пробормотал: «Ничё-ничё, у нее можно вытащить строчку-другую», — уговаривая самого себя.

Нет, вчерашний день был повеселей, а если не валять дурака, то вчерашний день — был, а сегодняшнего — не было. Позднее я рассказывал об этом Тане Литвиновой, и она подхватила: «Он о чем-то говорит, о чем угодно, куда-то идет, курит, ест, и я испытываю наслаждение. А потом он вдруг произносит: «Во вторник день рождения у моего друга Октавио Паса», — и взгляд у него на минуту останавливается, и я не понимаю, почему это говорит он, а не кто-то другой». Мировая слава требовала исполнительности в жанре и регламенте, опережаемыми ведомством по культуре.

Насчет *мировой* не хочу преувеличивать — как, например, экзальтированная литературная дама, которая на вечере в ленинградском Доме кино рассказывала срывающимся голосом, как она в Америке должна была встретиться с Бродским, но заблудилась, языка не знала и показала заправщице на бензоколонке записку с его адресом, и та сказала: «Вы ищете мистера Бродски?» — расцвела в улыбку и по телефону узнала, как к нему проехать. «На случайной, первой попавшейся колонке простая женщина знала его имя!» — интерпретировала дама заурядное «may I help you». Я, напротив, наблюдал картину некоторой неосведомленности не совсем даже простого народа относительно их звезды. Вечером я вернулся домой к друзьям-американцам, у которых на время остановился в свой первый приезд в Штаты, и хозяин, гарвардский профессор-теолог, поддразнивая меня, сказал: «Я не знал, что у нас поселилась знаменитость: вам звонили...» — и перечислил несколько имен, среди них Бродского. Находившийся тут же его приятель, ориенталист, осведомился, кто такой Бродский. Хозяин объяснил, что прошлого года Нобелевский лауреат. «По медицине?» — спросил тот.

Так что речь идет о славе внутри культуры прежде всего литературной и университетской филологической. Но никогда ни у одного из русских поэтов не было и отдаленной тени такой славы и, как следствие ее, такого влияния. Мандельштам и Лермонтов на одном полюсе, Пастернак и Державин на другом и приближенно не сравнимы с Бродским по степени влиятельности и общественного значения. Едва ли кому-нибудь приходит в голову объяснять это мерой поэтического дара. Относить все на счет специфики времени также нет оснований: специфика есть, но расположения к стихам нет ни у какого времени. И совсем уже неловко и неприлично искать причины личные — в амбициозности, целенаправленной энергии, политиканстве, беря на роль Макиавелли человека, больше всего на свете любившего соскребать с маминой сковородки прилипшие к ней поджаристые корочки. Похоже, что объяснение кроется столько же внутри явления, сколько, если не больше, вовне.

Прошу прощения за банальность, но человечество разделяется по принципу объяснения миропорядка. Миропорядок нагляден: планеты двигаются по орбитам, зима сменяет лето, растения всходят, цветут и плодоносят, организм переваривает пищу, вдыхает, окисляет, выдыхает. С этим согласны все, но одни считают, что причина миропорядка — Бог, а другие — что люди. Если Бог, то надо постараться Ему хотя бы поклоняться или, напротив, бунтовать, раз уж не получается любить; если люди, то надо постараться первенствовать в уме, знаниях, хитрости, силе.

Если Бог, то придется принять также и то, что от Него о Нем и обо всем известно, и главное, что есть не-Бог, против-Бог, и, стало быть, отдать себе отчет в, если не готовиться к, борьбе сопутствующего тому плохого с сопутствующим Богу хорошим. Бродский же и начал с того, что в мире идет борьба не плохого с хорошим, а плохого с худшим, и до конца это утверждал. А это значит, что Бог есть, но отошедший от дел, отдавший вселенную Своему противнику, то есть что Его как Такогого, как Бога, если говорить честно, тоже и нет. Такая доктрина устраивает и поклонников Бога, потому что не отбирает у них, по их понятиям, главного, а также вызывает сочувствие к доктринеру, лишенному полноты Божества, открытой им, и от этого мучающегося; но куда больше вдохновляет и ставящих на человека, обогащая их Богом, пусть в редуцированном виде, — то есть еще и лучше, что в редуцированном. Конечно, не Бродский один это исповедовал, однако мало кто так последовательно и никто с таким талантом.

(Эта позиция, кстати сказать, тоже сближала его с Рейном, не только прошлое. У Рейна выработалось вульгарнее, легкомысленнее и потому, в определенном смысле, привлекательнее: ладно, я плохой, низкий, но и ты такой же, и все — подлецы. Уже после смерти Иосифа он убеждал телезрителей, что покойник был чемпион эгоизма, не любил никого, включая самых близких, и вообще однажды сказал ему, что «недостаток эгоизма свидетельствует о недостатке одаренности». Может, и сказал, но в каком контексте? Что это неправда — доказательств уйма. Что это жизненная и творческая позиция Рейна — это да, это правда: допускаю, что что-то похожее запустил он в очередной раз в какую-то их встречу, а Бродский в излюбленной своей манере довел до максимы. Так или иначе между ними действительно было кое-что специфически общее, больше, чем, скажем, со мной: и в психологической закалке, и в не отделимом от эгоизма нежелании себя, в способности, даже готовности, переступить через самую дорогую привязанность, и в отсутствии жалостливости к другим. И судьба — когда невеста Бродского ушла к Бобышеву, а через несколько лет я, после развода Рейна, женился на бывшей его жене — распределила нас четверых попарно: меня и Бобышева — в «предатели», их — в тех, кого «предали». Этого никто из нас не забывал.)

Формула «не плохое с хорошим, а плохое с худшим» и сама по себе, в отрыве от корней — хлесткая, легко усваиваемая, отвечающая наблюдаемой картине мира и потому импонирует большинству: «божественный цинизм». Но действительна она все-таки, только если борьбы плохого с хорошим действительно не существует, закончилась на нас, а для кого не закончилась, те — старые галоши, выморочное племя. И тут был камень преткновения в наших отношениях все последние семь лет, а заочно началось раньше. Он встретил в Лондоне нашего общего друга, стал узнавать, переписывается ли тот со мной и чем я дышу; спросил с подначкой: «Кто у него теперь главный?» Тот тона не поддержал, ответил с ударением: «Серафим Саровский». Разговор происходил через несколько дней после смерти Элвиса Пресли, который когда-то и нас побудоражил, Элвис-пелвис, биг бэм бум, тутти-фрутти. И Иосиф тут же купил большую открытку с его портретом и на ней написал мне, используя две строчки знаменитого элвисовского *хита* (что-то вроде «рок-н-ролл вразнос, ты лишь гончий пес»), стихи, не то чтобы примерно благочестивые, начинающиеся: «Дорогой Анатолий Генрихович, посмотрите, кто умер!» — про то, как Пресли встречается с Серафимом Саровским и что они друг другу говорят. (Официальных «Анатолия Генриховича» и «Иосифа Александровича» мы выдавали один другому с младых лет, исключительно чтобы оттенить эдакой куртуазностью окружающий ее лексикон — особенно солдатский или, наоборот, приподнятый.) Конец открытки был:

Just rockin' all the while and roll, just rockin' all the while and roll,
 You ain't nothing but a hound-dog, так что лай, как все!
 Элвис говорит Серафиму — ну, я пошел,
 Саледующая сатанция — Димитровское шоссе.

(И подпись: «Votre сильно СкуCharles».) Дмитровское шоссе — улица, на которой я живу: не поручусь, однако, что «а» в «сатанции» вставлено только для

ритма и стилизации, а не и с поддразнивающим смыслом. Стишки полушуточные, но с *месседжем*: вот так! А у вас как? И еще в нескольких случаях *тему* задевал.

Когда в Нью-Йорке в первый день мы вышли из дому, он сказал: «Сейчас покажу вам кое-что, про что вы только читали», — и по карточке получил деньги из уличного банкомата. Когда пачка долларов поползла из стены, прибавил, ухмыляясь: «Силой молитвы — если объяснять на понятном вам языке». И заговорил. Зачем я крестился? Зачем в церковь пошел? Бог, вера, религия — все это так, но «господи-исусе» зачем хором? И с кем хором-то: кто они мне, тутти-фрутти?

Я отвечал примитивно, как оно и было на самом деле: что если бы обладал бесконечно большим, чем мой, умом и величайшей гениальностью и бесконечно большим сердцем и изобретал бы этим умом и гением и желал бы этим сердцем своего бога, то в самом лучшем случае, в пределе моих мыслей и желаний это оказался бы в аккурат Иисус. И когда оказалось, что именно Он является богом и других, многих, «всех», Он не стал от этого менее моим личным, «собственным».

Но дает ли это что-нибудь поэзии? А точнее, дает ли это мне силу сделать метафизический рывок, тот метафизический прорыв, который поэзия отмечает как новое достижение? Я не знал, что отвечать. Уже после моего отъезда общие друзья попросили его написать послесловие к книжке моих стихов. Первая книжка через 33 года после написания первого стихотворения, и смех и грех! Сто страниц, по одному-два стихотворению за каждый год: по замыслу — для лучшего представительства. Ты двадцатилетний и тут же ты пятидесятилетний, противоположенное соитие. И отцежено-то пятидесятилетним, *sub specie moralitatis*... Голос Бродского в послесловии как будто немножко сдавлен. Он написал, что стихи раскачиваются, как маятник, между импульсом поэтическим и импульсом религиозным, тик-так, нервный тик вдохновения и убежденное «так!» веры. Еще он написал, что автор знает этикет разговора с Богом, — это ответ на мое предисловие к его книжке «Остановка в пустыне», написанное в 60-х: я там махнул что-то вроде, что с небесами он ведет себя безукоризненно.

В каждый мой приезд он снова и снова заговаривал об этом, почти теми же словами, что в первый раз, и я почти теми же, что в первый раз, ему отвечал. Он нападал, подтрунивал, иронизировал, кощунствовал, как будто хотел, чтобы я или признался, что и сам не до конца уверен, или сделал какое-то откровение, которое поколебало бы его уверенность. Дразнил: «Ну, все по-прежнему, "помилуй-мя-боже"» — или моей жене при мне: «Ты-то умная, ты-то чего в церковь ходишь?» Каждый год он писал Рождественские стихи, написал «Сретенье», то есть его Иисус родился, рождался каждый год с такой достоверностью и в облаке такой его любви, какие редко-редко встретишь у христиан, но из сорока первых дней, заключившихся принесением в Храм, никогда не вышел — из дней Ветхого Завета, иначе говоря. И всегда Он у него был — а правильнее сказать: и навсегда он Его оставлял — в пустыне, и всегда — молчал. Причем в пустыне не естественно равноправной со, скажем, морем, лесом или человеческим поселением, а такой, в которой когда-то могли существовать Египет, Палестина, верблюды, оазисы, бедуины, путешественники, ныне подчистую выметенные, как сор: человечество и все его вещи, — после каковой тотальной чистки землю присыпали песком, а ночное небо звездами. Здесь, похоже, и заключается великая разница между позицией христианства и позицией христианской культуры, как ее выразил пронзительно Бродский: оно говорит о том, что *дадено*, он — о том, что *отнято*. Напрасно, напрасно по этим стихам доверчивые батюшки выводят из него христианского поэта: его младенец — равно как и мать, и муж матери — отчужден от мира; окружающий их холод не зимний, а межпланетный, вселенский; его Христос — «Большой Человек», из самых великих, огромней всех, из пустыни перешедший в космос и, возможно, даже в другую галактику. Сверхчеловек. Не Бог и не человек.

Года за два до смерти ему, по-моему, это наше бодание надоело. Понял, что ничего нового от меня не услышит и что при всей неуступчивости моей позиции я поступаю и суваю, как иные прочие, да и сама неуступчивость в большой мере дисциплинирована, рутинна, в общем, скучна. С какой стати тратить время на то, о чем сама мысль раздражает? Он по-прежнему был безотказен, ког-

да от него что-то требовалось, по-прежнему готов был часами читать по телефону и слушать стихи, и при встречах его участие, и теплота, и предупредительность могли по-прежнему, как сквозняком, прохватить наш разговор, но именно что *по-прежнему*, по старой, так сказать, памяти. Того, что одно было для каждого существенно, нового — не разделяли и не касались.

Осенью 94-го года был день рождения Ларисы Каплан — нежной, прелестной, всеми любимой. Посередине «Русского самовара» ледяной лебедь, подарок Романа, истекал невидимой влагой; гостей собралось человек семьдесят, полный ресторан. Бродский сидел за соседним столом, обернулся, сказал: «А я написал опус про Марка Аврелия». Я сказал: «А я читал». Незадолго до того Роман дал мне журнальную верстку. «И как?» «Очень хорошо». Я не хотел обсуждать эссе: вокруг были люди, и они слушали. «Я читал» и «очень хорошо» в нашей, за сорок почти лет сложившейся системе языка значило «не будем сейчас об этом говорить». Но он публичности не боялся и на мои условия не согласился. Сказал: «Да знаю я, чем он не по вам: что он христиан это самое, да? И правильно делал!» Получалось, что надо отвечать. Я сказал: «Не он, а вы. Не по мне то, как вы про это написали». Все-таки это довольно существенно в Марке Аврелии, что он гнал христиан, — с чего бы при стоической-то всетерпимости? В тридцатистраничном же эссе об этом был один абзац. Да хоть бы и его не было, не возражаю, в конце концов получается у тебя Аврелий Аврелием без этого — и ладно. Но абзац был про то, что не он, а Адриан гонения начинал, не ему и кончать, что христиане отказывались служить в армии и это ее разлагало, а главное, что ему с его мужественной философией претила торговля христианами с Богом: мы будем себя хорошо вести, а уж нам за это, пожалуйста, райские кущи.

— Да, — сказал Бродский, и уже на повышенных тонах: — И меня тоже от этого тошнит. Жизнь не рынок, Бог не продавец, покорность не товар, и на смерти все равно никому ничего не выручить.

— Это из «Блокнота атеиста», только поярче, — сказал я. — К христианству это не имеет никакого отношения, не говоря уже к Христу.

— А что вы, кстати сказать, так Христом козыряете? Были люди и покрупней Христа.

— Не Марк ли Аврелий, первый из плейбоев, как вы его изобразили?

— Ого, старые коготки! Нет, не Аурелиус. А хотя бы Платон. А хотя бы Моцарт.

Дней за десять до его смерти мы говорили по телефону. Он совсем плохо себя чувствовал. Я улетал в Москву и в конце разговора, на прощание, сказал: «Мы за вас молимся плохо, зато стараемся взять регулярностью». «Мы» в данном случае было шуточное «я» — как он сам любил про себя говорить, когда «я» было неловко. Он немедленно ответил: «В следующий раз передавайте привет».

Когда он умер, я долго не мог прочесть обычную молитву за упокой. Упокой, Господи, его душу? Но она не устала и до последнего момента была деятельна так интенсивно, как никакая другая, потому что деятельность была формой ее существования; сама созерцательность ее была деятельной. А без «упокой» лишалось смысла и «помяни». Прости ему всякое согрешение? Наверное, у него был страх смерти — очень похожий на страх ребенка, когда мимо провозят громышающую тележку с пустым еще гробом. Наверное, он боялся смерти — а кто же ее не боится, кроме тех, кто не хочет или не может думать о ней так, как думают о ней те, кто боится? Но, думая о ней и страшась ее, он жил с ясным и непоколебимо мужественным сознанием ответственности за свою позицию касательно того света и воздаяния, с таким храбрым, какого я тоже не встречал ни у кого — какое мне не снилось. Просить Бога простить его грехи почему-то значило для меня — в первый раз в жизни — прежде обвинить его в грехах, а я был абсолютно не способен на это, как не мог я, никогда не носивший оружия, обвинять того, кто в открытом бою рубился с противником, в убийстве. Я был меньше этого, но мне было вмешиваться, даже униженно, просительно, в его отношения с Богом. И о Царстве Небесном не смел я упоминать, потому что не знал, хотел ли он *такого* Царства Небесного, — и допускаю, что не хотел.

Совсем незадолго до смерти он написал «Aere perennius», свой «Памятник», по Горацию. Про «твердую вещь» *крепче меди*, про «камень-кость, гвоздь моей красы», про то, что остается от дробы *aere/perennius* после сокращения числителя и знаменателя на общий множитель *ere*. Его тошнило от любой приближенности, и он называл жизнью не то, когда человек не умер, а то, когда он живет. А что он живет, доказывается только тем, что у него работают голова и язык, и руки-ноги, и желудок с или без «рефлюкс эзофагит», и, главное, *penis* — жизнь, порождающая жизнь. И, как жизнь ничего внушительнее не имеет, хотя публично и не кажется, так и словесность, во всяком случае, русская, не содержится в своем лексиконе, хотя и не про-износит, ничего внушительнее этого словца, этого нежного свиста и звериного рыка, во всех, какие сложились и складываются, сочетаниях с другими словами, и настоящим стихам не следует опасаться или чураться сопоставления с ним, а следует даже время от времени проверять, выдерживают ли они такое сопоставление. Но приходит, очень быстро, время, когда жизнь уходит. Оно приходит, а она уходит: «твердая вещь» — всё, не работает, бездействует, а дни продолжают идти — «лишние дни», «чужие ей». И ты это знаешь еще до их прихода, задолго до. Можно покориться, сказать привычно «что ж, все там будем». А можно со всей болью безнадежности, которую стойчески прячешь, послать их на эту самую *твердую вещь*, пока и она, и, теперь уже главное, язык еще действуют.

Можно предложить ее им как «памятник» словесности — для сравнения с их собственной: «А тот камень-кость, гвоздь моей красы, он скучает по вам с мезозоя, псы». Я однажды спросил, не перенес ли он когда-нибудь стилистического влияния Генри Миллера и конкретно «Тропика Рака» — по близости, если не сходству, мировоззрений. Он стал отрицать само это предположение с жаром, родственным той ярости, с какой в молодости набросился на меня за достаточно невинное упоминание о внешнем сходстве с ним младенца, родившегося у нашей общей приятельницы. «...он скучает по вам с мезозоя, псы. От него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью с кадиллом в ней»... Так хотел он *моего* Царства Небесного или нет?

Потом постепенно, как всегда бывает с умершим человеком, которого знаешь долго, начала подравниваться к огромности смерти его жизнь; в ряд с событием смерти — подстраиваться события жизни, сперва значительные, дальше более мелкие. Часто стала всплывать одна белая ночь, пасмурная, так что было все-таки темновато, мы шли во втором часу мимо Куйбышевской больницы, там решетка делает полукруг и внутри него стоят скамейки, и кто-то со скамейки сделал ему подножку, он споткнулся и повалился, до конца не упал, но пришлось несколько шагов внаклонку пробежать и зацепить рукой за асфальт, а со скамейки раздался хохот. Мы обернулись, и сразу смех перешел в угрожающее урчание — там сидела шпана, «фиксатая», пьяная, все как полагается. Он отвернулся, я тоже, мы сделали вид, средний между «что ж, бывает» и «ничего не случилось», пошли дальше. Рука была ободрана, я дал ему носовой платок, а может, он вынул собственный, кто теперь разберет? И так мне его жалко было, и так я его любил, и не вспоминал потом про это, а вспомнил — и опять так жалко, так люблю: хоть бы мне тогда поставили подножку! И про него того я, рта не открывая, вдруг сказал: «Помяни, Господи», — и душа его легко встала между душами умерших. Опять было в их множестве величие, бесконечно превосходящее величину любой из них, и оно сомкнулось над ним.



Сочинитель звезд

* * *

Покуда мы с временем спорим,
усердствуя в честном труде,
земля обрывается морем,
а небо – неведомо где.
Пылают светила, не плавясь,
межзвездный сгущается прах,
и все это – первая завязь
в неистовых райских садах.

Уже о вселенных соседних
мне видятся ранние сны,
где сумрачный друг-проповедник
молчит, и не разделены
свет с тьмой, водородные хляби
взрываются сами собой,
и хлеб преломляется въяве,
и весело твари любой,

но все-таки просим: яви нам
знамение, царь и отец,
и слышим: не хлебом единым,
но словом для нищих сердец –
и снова в смятенье великом
глядим на пылающий куст,
смущенные горестным криком
из тех окровавленных уст...

Ах, мытари и рыболовы,
и ты, дурачок-звездочет,
как страшно прощальное слово
с вечернего неба течет!
Как жаль этой участи тленной,
где мед превращается в яд
и сестры мои на военной
стоянке кострами горят...

* * *

Перелевы нищей крови, рта несытого расчет –
кроме смерти и любви, что нас к Господу влечет?
Бремя страсти по нечетным, а по четным дням – распад,
по заслугам и почет нам, и других, увы, награда
не бывает, оттого что остывает в кружке чай,
слишком медленная почта, слишком долгая печаль...
и дорогой скучной, зимней донимают поделом
переливы крови дымной, снежный всполох за углом.

* * *

Для камня, ржавчины и дерева – не для
печали медленной, не для бугристых складок
под костью черепной вращается земля,
не для меня ее ветшающий порядок.

Беспечно странствовать, не верить ничему,
просить, чтоб боль на время отпустила,
чтобы на выручку заблудшему уму
пришли текущие небесные светила –

и грянет пение, и сердце застучит –
мерцает, царствуя, пустыня ледяная,
где вырывается из хора Данаид
неутомимый голос Адоная.

Нелеп стареющий служитель пожилых,
 облезлых муз, с его высоким слогом,
 смешон лысеющий, одутловатый стих,
 едва влачащийся по облачным дорогам,

но выступает месяц в пустоте,
 и душу радует, и смотрит, не мигая –
 не обвиняемым, свидетелем в суде,
 а все томительно и трудно, дорогая...

* * *

О знал бы я, оболтус юный, что классик прав, что дело дрянь,
 что страсть Камен с враждой Фортуны – одно и то же, что и впрямь
 до оторопи, до икоты доводят, до большой беды
 литературные заботы и вдохновенные труды!
 И все ж, став записным пиитом, я по-иному подхожу
 к старинным истинам избитым, поскольку ясно и ежу –

пусть твой блокнот в слезах обильных, в следах простительных обид,
 но если выключат рубильник и черный вестник вострубит,
 в глухую канут пустоту шофер, скупец, меняла, странник,
 и ты, высоких муз избранник, с монеткой медною во рту –
 вот равноправие, оно, как пуля или нож под ребра,
 не конституцией дано, а неким промыслом недобрым,

а может быть, и добрым – тот, кто при пиковом интересе
 остался, вскоре отойдет от детской гордости и спеси,
 уроки временных времен уча на собственном примере, –
 и медленно приходит он к неуловимой третьей вере,
 вращаясь в радужных мирах, где лунный свет над головою,
 и плачет, превращаясь в прах, как все живое, все живое.

* * *

Аукнешься – и возвратится звук с небесных круч, где в облаках янтарных свет
 заключен, как звездчатый паук. Червонный вечер. В маленьких пекарнях
 лопатой вынимают из печи насыщенный хлеб, и слышен голос вышний – ты
 оскорблен? смирись и промолчи, не искушая мирозданья лишней слезой – ты
 знаешь, высохнет слеза, умолкнет океан, костер остынет

и обглодает дикая коза
 куст Моисея в утренней пустыне.

Бреду и с демоном стоглавым говорю от рынка рыбного, где смерть сама
 могла бы глядеть в глаза мерлану, и угрю, и голубому каменному крабу, – и
 сходится стальной, стеклянный лес к соборной площади, и нищие брезгливо
 считают выручку, и скуден бледный блеск витрин и запах слизи от залива –
 так город пуст, что страшно. Замер лист опавший, даже голубь-птица летит
 вполсилы, смирно смотрит вниз и собственного имени стыдится.

И все-таки дела мои табак. Когда б я был художником беспальным и кисть
 сжимал в прокуренных зубах – изобразил бы ночь, с тупым оскалом бомжей
 продрогших, запашком травы и вермута из ледяного чрева. Я крикнул бы ему:
 иду на вы! Губя себя, как яблочная Ева, в стальном, стеклянном, каменном
 раю – которым правит вещей или сущий, – у молчаливой бездны на краю
 уединясь с гадюкою поющей.

Что скажешь в оправданье, книгочей? Где твой ручей, весь в пасторальных
 ивах, источник неразборчивых речей и вдохновений противоречивых?

Головоломка брошена – никак не сходятся словесные обломки. Мы говорим на разных языках – ты, умница, и я, пловец неловкий. И чудится – пора прикрыть тетрадь, – шуршат листы, так высохнуть легко в них! – и никому уже не доверять ни дней обветренных, ни судорог любовных.

* * *

Где пятна птичьего помета
на бронзе памятников, где
гранитов, мраморов без счета,
и девы в сумрачном труде
томятся – кто у кассы, кто у
компьютера, а кто и у
больничных коек, очи долу
склонив, и только ввечеру
вдруг оживают, смотрят мудро,
беседу хитрую ведут
и тайно рисовую пудру
на щеки юные кладут –
там, щедро сдобренная талым
снежком, сырая спит земля,
там молодежь спешит в Джорджтаун,
ушами тихо шеvelя,
и голубые человеки,

вкусив волшебных папирос,
в громоподобной дискотеке
уже целуются взасос –
а мы с тобой сидим поодаль
и говорим, что поздний час,
твердим, что опиумная одурь
пусть хороша, да не про нас,
поскольку одурь есть иная,
иная блажь на склоне лет,
но как назвать ее – не знаю.
И ты смеешься мне в ответ.
Под облаком, под снежным дымом
я там любил и был любимым,
да-да, любил и был любим...
ах, город, град мемориальный,
квадратный, грузный, нереальный,
под небом жадно-голубым...

* * *

В день праздника, в провинции, светло
и ветрено. Оконное стекло
почти невидимо, мороженщица Клава
колдует над своей тележкой на углу
Коммунистической и Ленина. Газеты
в руках помолодевших ветеранов
алеют заголовками. С трибуны
свисает, как в стихах у Мандельштама,
руководитель местного масштаба,
нисколько не похожий на дракона –
и даже не в шинели, а в цивильном
плаще, румынского, должно быть, производства,
отчески махает демонстрантам
широкою ладонью. Хорошо!
А на столбах динамики поют.
То «Широка страна моя», то «Взвейтесь
кострами, ночи синие». Закрыт
универмаг, и книжный магазин
закрыт, а накануне там давали
стиральный порошок и Конан Дойла
без записи. Ну что, мой друг Кибиров,
не стану я с тобою состязаться,
мешая сантименты с честным гневом
по адресу *безбожного режима*.
Он кончился, а вместе с ним и праздник
неправедный... Но привкус белены
в крови моей остался, вероятно,
на веки вечные. Вот так Шильонский узник,
позвякивая небольшим обрывком
цепи на голени, помедлил, оглянулся
и о тюрьме вздохнул, так Лотова жена,
так мой отец перебирал медали
свои и ордена, а я высокомерно
смотрел, не понимая, что за толк
в медяшках этих с профилем усатым...

Вот почему я древним афинянам
завидую, что времени не знали,
страшились ветра перемен, судили
по сизым внутренностям птиц небесных
о будущем, и даже Персефону
могли umasлить жирной, дымной жертвой...

* * *

Разборку с судьбою затеяв,
бывает порой нездоров
и водопроводчик Сергеев,
и градостроитель Петров.
Не радует их ни селедка,
ни водка в стакане большом,
ни даже иная красотка,
танцующая гольшом.
Да! Даже ученый Иванов,
хотя и веселый на вид,
боится, что жизнь из обманов,
обманов сплошных состоит.
И правда! Красотка увянет,
спиртной опустеет стакан,
селедка с тарелки привстанет
и молча уйдет в океан,
забудутся оды на случай,
весь горестный праздник мирской
пройдет безымянною тучей
над мглистой пучиной морской.

И все ж – не горюйте, ребята!
Любые тоскуют в ночи
бухгалтеры и депутаты,
станочники и скрипачи,
любые бывают отчасти
поэтами странных страстей,
скучая и плача во власти
противной планиды своей.
О ты, что смешон и недужен!
Отнюдь не аптечный лоток
в такой ситуации нужен,
а чистого неба глоток.
Порой в меланхолии шахту
залезешь почти с головой,
но сядешь на белую яхту –
опять молодой и живой.
Мир кажется снова прекрасен,
надев голубые штаны,
и разум беспечен и ясен
под плеск океанской волны.

* * *

Вот гордый человек с довольною гримасой
пьет крепкое вино и ест овечье мясо,
он знает наизусть весь говор человеческий,
он женщиной своей владеет каждый вечер,
а женщина его, смеясь, готовит ужин
и после трапезы владеет этим мужем.

Но искушение приходит к человеку,
чтоб превратить его в душевного калеку.
Вернувшись с похорон, он в стену смотрит молча,
с улыбкой волчьей исходит черной желчью,
что меланхолией прозвали древнегреки,
и нет веселья больше в этом человеке.

Превозмогая приступ слабости и лени,
уйдет на кухню он и рухнет на колени –
ладони сложены, смирение во взоре
и жажда истины в серьезном разговоре
с тем, кто среди небес на троне восседает
и бытием людским бесстрастно управляет.

Не помня, что бесед с тем, кто сидит на троне,
вести нельзя, верней, они односторонни,
усталый этот раб во мраке русской ночи
одной проблемою в молитве озабочен:
«Скажи, что смерти нет, о милосердный Боже!»
Но слышится в ответ: «...и вечной жизни тоже...»



Александр МЕЛИХОВ

Высокая болезнь

ПОВЕСТЬ

Романтизм... У этой высокой болезни есть куда более будничное имя — ненасытность. Если бы мне выдали в единоличное пользование целый материк миллионов на двадцать квадратных миль, на которых бы плескались теплые озера и стлы царственные айсберги, сверкали солончаки и шумели сосновые леса, звенели истошными криками попугаев и обезьян мангровые заросли и поражали размахом контрастов древние и новейшие мегаполисы всех цивилизаций, — этот материк твой, сказали бы мне, но ты никогда не должен покидать его пределы, — с этой минуты он сделался бы мне тесен, как любая тюрьма, и только миги прорывов наружу казались бы мне теми мгновениями, ради которых лишь и стоит жить.

Так и на неохватной картине моей жизни голубым и розовым разливаются целые годы так называемого счастья — любимая работа, хорошая семья, достаток, покой — чего еще? — но на карту моей памяти оказались нанесены лишь разноцветные осколки моих бессмысленных прорывов в черт-те куда. Осколочная память... Зато теперь, когда, потеряв скучную любимую работу, я превратился в профессионального бродягу, таскающего чужие мешки, — теперь я мечтаю прорваться в неподвижность.

А вначале помогало только движение... Когда моя первая жена выставила меня из своего роскошного профессорского дома за то, что в течение целых двух семестров я так и не научился относиться к жизни серьезно, я устремился на восток, меняя самолеты и суда на попутные грузовики и товарные вагоны...

ОСКОЛОК ПЕРВЫЙ

(Даже целый калейдоскоп)

1

И на Тихом океане... Патентованное средство — карусель дорожных приключений — действительно исцелило меня: улегся нестерпимый зуд куда-то мчаться, откуда-то вырываться, — это когда еще до меня дошло, что вырываться не откуда: ты всюду останешься «здесь».

Оказывается, если не спешить поперед батьки в пекло, быть запертым в поезде — совсем не насилие. Я лежал на ватнике с рюкзачком под головой и неспешно перечитывал «За далью даль». Тот факт, что я качу в обратном направлении по той же самой дороге, мне особенно импонировал, хотя почти все, кроме звука, в моей любимой тогда поэме было ложью: те, кто ставит судьей над мирозданием тетку Дарью, сами становятся — да еще в благородной позе! — на сторону Простоты в ее извечной смертоносной войне против сложности. Все самое чудовищное, что в конце концов подминало и «простого человека», не из абсолютизации ли его прав и вкусов оно когда-то рождалось?

Я тоже еще готов был дарить «простому человеку» любовь — я был очень молод еще, только этого не знал, — но уже не власть над собой. Пощелкивая невидимыми тумблерами, я переключался то на покусывающих друг друга девчонок у столика, то на вот уже третьи сутки благодуществующую, как бы уто-

пающую в невидимых подушках мамашу, то на простую женщину, недвижно восседающую на боковом сиденье с видом доброй каменной бабы, облаченной в обещенный ей замшелостью плащ-болонью, то на чрезвычайно темпераментного тридцатипятилетнего крепыша, уверяющего, что ему двадцать шесть,— это у них порода такая: вот и дед его в девяносто выглядел на пятьдесят.

Благородный человек, он в Находке вступил в драку с грабителями, те обиделись, отчего и начальник угрозыска посоветовал ему съехать подальше, благо пространства на запад хватало. Грабители поджидали его на вокзале, но он с сопки разглядел их в бинокль и уехал на машине.

— Я капитально скажу за всю мою практику: все конфликты надо урегулировать мирным путем. Но если просишь, кипеш поднимаешь — пожалуйста, можем и перышком пощекотать. Хоть это и арго, но кесарю, как говорится, кесарево.

Ничего, поближе к зиме он вернется, но — в гриме. Чтобы и дальше исполнять роль докера на подмостках порта, хотя в рыбном платят больше, но зато здесь левак — выпивка из ящиков, японские транзисторы, свитерки: сразу посылаем в трюм опытного докера, в курсе дела, контрольную ленту сдвигаем, а можно ящичек немножко краном и уронить...

Выговор и подзаплывшая хохляцкая миловидность открывали в нем одессита. «Откуда ты знаешь?» — В его простодушных глазах человека, имеющего высокое мнение о своем уме и бывалости, засветилась тревога — и тут я увидел, что он так и просится под высокую, пирамидальным тополем, барашковую шапку.

— Точно, молдаван,— без вычурного «ин» ошарашенно подтвердил он и ужаснулся: — А ты не мусор?! Хотя нет — стихи читаешь... Да-а, Одесса-мама... Все такое историческое... Есть дом, где жил Великий Комбинатор — был такой человек, старики помнят, знал четыреста способов добывания денег, сделал в столе самогонный аппарат, сидит, а там капает, все думают — вода, а он бухой, писатели Ильф и Петров с него взяли. Ты сколько знаешь способов добывания денег? Один? Честный труд? Точно? А он четыреста! Без денег — это не жизнь, это су-ще-ство-вание! Жизнь — это когда не жалеешь денег. Из плавания придешь — мм, какие оргии устраиваешь! Стольники сворачиваешь дудочкой и суешь бабам в... У нас дворник, сорок два года, физически крепкий — только малость ожирел, держит бардак, в роли сутенера, обстановка — не подумай, что дворник, есть и дача, не занята, за два дня по полтора куска, но стол его. Разве люди считаются, когда по полгода берега не видели! Говорит, меня не тяготит, что дворник. А что, говорит, два часа помел — и иди. А зимой машины за бутылку мне в первую очередь чистят. Крепкий физически... Меня папаша тоже на совесть сработал. Здоровый был, но зато и пил — от этого и умер рано. А что, лучше шестьдесят рэ получать, а мозги на железобетон?

Я беззвучно щелкнул невидимым тумблером и подключился к девчонке подо мною, без усталости рисующей костюмы, костюмчики, костюмищи — юбочные, брючные, шортовские, морячкины,— напевая одну и ту же фразу: «Одна нога была у ней короче, другая деревянная была...» Временная подружка вот уже часа три неотступно следила за творческим процессом:

— Нет, лучше эту кофточку сюда.

— Нет, розовую некрасиво. «Одна нога была у ней короче, другая деревянная была...» Представляешь — деревянная!

— Чего ты завела одно и то же? Как мафон.

— Как раз хотела другую начать, а ты перебила.

— Мой двоюродный брат женился по пьяни,— мечтательно произнесла мамаша.— Утром смотрит — а возле кровати нога деревянная стоит...

— Па-ра-докс! — восхищенно вырывается у одессита.— Уникальные экземпляры попадают!

И я снова отключаю его: внизу наконец обновился песенный репертуар:

— «А капитан тот был красив, меня в каюту пригласил...»

— Бессовестная — что поешь!

— А ты бессовестная — подслушиваешь!

— А это неправда, что от лягушки бородавки.

— Нет, это от жабы. А тебя заставляют дома убираться? Кошмар!

— ...Сами в гости...

— ...А у самой две блузки, блузон, блайзер...

Женщины — да бывают ли они вообще маленькими?!

— ...С собакой погуляй, ужин приготовь...

— Привыкай,— благодушествует мама.— А то муж потребует...

— Да я его вытурю — такого нахального мужа! А тебе разрешают ногти красить? У вас в классе мальчишки как дразнятся? У нас — ужас! — уродины! Стараешься, стараешься быть красивой... Мам, я тоже хочу огурца!

Мне в очередной раз ненадолго открывается, что женщины куда более земные существа, чем мы, то есть я. И я совершенно зря опасался, что их, божественных, брезгливость будет затронута моей телесностью.

Снова включаю мамашу:

— ...Так применился — поставил в сарае кухтыль браги...

— Кухтыль выполняет функции поплавка,— проникал на чужую волну сработанный на совесть сын своего покойного папы.

— Пойду дров поколю да пойду дров поколю — не иначе, думаю, в лесу что-то сдохло...

— Я не уважаю, когда кто губы помажет и ходит, не мычит — не телится. Пить надо с хорошей закуской, а рукав нюхать — не-ет!

— ...Швырнул бутылку — не попал. Я разозлилась да в него. Свернула чашку — две недели пробюллетенил...

— ...На обратном пути на проходной задержали. Я залез на киоск, перебросил пальто с шестью бутылками, а потом сам разбежался — и через колючку! Не снёг бы — все, финита ля комедия. Охранница увидела: «Буду стрелять!» «Ят-те стрельну!» — а сам в бочке, из-под вёрвани отсиделся. Правда, весь провонял. Приготовил нож, которым шкерил: дело уже на то пошло, что визу закроют...

— Он молдаван? — улучив минуту, шепчет мамаша.— Злые какие!.. Вы заметили, он на больших станциях не выходит? Смутится и лежит.

— ...Четыре судимости — это, я считаю, человек пропащий. Можно, ну, раз споткнуться... ну, два...— Он все тревожится, что мы не заметим благородного образа его мысли, впутывается во все волны сразу: — У меня принцип: я честно, когда со мной честно. У меня с собой словари, техническая литература — что я, тупица классический?

— Что вы все время в болонье сидите? Не бойтесь, мы не украдем.— Подзамызганный модный плащ на каменной бабе наконец вывел из равновесия и благодушствующую мамашу.

— Зачем вы так говорите? — Простота иногда оборачивается прямо-таки изысканностью. Или не ломаться, когда все ломаются, это уже не простота? — Седалищный нерв воспалился. Сына ездила хоронить. Завел машину и лег под нее. Болел — мания преследования. Ходила по полу босиком. Вроде и половинки были...

Все поражены полнейшим отсутствием рисовки — смертью сына, учеными словами «мания преследования», «седалищный нерв»...

— А куда машина девалась? — с полминуты поразмыслив, спросила девочка.

— Пацанка...— снисходительно улыбнулся одессит.— Куда ж она денется? Будет ехать, пока в стенку не упрутся. Или загремит куда. А газ он, интересно, чем зажал? — деликатно обратился он к женщине в болонье.

И все же не нагота жизни, не беззначимость, незначительность чудовищного свергла меня в тот смертный ужас, который болваны именуют беспричинным: причина его вбирает в себя все мироздание целиком, а не какой-то крошечный, зримый, обозримый его наперсток. Вылупившись из кокона в безграничность, всегда, словно от обвала света и гомона, впадаешь в оторопь от сонмищ вещей, кинувшихся на тебя не с их собственным, ничтожно вещественным, а с грандиозно-человеческим, символическим, то есть Незнамо На Что намекающим смыслом: Дерево вообще — это тебе на бесхитростное «то самое дерево у твоего подъезда»! Даже мертвящая узнаваемость советского не могла Дома и Улицы Челябинска сплюснуть в просто дома и просто улицы: сочетание советской неинтересности с органичным звучанием слов «Урал», «Южный Урал»

отзывалось в душе эхом какой-то тайны. И вещи не гнушались перекликаться между собой; мясистые, словно капуста, розы на уличной клумбе закручивались корабельными винтами, половинка луны в трамвайном окне качнулась, подобно пресс-папье, а внезапно, будто обернувшаяся декорацией стенка, отъехавшая трамвайная дверь, ширь которой до ленинградских трампарков еще не добралась, открыла взгляду выводок светящихся исполинских мухоморов на меркнувшей детской площадке. Но женский голос, родником через песок струящийся сквозь трескучий, как пожар, динамик — «Остановка «Детский сад», — был так нежен, так манящ подобно всему, лишь неясно мерцающему, что у меня снова перехватило горло от отчаяния: со мной больше никто и никогда так не заговорит...

Чувство своей ничтожности, заброшенности, ненужности всегда делало меня особенно отзывчивым и обаятельным. Дар, посещавший меня в минуты тоскливых просветлений, заключался, пожалуй, в способности безраздельно сопереживать каждому: да, каждый мой собеседник безупречно мудр и свят во всех своих глупостях и подлостях, и даже сволочью он сделался исключительно из-за того, что был слишком хорош для этого мира, — так почему бы ему не попробовать сделаться немножко похуже?

Одиннадцать часов в вокзальной очереди пролетели как одна минута.

Гулкий вокзальный рассвет высветил у кассы вместо клубка змей мирно рассеявшийся на газетах клуб товарищей по... чему? А это — как посмотреть! Седая скуластая женщина, удерживая уползающие ступни большими натруженными руками (картина «Жатва» кисти оттаивающего соцреалиста, уже осмеливающегося примешивать к силе некрасивость), вела раздумчивую беседу на тему «Не в билетах счастье» — и я был готов подписаться под каждым мною же внушенным словом:

— Нельзя так себя ставить в зависимость. В войну вон неделями сидели. И на подножках ехали. Сейчас-то не пускают. И подножек тех нет. Одна женщина уронила ребенка с крыши, задремала или что, а крыша-то круглая, он и покатился. Как приехали на станцию, пошла назад искать. А чего там искать-то!..

Мир преобразается не реформами, а воображением: сыщи достойный контекст — и серенький квадратик делается восхитительно точным ударом в изумительном мозаичном панно, подбери нужный светофильтр — и под проекторной вспышкой лягушачье-зеленое подводное царство засверкает самоцветной пещерой горного короля. Назначь, что будни нашей страны вполне уместно сравнивать с военным лихолетьем, — и...

Хлопнувшее окошко кассы надтреснутым петушиным криком мертвых реалий умчало прочь ночные грезы. Билетов нет — труба зовет подмазывать проводников. Призыв к делу поголовно обратил нас в конское поголовье — от колченогий кляч и мосластых одров до кровных жеребцов и нервных кобылиц. Я, прирожденный спринтер во всем, оторвался на верных четыре корпуса — поныне поеживаюсь от стыда за свою тогдашнюю победу над прочим стадом. Как, впрочем, и за все свои победы: царство мое не от драки за матценности. Нехорошо мы скакали и трусили, некрасиво.

Конечно, навалились мы на поезд дружной толпой — дружной толпой и остались бы на перроне, — нормальный итог любого всенародного рывка к простому и однообразному всенародному раю. Но ведь целесообразность и красота не имеют между собой ничего общего...

2

Теперь-то я понимаю, что я просто не желал взрослеть. Свою службу я пытался гримировать под Служение, а северные шабашки — под дальние странствия. Как в собственную усадьбу, я катался на попутках в Новгород, чтобы наконец сродниться с каждой церквухой. Как-то ночью пушенный на угольный ящик в истошный паровоз, добрался от Новгорода до Чудова... Чудово... Чу-у... «Чудова монастыря недостойный чернец Григорий...» — какая перекличка! Положась на волю Божию (все время откуда-то ударяло то бешеное пламя, то раскаленный пар), я даже задремал и с задницей в траурной рамке, обалдевший спросонья шагнул с самого верха прямо в мазутный песок — аж щиколотка

хрустнула. Какой серый туман, какие ничтожные домишки!.. Но под сложным соусом воображения...

До Питера добрался, прижавшись щекой (от ветра) к кожаной эсэсовской спине милостивого мотоциклиста, дыша шлейфом вони с перекрывшей дорогу неторопливой трехтонки, везущей Курскую дугу полуобглоданных коровьих скелетов. И холод, и вонь — это было восхитительно!

Ради одной деревянной церковки на зеленом мысу у подножия пружинистых опилочных гор я на товарняках добирался до Онежского озера. Зацветшие мхом бараньи лбы, оглушительная синь, смертный хлад на безжизненном вокзальчике — я проснулся во тьме оттого, что начало останавливаться сердце. Как сомнамбула, приполз в диспетчерскую и — бочком, бочком — распластался по горячей печке. Диспетчерши и сцешники на мгновение смолкли, а потом продолжили степенную беседу, как нужно ездить в поезде, чтоб было не скучно: тебя, пьяного, грузят на полку, а когда проспишься, засаживаешь еще бутылку — глядь, уже и приехал.

Чтобы натянуться струной (приложи ухо — услышишь гул, как от телеграфного столба) перед еще не виданным Рерихом, Малевичем, Врубелем, черт знает кем еще, я не ленился катить в Харьков, в Минск, в глушь, в Саратов — благо командировочные лились рекой (два шестьдесят в сутки!). И всюду это был восторг равного. Улицы, клоповники гостиниц, словно неоновым светом, наливались живописью, то есть значительностью — отраженным светом твоего ошалелого взгляда.

В Тбилиси мне как-то фантастически выгодно подвернулись трехтомники сразу Белинского и Добролюбова — пришлось отказаться от гостиницы и, шалея от недоверчивого восхищения и недосыпа, свешиваясь набок от полупуда мудрости, шататься по кривым во всех проекциях улочкам, грызя каменеющий лаваш, запивая ударами тугих струй из уличных колонок, опасливо отхватывая от них губами едва усмиряющиеся во рту кипящие глотки. (Как могло это казаться неоспоримостью — Гоголь изображает жизнь, как она есть, Пушкин отыскивает поэзию в предмете, каков он есть, — когда никакая жизнь, не преобразованная чьей-то раскраской, никогда не рождала во мне ни блаженного мурлыканья, ни ослепляющего восторга?)

На ночлег в аэропорт стоило ехать только затемно, а под утро удавалось даже прилечь, если в полудни не возникал усатый кровник с дружиной, некогда исплывавший на здешнем дерматине свою небесную униформу: «Всэм състь! Нам одын такой форма на год выдают!»

Окончательно пустил меня по миру блекловатый альбом Нестерова — я два раза отходил, но... А когда осталось сорок копеек на день жизни в Москве, поднялся другой вопрос: купить батон или отдаться Третьяковке? Плоть, на место! В тот раз меня почему-то особенно достала глубина полированного стола у Фалька и ржавчина ржаного хлеба у Машкова. Но вовсе не потому, что я весь день кормился четвертушкой черного. А потом оказалось, за автобус до Шереметьева тоже надо платить — до чего интересно жить на свете, имея шиш в кармане!

Но вернусь на родной тифлисский аэровокзал. Поодаль от него трепетала под луной какая-то причудливая кинетическая скульптура, без луны и брезента превратившаяся в заурядную цементную эмблему аэрофлота.

Вот и Наука, ежедневно и буднично являясь мне без покрывала... Вместе с ее обытовлением во мне нарастала и неприязнь к коллегам: как можно уважать людей, которые всем довольны? — с такой внезапной завистью я вдруг вспомнил соседа по общаге Сергею Дубина! Рваный тельник, драный баян: «Мы бредем по Уругваю-аю». Перевесившись через подоконник, увлекает прохожих: «Эй, девка, давай к нам!» — «Какая комната?» Через пять минут стук, через пять часов трах, через пять дней брак, через пять месяцев развод, еще через пять — наследник. Это по-нашему, по-водолазному. Грех, конечно, но... Живописно!

На преддипломную практику нас с Сергеем с воинскими почестями направили в мою будущую контору. Он на месяц запил, почувствовал, что являться уже как бы и поздновато, и с покаянием пришел в деканат. Там пожурили, но дали новое направление. Он запил еще на месяц и каяться ужé не стал. Говорят,

его видели в Мурманске — валялся пьяный под сопкой: сказать про Серегу «под забором» было бы не по его масштабу.

Вот это и есть настоящая свобода! А я, пытающийся с нею перемигиваться, сам, вцепившись в социальный статус, похож на маменькиного сынка, который, набивши карманы пятерками, норовит еще матюкнуться и затянуться в школьном сортире в избранном кружке настоящих гопников.

3

Когда же произошел солнцеворот и дни мои стали неумолимо сокращаться, а ночи нарастать?

Но что толку перебирать, как четки, обманчивые бисеринки «переломных эпизодов», когда все решает сеющаяся слой за слоем пыль, когда каждая точка нашей судьбы есть точка перелома! Какие-то невидимые черти крутили же меня еще на общежитской койке, пока я не вскакивал и, всполошив вахтершу, не бросался кружить по Питеру то в метель (как-то доночевывал на деканском диване: парень, подрабатывавший сторожем, меня знал, хоть я его и не помнил), то в белую ночь, карабкаясь через полусведенные мосты, возвращаясь — среди света и пустоты — на бессонной трамвайной платформе меж свернувшихся до поры до времени неподъемных скаток сизой проволочищи. А то на первой безлюдной электричке без копейки в кармане гремел в неведомые глубины Карельского перешейка, исплавываясь в неведомом озере (полет, полет!), начиная погибать от лютого голода, на звук горна — «Бери ложку, бери хлеб!» — выбредал к пионерскому лагерю: не надо ль поколоть дровишек? Испуганно вытаращенные глаза: «У нас газ...» — и тут же тарелка немереного социалистического хлеба.

Нет, я всегда был прекрасно знаком с той мужественной тоской, о которой приятно петь под гитару: «От злой тоски не матерись...» На Ямале, на Таймыре я скучал по Ленинграду, по музыке, книгам, Эрмитажу, по женщинам — всегда по нескольким сразу, — но... Тоска по чему-то реальному — это еще не тоска.

Тоска! К чему красивые слова: все наши «отрицательные эмоции» — только разновидности страха, как положительные — надежды. Но настоящая тоска — беспричинная (то есть рождающаяся от всех причин сразу) — всерьез и надолго взялась за меня на Белом море, где — ради чистоты эксперимента — ну все было расчудесно.

С самого начала: за Шлиссельбургом (тени уходящих кумиров) у напрягшегося на трамплине танка я поймал рефрижераторную бандуру, на паромчике через Свирь спрятавшую голову под крыло. Олонец во тьме прозвенел своим волшебным-запретным клюевским бубенцом, а полубелым утром я уже ежилась у Онеги, сделав тщетную попытку отыскать в такую рань могилу Шарля Лонсевилля, но автобусы ходили только до кладбища Бесовцев.

На тормозную площадку меня устроила молоденькая стрелочница, такая милая — хоть оставайся. Мы долго перемахивались, как голубки.

На разъездах я бегал вдоль состава, чтобы согреться, ибо чистойшей сини, к зениту сгушающейся в фиолетовый тон, сопутствовал такой же холодный ветер. Тем не менее, отбивая на пляшущей площадке чечетку, я успел разглядеть тут же канувшую в вечность тетку с кувалдой, колыхание сатиновых шаровар которой составляло такой колдовской резонанс с колыханием телес, что я страстно возжелал ее — второй и, надеюсь, последний случай в моей жизни.

«Садись, подвезу, — суетливо, по-извозчичы распахивая дверцу, хлопал по сиденью мужик, сопровождавший на платформе, в моем же составе, униженные, везомые на чужих колесах «Жигули». — Бутылка — и мерзнуть не надо!» Но я считал, что в чужие «Жигули» он обязан посадить меня бесплатно. На каждой стоянке он сбавлял цену, пока не взмолился: «Ну дай хоть на пиво!» На пиве сломался и я, но, попытавшись взглянуть на Повенецкий залив с высоты Медвежьей горы, я отстал от моего лязгающего дома. Однако, увидев давку у кассы — самый невыносимый, рукотворный Хаос, — я испытал пока еще не отчаяние, а лишь вспышку мстительной ярости: вам же хуже! — и сполз в нищем, но звучном Беломорске с безбилетной третьей полки уже во вполне доброкачественной сонной очумелости.

Белое море действительно было белым и бескрайним, сливаясь с выбеленным небом. Внезапно, лишенное горизонта, оно стало стеной. В трансе я побрел к нему по сизому в крапинку гранитному столу, скрепленному печатью гранитного же сургуча, к разлегшимся в воде валунам, залитым, будто после небесного ремонта, известью чаек, опоясанным годовыми кольцами — воспоминаниями о былых приливах и отливах. Пень в сторонке оседлал валун, как осьминог. Телеграфные столбики были воткнуты в колодезные срубы, закиданные лобастыми булыгами: здешнюю твердь пришлось бы долбить динамитом. Гранит вспушился мхом — или это были уже водоросли? — слежавшиеся в кошму, затянувшие природную булыжную мостовую, словно ухо тысячелетнего старца, диким седым волосом, кое-где расцветенные то розовой, размытой, то ржавой сухой марганцовкой, — я и не заметил, что мои кеды уже ступают по воде. А я не имел веры и с горчичное зерно...

Носки я провалил в шатком фанерном вокзальчике, читая Ибсена, укутавши ноги ватником — неизменным другом моих причудливых ночлегов. Я не мог просто так расстаться с этим краем. На паре скованных ржавыми цепями пустых цистерн, катаясь лебедкой по тросу, я перебрался через унылый канал и был молниеносно оформлен в Баб-губу.

В гостиничном бараке — в предвидении бешеных доходов я мог себе позволить койку-гамак — проснулся от пьяного ора: один из моих морских соседей не прошел медкомиссию по давлению и набирался сил перед завтрашней попыткой. Красные лоснящиеся рожи не выразили ни малейшего смущения. «Теперь до утра не уснуть...» — И проснулся в пустой комнате. Загаженной — ну так и что, если смотреть на жизнь как на приключение? А вот ночуя под скамейкой в дудинском дебаркадере среди лежбища перерывающихся бичей, я чувствовал себя словно на увлекательнейшем спектакле: как-то среди ночи пришлось спастись от потопы — один из бичей впал в полноводнейшее детство; другой всю ночь боролся со штанами, неуклонно стремившимися к земле (точнее, к воде, ибо всех нас держал на своей вздувшейся груди Енисей-батюшка), переливался отполированными временем голубыми кальсонами — и ничего было, живописно.

Несолидная Кемь оказалась живописной. На пружинящую от вековых прессованных опилок замызганно-советскую улицу выпирала замшелая скала, округлая, как автомобильный капот. Бесконечный причал отлично прогнал для поэзии, в дырах плескалась черная вода Белого моря. Двухэтажный барак из бруса обветрился и растрескался до очень неплохой слоновой шкуры.

Бригадир по кличке Камбала, надвигавший кепку на ссохшийся глаз, выдал мне черную робу, резиновые сапоги, непромокаемую рыбацкую куртку, зюйдвестку, так идущую любому мужчине, и складную железную койку, вдвинув ее среди прочих казарменных лож. Крепкий мужской запах дюшеса, как здесь именовали питьевой одеколон, царил над ароматами сохнувших портянок. Я, не шибко в своей тарелке, прилег на тюремное одеяло. Раскрыл Ибсена — и тут же оказался в своей тарелке. Бранд... В этом что-то есть: будь любым, но завершенным до упора. Однако ведь можно быть и завершенным воплощением половинчатости?.. Вошел какой-то горбоносый разбойник — среди лета в устрашающем нагольном полушубке — и, не говоря ни худого, ни доброго слова, — дрын-дын-дын-дын-дын! — отодвинул мою кровать вместе со мной и удалился. Затем с кульком на груди вошел Лев Толстой периода «Севастопольских рассказов» — в черной робе, как у меня, но с рыжим от ржавчины пузом. Приладив кулек на колени, он вынул из кулька яйцо и положил на тумбочку. Пока выщупывал второе, первое, неспешно рокоча, покотился к краю. Он дернулся за ним — с колен со звучным чмоканием шлепнулось еще одно. Он дернулся к кульку — яйцо с тумбочки ответило еще более смачным чмоком. Толстой запоздало качнулся обратно к тумбочке — кулек разразился целым градом вульгарно-сочных поцелуев. Толстой махнул рукой и застенчиво улыбнулся. Я ответил как можно отзывчивее. Впоследствии он сделался главным моим недоброжелателем, ибо прежде слыл здесь первым эрудитом, широко пользуясь словами «антибиотик» и «белок». Горбоносый же разбойник стал ярым моим приверженцем: «Это такой мужик, такой мужик!» — ну, какой же все-таки?! А полушубок во время ветра напяливали все, кому приходилось сидеть в про-

дудной будке плавучего крана, угловатой, ссутулившейся триангулированной птицы, уронившей в воду отрубленную клювастую голову.

Почти все мои коллеги были списаны за пьянку с легендарного корвета «Меркушкин» — должно быть, Ноева ковчега, если там еще кто-то все же оставался. Тем более, про кого бы речь ни зашла, обязательно добавят с долей почтения: «На «Меркушкине» ходил». Иногда по горизонту начинал растекаться дымок, все высыпали на причал и, доходя до взаимных грубостей, препирались, «Меркушкин» это или не «Меркушкин». Наш народ был при этом не так уж прост: имел своего эрудита, бонвивана, борца за правду, гордеца... Уже в последнем градусе гордости он долго и горько смотрел в последние полстакана, пока вдруг не выплеснул, на счастливого, за спину. Ему, разумеется, врезали в пасть, печка потом так и стояла в порыжевших кровавых пятнах. Бонвиван подхватил трепака — долго толковали, что залезать надо только на кокш, — они каждую неделю проверяются, но где же кокш напасешься, когда из рейса все приходят вот с такими — международным жестом воздымался стиснутый кулак: «Рот фронт!», «Но пасаран!»

Наша собственная кокша, оплывшая от жира и пьяных слюней, не годилась ни для чего, особенно для копита. Натряхивала она нам в дюралевые тарелки прилипшей к половнику непромытой расквашенной вермишели, а если не вермишели, то пару варварски просоленных палтусов — здесь они ничего не стоили. Чтобы добить цену до положенной суммы, иногда вместо завтрака насыпала мелких помидорок, которые тут продавались по цене тропических фруктов. Когда народ пытался бухтеть, восставал борец за правду, становясь, разумеется, на сторону того, кто работает, а не того, кто в данный момент ест: «А вы попробуйте на такую ораву печь растопить, воды залить...» — как будто каждому из нас не приходилось портянки наматывать, сапоги натягивать, багор брать...

Верно, верно, скотов я просто боюсь, а по-настоящему, интимно и проникновенно, я ненавижу только профессиональных ревнителей справедливости, кто борется за правду, вместо того чтоб хоть что-нибудь узнать о ней: они вносят скотство в мир духа. Собственно, любая борьба и есть скотство, даже настаивание на собственной правоте.

Но от запаха мокрых бревен (особенно если сунуть нос в слизистую смазку под отставшую кору!) у меня до конца дней будет то сладко, то горько щемить сердце. О, целительный труд! В самые страшные годы облегчение мне приносило опасности — достаточно серьезные (мелкие, наоборот, норовили предстать безнадежными символами мирового зла), но в принципе — одолимые. Шагнуть к несущемуся с ревом самосвалу, чтобы обдало ветром, — это могло на целых полчаса зарядить бодростью. Когда душевная боль достигала совершенно уже непереносимой силы, когда я падал на колени перед собственным стулом и со сдавленными стопами катался лбом по его обивке подобно теленку, у которого режутся рожки, когда я готов был валяться в ногах и лизать сапоги, если бы было у кого, — я выбирался на крышу нашей девятиэтажки и перевешивался через кирпичный бортик. Ледяной компресс под ложечкой приносил некоторое облегчение. Но настоящая доза была — пройти по бортику хотя бы два-три шага.

Однако для начинающего Баб-губа обеспечивала идеальную дозу страха, освобождающую от власти мыслей и грез, то есть от подлинного нашего «я». Прыгать по многогорбым пятиэтажным, в пять обхватов, вязанкам из осклизлых бревен, схваченных двумя цепями, — даже это требовало известной сосредоточенности: в лучшем случае купнешься в своих резиновых доспехах, а если еще успеешь приложиться затылком да бесполое стадо успеет сомкнуться над головой — а до земли больше десяти метров вниз, лихтеры чалятся...

И ведь нужно еще пасти багром это плавучее стадо, оцепленное в гонку плавучей же ломаной линией и из спаренных, как двустволки, бревен, скованных ржавыми кандалами. Этой гонкой, растянувшейся в гигантскую каплю, вязанки нам пригонял бойко постукивавший буксир, ухватив бревенчатую цепь сразу за оба конца. Неповоротливые пятиэтажные плоты мы и лаской, и таской загоняли в водный дворик, где уже не было спасения от повисшего на жилках клюва. Вот где было набираться жизненной мудрости! Багор незачем вколачивать в бревно с размаху — только спружинит, ты лучше тюкни легонечко... От

рывка, хоть пупок порви, семитонный плот даже не шелохнется, а упрись вполсилы, но надолго — и рано или поздно заметишь, что он пришел в движение — и все быстрее, быстрее...

«Майна», «вира» — схваченная поперек ребер пачка бревен тяжело колыхается над ковром щепы, кран заметно клюет носом (отсюда до кабины рукой подать, а оттуда — даль, будто с галерки), ты вспрыгиваешь на бревна и, колыхаясь вместе с ними, корячишься над ржавым замком на ослабшем железном поясе. Если, конечно, он ослабел. Если нет, майнай по новой (вместе с собой), крановщик приоткроет челюсти (за одну из них ты держишься) и снова стиснет распуштившиеся в воде бревна; если удержишься не там, пальцы так и останутся в брезентовых рукавицах, а если проспишь ногу промеж бревен, ее скорее всего сумеют сложить заново; в Кеми хороший хирург. Сброшенная цепь, пролязгав всеми змеиными звеньями, укладывается на плавучий помост, следом и ты прыгаешь туда же (пачка уже величаво тронулась вверх), только не забудь, что предметы, с которых прыгают, склонны откачиваться в обратную сторону. Я, обнаглевши, как-то недостаточно учел это целых два раза за одну волшебную белую ночь. В одежде совсем не холодно окунаться в розовую ртуть — только престиж падает. Цепи текучей веской грудкой оттаскиваешь на пузе в общую гору — их ржавчина-то нас и превращает в рыжих. А в голове бесконечно крутится очередная, недослышанная и перевернутая строчка из очередной эстрадной поделки, ранящей какой-то искренней ноткой, таинственно-волнующая до тех пор, пока не удастся разобрать правильные слова.

С молью — бревнами, болтающимися в розницу, проще: клюв хватает их без разбора, а они торчат во все стороны, как спички из щепотки. Если бы они не имели привычки выskalзывать и, спружинив, сигать черт-те куда, с ними бы почти и не было хлопот. «Куда, убьет! — не своим голосом орет на меня Толстой. И тут же спохватывается: «Да мне-то что...» А в воздухе все кувыркается щепка, словно катаясь по невидимой плоскости. Толстой постоянно уличает меня в недостатке внимания и эрудиции: я, например, думал, что шпиль — это на Адмиралтействе, а это на самом деле лебедка. Я и сам видел, что по-ихнему, по-деревянному Толстой умнее меня, — бревна с ним становятся куда послушнее, хоть я и автор десятка заметных публикаций по управлению твердыми телами: чем дальше от бессмысленной материи, тем умнее я становлюсь.

Подобно скверному полководцу недостаток ума я возмещал избытком личной храбрости и физической подготовкой. Как-то, не пощадив живота своего, с разбегу прыгнул пупом на развязавшуюся гонку — а то пришлось бы пачки выламливать по всей губе. «Привязывать надо по-морскому, а не по-колхозному!» — орал Камбала. После вахты рука долго хранила форму багра. Зато через месяц я бесстрашно выколачивал кулаком пробку из импортных бутылок.

Как я ни уматывался к концу вечерней вахты (добывать умели люка, которые мы же обязаны были закрывать на лихтерах тяжеленными палаческими плахами), вместо того чтобы рухнуть и заснуть, даже после освобождающей полуночи, я еще с час сидел в одиночестве у неструганого стола за книгой и стаканом холодной воды с сахаром вприкуску: насраждался принадлежностью себе, то есть свободой от реальности, от необходимости быть сосредоточенным на ней. Будили всех одинаково — в семь, ибо очередная вахта начиналась в восемь, а кокше не расставлять же дважды дюралевые тарелки. Простые люди не нуждаются в сне — чтобы при случае всхрапнуть часиков восемнадцать, но я постоянно чувствовал себя под балдой, из носу понемножку сочилась тут же засыхавшая кровь, отчего он ужасно чесался — приходилось в соответствии с приметой почаще заглядывать в рюмку. Однако тоска не отпускала даже в мире духа — не отпускала в мир духа, просвечивая сквозь строки Батюшкова, Вяземского, Федора Глинки, Мея, Полонского и Надсона: в библиотечном бараке на могучем гранитном лбу (здесь дол очей не веселит — гранитной лавой он облит): я не считал ниже своего достоинства водиться лишь с «Библиотекой поэта», издававшей девственный треск, когда ее раскрываешь, — современность смотрелась слишком голой, лишенной наводившей тайну дымки отдаленности.

Блуждая по мхам и гранитам, прошитым ползучими корневищами жмущихся к земле корявых сосенок, я бормотал стихи, мычал симфонии, оперы целыми актами: ничтожный намек на воплощение рождал в моей душе столь бо-

жественные образы и звуки, каких я никогда не мог услышать в филармониях, где требовалась подтянутость, где был так безжалостен свет люстр, всеобнажающий, как в операционной... От мычания и бормотания стеснялась грудь, закипали слезы, шел мурашками и подтягивался мешочек — тоска радостно устремлялась в социально одобряемое русло. Сколько раз я принимал неумеренность в сладостных восторгах, исторгаемых из моей души искусством, за симптом приближающегося выздоровления — и зря: если тебя начинает как-то особенно потрясать искусство, значит, твоя душа слишком уж истосковалась в мире простоты и правды по миру себе подобных.

В самонадеянности как-то решил сократить дорогу — откуда и куда было спешить, идиот? Когда нам с моей, надеюсь, последней женой случается бывать на кладбищах, мемориальных, с дымкой давно минувшего, — наготы сегодняшней смерти я просто не выношу — коктейля пошлого и чудовищного, — она прохаживается по аллеям в каком-то прямо-таки умиротворении: «Тысяча восемьсот двадцать третий — тысяча девятьсот второй», — и одобрительно кивает: «Хорошо старушка пожила». И тут же огорчение: «Тысяча восемьсот тридцатый — тысяча восемьсот тридцатый второй, бедный ребеночек!..» Я тарашу на нее глаза: всерьез она говорит или шутит, ведь в сравнении с вечностью восемьдесят лет равны двум (и нулю), — но ей долго казалось, что это я оригинальничаю, пока она не начала все объяснять моей болезнью.

Из гостеприимного песчаного зева, приготовляя его к новоселью, кемский мужик в резиновых, как у меня, сапогах вычерпывал грязную воду — каждый раз чуть не по ведру. Зябко будет ложиться... Я ускорил шаг. На месте праздных урн и мелких пирамид синели, зеленели, рыжели балконные ограды да почтовые ящики, увенчанные облупленными звездами. Трепетали на проволочках вечнозеленые пластмассовые листья. Я вглядывался в увековеченные на овальных эмалях фотографии — казалось, они уже предчувствовали, для какой цели снимаются. И нам с вами не дано знать, кому вот так вот придется смотреть в праздные глаза взглядом, так ни разу и не дождавшимся вылетевшей птички...

С полированной мраморной стелы на меня глянуло выбитое матовыми точечками молодое женское лицо. Все еще модный воротник свитера грубой вязки, милая надменная губка — девчоночья надменность, за которой, если ты того стоишь, тебе откроются нежность и доверчивость. Внезапно я представил, что когда-то ее любил, — и меня качнуло от такого отчаяния, такой боли...

Но это еще что: это лицо светящейся туманностью из полированной тьмы встает передо мной едва не каждый день, и я снова и снова с трудом удерживаю стон той же самой боли, того же самого отчаяния, хотя дело у нас идет уже к серебряной свадьбе. Можете считать меня чудовищем: думать о ней мне иногда больнее, чем о своей затерявшейся в песках предпоследней женушке-биологине, которую я давно уже сумел окутать безопасным коконом светлой печали.

Когда солнце переставало ослеплять, расплавляясь в бескрайнем жидком зеркале, вода, если долго в нее вглядываться, своими бесплотными переливами обращалась в полярное сияние, а несчетные валуны — хоть усаживай рериховскую Сольвейг, подстеливши газету от известки, — удвоенные отражениями, становились гигантскими картофелинами, зависшими в разреженном текучем пламени (сверху и снизу — антиподами — сидели те же чайки). Но однажды в стаде валунов мне открылась крысиная орда, разбредшаяся на водопое...

Лихорадочную жажду движения мне и потом случалось принимать за выздоровление. На самом же деле лихорадочность — это зверек, мечущийся по клетке, а тоска — уронивший голову на лапы.

Я на халяву — как свой, флотский человек — скатался на Соловки. Что говорить, это чудо. Но между нами; так ли чудесны чудеса, открытые каждому, действующие и без нашего горчичного зернышка фантазии? У циклопической булыжной стены юная туристочка угостила овцу шоколадной конфетой, — уж давно зарезали и скушали бедную, а в моей памяти бесхитростная овечья мордочка по-прежнему так и дышит мне в лицо шоколадом...

На обратном пути я так мужественно смотрел в лицо волнам, так властно пружинил ногами, воображая, будто именно я раскачиваю «Лермонтова», что меня и качка не брала. Хотя голова — самое слабое мое место, она и в боксе

плохо держала удар. Молоденькая москвичка, беспрерывно кидавшаяся переверситься через борт, почтительно спрашивала у меня, скоро ли кончится качка, — она принимала меня за матроса. «Вот в губу войдем...» — веско отвечал я, ухитрившись, однако, стилем остроумия и несколькими славяно-греко-латинскими цитатами дать ей понять, что она имеет дело с загадочной личностью.

Я добрался до гранитных порогов, через которые тяжело скакали наши будущие бревна, взвываясь на дыбы и рушась с грохотом, на миг перекрывавшим даже рев воды, бьющей со дна бесчисленными гейзерами, прыгающей с бесчисленных каменных трамплинов. Почти отпрыгавшей: контора с поэтическим названием «Ондагэстрой» уже наполовину перерубила ее высоченной бетонной стенкой. Я прошлепал по узкому гребню, опасаясь не высоты, а ругани. Страшно захотелось наступить на провисший над неокрепшим бетоном электрический провод: что будет? Оглянулся и наступил — ничего. На берегу долго стоял, околдованный гулом, ревом и мельтешением, которым с того берега кто-то трижды отсалютовал беспомощной среди бела дня красной ракетой. Потом с откоса еле слышно заорал какой-то мужик, потом замахал руками. Кому это он, дай Бог ему здоровья, машет, отрешенно размышляя я, куда не слышал его бессильный голосок: «Сейчас взрывать будут, твою мать!!! Три же ракеты пустили!!!» Я, осыпаясь вместе с галькой, бросился наверх, но что-то вдруг толкнуло меня, как жену Лота: я оглянулся и застыл соляным столпом. Черное облако стремительно превращалось в пухнувшего морского ежа, из которого уносились мохнатые иглы. Потом ухнул взрыв, и еще довольно долго вокруг меня шмякались метеориты, только что гордившиеся своими хвостами, клубящимися, будто в камере Вильсона. «Ну, доволен?» — с усталой мрачностью спросил мужик наверху, и я, подумав, кивнул.

Но по-настоящему украсить жизнь может только женщина. В обратном автобусе, не противясь стихийному притискиванию, раскосая деваха по-свойски — работяга работяге — весело рассказывала мне, до чего ей негде жить, а я весело зазывал ее к нам в кокши. Охотно соглашаясь, она мимоходом перевесилась и размазала жука по стеклу — жирные белые кишки потянулись на полметра... Она мельком отерла пальцы о спецовку, и я представил, как она ими раскладывает палтусов...

Нарастающее чувство тесноты, загнанности в угол, на выходные бросило меня в Мурманск. На вокзале (проглотивши стакан) еле отделался от готовых ради меня расшибиться в лепешку рыбачков («Не, ты что, парень из Ленинграда!») и пробежался по «стометровке», где распираемый гормонами, а еще более — воображением морской люд клеил портовых шлюх. Одна пьяненькая бабуса, сидящая по-татарски в каком-то палисадничке, поманила и меня неопределенными русалочьими жестами: на Севере дефицитные женщины гораздо дольше чувствуют себя молодыми. Не отличимая от раннего утра безмолвная ночь над сопками — все та же многозначительная неразрывность величия и захолустья. Суровая красота — это когда смотреть приятно, а остаться не хочется. В легчайшего накала жидком пламени, текшем по каменному руслу Кольской губы, чтобы где-то в недосягаемости слиться с огненным океаном, прикорнули корабли, грубость битого металла которых заметна лишь вблизи. Безостановочные объявления на лежащем вповалку вокзале: «Поезд на Ленинград отправится...» — нестерпимо хотелось укрыться в маленький, замкнутый, свой уголок.

Но имя Падун я не мог пропустить мимо ушей. В автобусе я устроился на переднем сиденье, ватник, верный пес, прилег в ногах. В проходе, как назло, выстроилось какое-то непоседливое старичье, а уступишь место — стоя не проникнешься каменными осыпями. Я отвернулся к окну: созерцать красоту можно, лишь отворачиваясь от нужд мира. Но, обнаружив, что дыхание страждущего человечества за спиной все равно лишает меня всякого кайфа, с досадой пожертвовал красотой, а уже готовясь выпрыгнуть из автобуса, обнаружил, что ватник исчез. Я бросился за удочником, приторочившим ватник поперек рюкзака. Да, пожалуйста, смотри, смущенно бормотал удочник — я, опомнившись, попросил прощения. С чего я вдруг так взвился? Прямо горло перехватило от обиды. Видно, чуял, что ватник больше не понадобится.

Вода от Падуна была отведена к новой плотине: ты машины будешь двигать. Хилые потоки протекали вяло, как жизнь сквозь пальцы, каждый водопая-

дик без конца повторял одно и то же движение — казалось, разглядываешь работу какого-то механизма.

А тревога все росла, заслоняя все. Я больше не мог оставаться один.

Не заезжая за «расчетом» — как бы я глянул в глаз Камбале! — я, будто солидный жлоб, ухватился за соломинку купейного билета до Питера. Это было начало конца. Или конец начала.

Меня исцелит только дорога, надо проездиться по России, по привычке твердил я где только можно, а можно было исключительно у жены, ибо право на страдание выдается с огромным разбором. Посмел бы я намекнуть, что не каждый миг изнемогаю от счастья, въехавши в заработанную «горбом» (будь у меня горб, меня могла бы исправить хотя бы могила!) кооперативную квартиру!

В этой фазе я начинал бояться незнакомых людей на целебном вокзале. Неодушевленные тела всегда безобразны: только страдания, сомнения, метания заставляют сквозь пот, перхоть, бородавки, волосатые ноздри, пористый эпителий, сквозь гнусь и картавость видеть и слышать то, чего нет: душу — неисчерпаемость и непредсказуемость. Но в очереди — чем она длинной и опасней, тем неотвратимее проступают на лицах страшные сестры (мать и дочь? дочь и мать?) — тупость и целеустремленность. И в безжалостном их освещении так бьют в душу и под душу поблескивающие коронки из зевающего зева, пальцы, погружающиеся в слизистые или серные глубины, блаженное урчание раздувшейся спины, наконец-то встретившейся со скребучей когтистой лапой... Но, может быть, я бы еще не убоился спин, затылков, шей, ушей, очков, зрачков, не раскрывающих душу, а высматривающих пользу, если бы мы стояли заодно перед злобными кривляниями Хаоса. Но каким бы безразмерным терпением ты ни вооружился, все равно где-нибудь да полетят клочья шерсти в шелудивой собачьей драчке. Тот подошел, та отошла — мыслимо ли взглянуться в эти кофты, пальто, усы, носы... А кто-то может просто раскусить, что ты трус, то есть трепещешь прикосновений скотства... Самое страшное, когда творцами Хаоса становятся люди — кто только и мог бы нести в мир суррогат осмысленности — упорядоченность, в которой мы могли бы хоть что-то планировать, хоть в чем-то быть себе хозяевами. Но окошки захлопываются внезапно, как гильотина, двери хранят непроницаемость стен, шквалом прокатываются санитарные дни, и все, кроме тебя, откуда-то знают, куда бежать и кому сажать локтем под дыхло. Распаренные мамы, прикованные к непомерным тюкам (одна, не теряя времени, тут же и строчит на швейной машине), исходящие криком воспаленные младенцы, одуревшие дети, девчонка, до жути схожая с моей растворившейся в песках биологинюшкой, безотановочно качающая головой от плеча к плечу (безумие каземата, кинематографическая версия «Графа Монте-Кристо»), — они уже не рождали во мне глубинного ликования, что и в этом хаосе, напоенном запахом мочи и хлорки, я все равно как дома. До чего щедр и услужлив бывал я в такие минуты!

Дом... Лишь теперь я постиг всю спасительность хотя бы столь призрачной ширмочки, ограждающей нас от Хаоса! Только цыгане, возлежащие посреди Хаоса трехслойным размызганным цветником, такие же потные, как все, и гораздо более чумазые, источают ауру гомонящей безмятежности, ибо они здесь у себя.

А меня вот, когда я впервые рискнул, как нормальный человек, отправиться в Крым с женой и дочкой, за месяц начал грызть страх, что я отдаю рукотворному Хаосу советского транспорта не только себя, но и доверившихся мне любимых. «А билеты есть?» — с надеждой, что их нет и не будет, спрашивал я у жены. «Вот, смотри, тринадцатое-четыринадцатое-пятнадцатое место». — «А обратно?» «Вот обратно, тринадцатое августа», — ласково и внятно, как слабоумному, зачитывала она. «Опять тринадцатое...» — ныла моя болезнь (мое прозрение), совсем уж не зная, к чему еще прицепиться, но у жены были свои бесценные символы: «ребенка к морю», «всей семьей...» Я могу жить, только если мирюсь с наилучшим исходом: сезонная гора, море, норовящее ускользнуть от Моне к Айвазовскому, — все это суeta в сравнении с роковым вопросом: удастся ли выбраться обратно? Главное — не допускать легкомыслия, немедленно в битву за место в обратном троллейбусе до Симферополя!

Но рокового тринадцатого августа судьба вновь стоит на карте: отменяет троллейбус, наши билеты окажутся фальшивыми (человеческая жизнь зависит от такого лоскутка!), погаснет электричество, распаяется асфальт, воспретят передвижение без пропусков... Я приволок своих девушек на троллейбусную остановку за полчаса, а потому минут как бы не двадцать довольно похоже симулировал спокойствие. На тридцать первой минуте уже и мама засуетилась в поисках диспетчера. Давно ушел, смотреть надо было, растолковали ей еще через полчаса. Нет, все-таки я герой — кто еще сумел бы, мечась в смертном ужасе, хранить на лице ровную мрачность? Но собачье счастье, которое меня охватило, когда владыки мира дозволили нам пристроиться на ступеньках, носом в расправившую крылья дверь, я скрыть уже не мог. Пока меня не охватил новый ужас, что с поездом повторится то же самое.

Я лет с четырех уже знал, что иметь билеты вовсе не достаточно, чтобы тебя пустили в вагон. Что без них точно не пустят, это я понимал, а вот с ними...

...Чуть возвышаясь над сияющими кривозеркальными уголками ярко-коричневым, как кухонный пол, чемоданом, возбужденно охраняю его и шишковато раздуваю сумку от рыщущих кругом воров. Рядом с мамой я не боюсь толпы, тянущей шеи к железным лучам, расходящимся, как на «Беломоре», от никогда не видимого окошечка билетной кассы. Зато над кассой здесь простерла руку не мерзнувшая в самые лютые станционные морозы женщина с простым лицом: «Родина-мать зовет!» И народ откликается на этот зов, безостановочно топчась на месте и переталкиваясь безо всякого смысла, как картофелины в кипящем супе.

Папины полуботинки выбегают из стада кирзовых сапог: величавый гений моего мирка, сейчас пучеглазый и оранжевый, как рак, хватается за ручки меня и чемодан (сумку подхватывает мама), выкрикивая страшным задыхающимся голосом: «С головы?.. С хвоста?..» Кидаемся вправо, влево, «Зеленый дали!», меня волокут по осыпающейся в бездну щебенке, чугунный узор ступенек красуется в недосыгаемой вышине, куда папа тянется с розовыми листочками к изваяниям проводник, «Кто вам продавал, пусть тот и сажает», мольбы в пустоту, ударяющаяся в слезы мама, — я от ужаса кидаюсь в рев, истощенный вопит паровоз, выдыхая пороховую гарь, через больно дерущиеся ступени забрасывают сначала меня, потом коричневый гроб с ободранными уголками... Папа с безумными глазами вскарабкивается уже на ходу, когда я начинаю заходиться криком. По примиренному тону переругиваний чувствуется, что самое страшное уже позади. Влечемся среди татуировок, разбегающихся подобно плющу изпод голубых маек, среди доминошного кладанья и безмятежных босых ступней — и останавливаемся в немом восхищении перед утопающим в кудрях морячком, обтянутым геройским тельником.

«Ниче не знаю», — делится с окном морячок, и я сгораю от стыда, что папа пытается возражать этому человеку-мечте. «А ты докажи», — не верит морячок, и я начинаю потихоньку тянуть папу за штаны. И вдруг! — мой полубог! — хватает! — Папу! — Бога!!! — за грудки!!!! Мой вопль ужаса и отчаяния...

Это называлось — «Мы едем отдыхать».

Чад кошмара понемногу вытесняется в приоткрытое окно крепнущим чувством «у себя дома», шишки на сумке обращаются в безобидные, пупырчатые, как ручные жабы, огурцы и мозаичные давленные яйца — теперь меня беспокоят только крючья: воры забрасывают их из бесконечности потустороннего мира на веревках, другим концом привязанных к телеграфным столбам — могут зацепить и выдернуть чемодан, а могут и тебя: законы жизни объективны. У моего дедушки, до-олго искавшего счастья по стране Советов, был целый цикл железнодорожных сказаний с одинаковым зачином — не пускают в вагон.

— А она — бац! — захлопывает у меня перед носом! — Дедушкино изумление граничит с восторгом. — Так я на этих ручках и висю. А поезд гонит. Узелок был с харчем — по-ле-тел! Подушечку с собой вез — и подушечка закубырялась! Довисел до станции, соскочил и пош-шел: сука, б..., сволочь, гадина!..

Невероятно жалко было эту уменьшительно-ласкательную подушечку — я долго бродил, глотая слезы и шепча, как стихотворную строку: «Сука, б..., сволочь, гадина, сука, б..., сволочь, гадина...» И впивал компенсаторный фольклор внуков: «Ладно, говорит. Сел в другой вагон, а потом подловил ее, вы...л

и набил в п... камешков. Потом, правда, расстреляли». Зато какая сладкая мечь! Всех бы их нафаршировать камешками!

Я еще тогда усвоил: подлинный владыка тот, кто имеет право на прихоть. Не вечное ли самодурство всевозможного начальства и заронило во мне семя на моей высокой болезни? Уж слишком часто мне приходилось видеть, что корректность и рассудительность — удел рабов.

Солнцеворот произошел даже не тогда, когда я впервые прервал свой свободный полет, ринувшись обратно в нору, — он случился тогда, когда я осознал, что именно романтика странствий и есть подлинная нора, наполненная песком для страусов: в своих географических прорывах я стремился уйти от неодолимых стихий — годы, заботы, субординация — к одолимым материальным препятствиям. Тогда-то я снова понял, что бежать некуда, что менять внешний мир бесполезно, нужно перекрашивать его светофильтрами собственной фантазии, преображать его образ: изменять климат в собственном скафандре.

ОСКОЛОК ВТОРОЙ

Я приказал себе полюбить свою заброшенность и мизерность в безбрежных пространствах, заполненных беснующимся и охладелым прахом, полюбить незащищенность перед страданиями и утратами, полюбить брэнность нашей плоти, стоящей выше праха лишь потому, что я так распорядился. Я гордо смотрел в слепые бельма Хаоса целых три дня, когда мне позвонил Петя Пилипко. После физфака Петя окончил психфак и теперь организовывал волонтерскую службу помощи самоубийцам. «Помощи в чем — повеситься?» — спросил я (к стыду своему, впоследствии мне пришлось слышать эту шутку раз двадцать). «Только тихо. Проблемы самоубийства у нас нет, отсутствуют социальные корни. Но удалось пробить кризисную службу плюс к телефону доверия».

Что ж, я знал, что сказать самоубийцам! Не будьте пассивными игрушками Хаоса, держите свою судьбу в собственных руках! Да, мы бессильны в скотском мире «событий и фактов», но мы всеильны в мире мнений! Полюбите свою заброшенность в безбрежности, исполнитесь восторга перед бездной, унесите субъективное от объективного, бесконечную собственную значимость внутри от бесконечного ничтожества снаружи!

Петя Пилипко обрел вскинутую бороду лопатой, мерность, осанку, пузо и еще несколько черт Саваофа из сравнительно благодушных антирелигиозных карикатур. Из его кабинета проскользнул хрупкий молодой человек, пряча глаза, но успевший бросить на меня тревожный взгляд раненой газели. «Наша лавочка не для простых людей, — осуждающе (лавочку) сказала медсестра, перебирая карточки анонимов. — Тем некогда дурью маяться». Они даже и заняты больше всех над своим домино — просто ничего не хотят уступить!

К тебе всегда тянулись несамодостаточные личности, объяснил мне свой выбор Петя. Поскольку вся наука есть бунт неодушевленного, то и в психологии считаются научными лишь те ее отростки, которые убедительны для животных, а уж им ли не знать, что высшее — наши мечты и страсти — должно быть в рабстве у чего-то низшего; осталось только выяснить, у чего: у гормонов, у гениталий, у корысти, тщеславия, злобности или производственных отношений. Ссоры в семье, неприятности на работе, денежные затруднения, стыд, совесть, сомнения в оправданности бытия — все покрывалось общим термином: проблемы. Сложная личность именовалась «человек с проблемами». Не было ни забот, ни сомнений, ни тоски, ни вины, ни исканий — только проблемы. А жить полагалось без проблем. Без всего человеческого. Зло отождествлялось с дискомфортом.

Быть самодостаточным — я съезживался, до того это походило на мой призыв держаться ни на чем. Сделайся свиньей, клади с прибором на чужие экспектации (которые и делают нас людьми — только что без крупы личной дури) — и будешь счастлив, эта карикатура на меня была еще безжалостней, чем злобная старушонка в Петиной приемной, белая в черных угрях, как перченное сало, лихорадочно втолковывшая мне, какой отзывчивый человек Петя и какие скоты все прочие (слово «скот» коробит меня, даже если его произношу я сам).

По приемной были рассажены пожилые дамы и старухи, подобострастно кланявшиеся явившему им лик свой Саваофу. Медсестра раздала надувные резиновые подушечки под откинтые затылки. Петя щелкнул магнитофонной клавишей и уплыл в кабинет, оставив пастве свой огундосевший глас: ваши руки и ноги наливаются тяжестью, ваше тело наполняется... ВЫ СПИИИИТЕ...

Проблемы изгонялись через разинутые рты. Лишь на улице блеснула догадка: перченая старушонка в отличие от меня не могла поделить со «скотами» какие-то материальные предметы; я хотел, чтобы люди предельно презирали неживое и предельно чтили одушевленное, а они с Петей желали наоборот.

Впоследствии мне пришлось немало народу проводить на тот свет и обратно, и — если очень грубо — несамодостаточные убивали себя, самодостаточные — других.

За промзонами, цехами, пакагаузами, за неустанно долбящим по голове конвейером железной дороги, среди пространств обросшего бурьяном пустыря близ серебристых отрогов бескрайнего Волкова кладбища, там, где, сливаясь, шумят конвейерные хрущевки Будапештских, Бухарестских, Пражских, Белградских улиц, в приземистом бетонном небоскребе с пропорциями холодильника меня поджидали души, возвращенные с берегов Стикса. Неотвратимой поступью я поднимался по орбите пандуса, обгоняемый лихо взлетающими к беспокойному приемному покою каретами «скорой помощи», моя помощь была не такой скорой, она спасала не от самоотравлений, самопорезов или самоповешений — она спасала от жизни такой, какая она есть.

Тьма многоколенчатого коридора с двенадцатикратным эхом, регулярно чередующиеся прямоугольники света: ожоги, переломы, отравления... Под несусыпно склоненными капельницами распростерты навзничь обнаженные по пояс наконец-то обретшие покой мужчины и женщины с растекшимися грудями. Гучко, заведующий царством теней, изумительный мужик — чистый гуцул, только свитки не хватает, — гордится своим адом («Я думаю, во всем Союзе никто не видел столько людей в коматозном состоянии!»). Он знает, что надо спасать до предела, а потом не убивать самому. «Алексей Михайлович, ставить Козлова на искусственную почку?» «Не надо его трогать, — и спокойно поясняет мне (у нас с ним любовь). — Это спрашивают, чтоб я был виноват». Он не сердится, он поясняет. Если не трогать, Козлов погибнет от интоксикации, если трогать — от сердечной недостаточности, — стандартный человеческий выбор, который кто-нибудь да должен брать на себя.

Боже, лишь из нынешней дали я вижу, что и его служение было хитроумнейшей разновидностью скотства: он воспринимал своих отравленников как химические бойлеры, в которых бурление ацетилметанолгидронитратов нужно загасить впрыскиванием гидроксильных групп калийно-натриевой соли двууглекислого аммония! И — о насмешка! — без доброй дозы скотства им бы не мог помочь даже я, аристократический целитель духа. Я всей душой сливался с душами страдальцев (чаще страдалиц), чтобы все понять, все оправдать, все ощутить, но — не разделяя главного — безысходности, а напротив — холодно подыскивая... Выход? Его почти никогда не бывает. Но бывает перемена зрения. И в новом свете, глядишь, и дрогнет первый шаг от палящей обиды к прощению, от раздирающего бессильного гнева к примирению, от раздавливающего стыда к гордости, от цепящего ужаса к азарту.

Но без стопки-другой из скотского копытца мои глаза, уши, язык не сумели бы так сноровисто орудовать при отключенном воображении. Только первые планы, только предметы — не значения, а назначения: решетки на окнах, чтобы наружный мир не наступил свою жертву и здесь; рукоятки-заводилки на кованых верстаках, чтобы регулировать изголовье; тридцать коек в каждом зале, чтобы пациенты не страдали от одиночества; опившийся дихлофосом голый пергаментный бомж, не согласный мириться с одеялом, чтобы они же не страдали от скуки; смесь пареной капусты, хлорки и мочи — это не расчленимый на составные части познавательный знак больницы: в утилитарном мире каждая вещь при деле. Молодецкий милиционер, катающийся взад-вперед в креслекаталке перед входом в палату, чтобы никто не мог ускользнуть от правосудия: в Древнем Риме солдат казнили за одну только попытку самоубийства, при Пе-

тре Великом самоубийц вешали за ноги, волоча предварительно по улицам, дабы прочие такого непотребства над собою чинить не отваживались.

Ух, как меня бесило, когда самоубийство — этот единственный акт, возвышающий нас над скотами, — объявляли результатом исключительно душевной болезни, глупости, гордыни, несчастья, наконец, испытывая к самоубийце что угодно — сострадание, недоверие, злость, — только не уважение. Уважение к мысли, отрешившейся от мяса, уважение к мясу, отрешившемуся от «жизни, как она есть».

Самоубийства — болезнь обновлений. Желаете «прогресса» — миритесь с самоубийствами, хотите «справедливости», всех дорог, открытых (разинутых) каждому, — ждите и разинутых прорубей под припушенным ледком.

С проторенных маршрутов нельзя сходить даже в мыслях. Хорошо ли, достойно ли, правильно ли я живу — на все эти взывания существует лишь один пресекающий ответ: живу *как положено*, получаю *что положено*. Чуть только размывается (хотя бы в умах) расчерченность, кому чего положено, на всякое сомнение — достаточно ли я удачлив, счастлив, свободен в делах, в семье, в миру, в государстве — пустота может отозваться лишь многократным эхом: нет, нет, нет, нет, нет...

Общество, расчерченное твердыми границами, кому чего положено, рано или поздно начинает разгрызать пограничные конфликты. Но общество без границ — это мир безграничных конфликтов, ибо в обществе равных возможностей (равных претензий) все территории — спорные. Здесь ничто не дается даром, автоматически — усилия, чтобы завладеть, усилия, чтобы удержать...

Самое желанное — свобода — и есть самое гибельное. Прежде я с ненавистью замечал только то, как стилеты Твердых Принципов самодовольно проходят сквозь живые ткани, — теперь я с ужасом наблюдаю, как Свобода играючи рассыпает то, что веками складывал Долг, — среди изувеченных обломками тел было невозможно распознать виновных и невинных. И все же... Когда душа, закрученная вихрем свободы, расширяется всмятку, мы (Я!) обвиняем не вихрь, а стену. Но ведь стены, двери, чужие локти и лбы рано или поздно все равно станут на пути, и чем свободнее был разбег, тем сокрушительнее будет удар! А мы — я, я, я! — все равно будем винить столб, а не водителя, ревность, а не распутство, муравья, а не стрекозу, долг, а не прихоть, снова и снова не желая видеть и помнить, что тупая твердость, вечномнущая и ранящая наши души, — даже не скелет, на котором держится наша воля, а стальной баллон, не дающий нашему духу рассеяться в бесконечности прихотей подобно облачку пара, в которое превращается самый горький и самый нежный из наших вздохов на вечном холоде Жизни, как Она Есть. Гибельны и сталь принципов, и пустота свободы. Покуда мы индивидуальности, смертоносно все.

Ревность — индикатор любви, благородная брезгливая придиричивость к знакам нашей неповторимости, обостренное чутье к запаху чужака в том единственном закутке, где мы признаны незаменимыми... Каждый знает, как ревность выжигает любовь, преданность, доверие, уют; но я видел, как с ее исчезновением распадаются дома, гаснет очаг, хладеют привязанности и свободные дети свободных семейств остаются нагими под холодными небесами Правды — неодолимого человеческого одиночества. Я видел и тех, кто пытался найти золотую середину...

Стоп — крупный план: черный разинутый рот хватает обжигающий вонючий дух, растерзанная голова (горгона Медуза) безостановочно перекачивается по серенькой наволочке, выношенной муками предшественниц в прозрачную паутинку, висок тщетно стучится в пустую облупленную тумбочку (по мутному рубину большого борща пульсируют концентрические круги, словно в него каплет капель невидимых миру слез); искусанные губы лохматятся клочками следающей сиреневой пленки — вот что могут сделать полчашки хорошего столового уксуса, в который, если не спешить, рано или поздно обращается и фалернское, и анжуйское. Вчера ей, царице бала, муж выплеснул в лицо стакан клюквенного морса. Парень начинал закладку Дома с большой самоотдачей: вынес с завода электромотор для дачного насоса, вынес и показательный суд в собственном цеху, отъезжая на зону, великодушно освободил жену от долга верности — все по-благородному. Она тоже четыре раза к нему ездила с одиннадцатью пересадками, затариваясь — с секретаршинской-то зарплаты! — кон-

сервами, тускло клацающими и неподъемными, как артиллерийский боекомплект, а остальной досуг безысходно сидела с эгоцентрическим младенцем, покуда свекор со свекровью в соседней комнате наслаждались «Вечным зовом» — ни разу не предложив тоже посмотреть, как тени исчезают в полдень. И на шестнадцатом мгновении весны она вступила в интимную связь. Всего одну и всего два раза. Но муж ведь сам требовал сказать правду (Правду! Ничего, кроме Правды!) — он все простит, он хочет только знать! — и вот с тех пор, обманщик, все время выпытывает, придирается, к Новому году подзаработал сверхурочно, купил ей костюм, а она на службе, на общем празднике выпила сто граммов сухого — так он унюхал и запахал костюм в мусоропровод.

Бедные заплутавшие дети... Мы все, мы все... Дело случая, кто из нас окажется жертвой, а кто — палачом. Может быть, завтра приемный покой примет и упокоит ее мужа, хотя наш брат чаще успокаивается прямо в моргушке, ибо мы предпочитаем веревку, а это дело практически верное...

Но в мире тел и дел, где мы все почти что цельны, то есть скотоподобны, беспощадность естественна — как же не убить человека, который тебе докучает: здесь мы рабы своих интересов. Но там, в скафандрах, где мы свободны... не злобные поступки — злобные и подлые мнения, вот что меня изумляет. А впрочем... Мнениями тоже спасают свою шкуру — душевную шкуру. Чтобы отделаться от тревоги за близких, лгут, что настоящий самоубийца никогда даже не намекнет о своих истинных намерениях. Чтобы ускользнуть от чувства вины — главного чувства, обращающего нас в людей, — лгут, что покончить с собой может только сумасшедший, — это о самом возвышенном из наших поступков, о гордом акте, перехватывающем у Хаоса власть над нашей жизнью! Ну и потом, если кто-то в здравом уме покидает мир, в котором я остаюсь, это наводит и на меня сомнения, правильный ли выбор сделал я. Прочь сомнения — оплошем ушедших!

Зато каких же титанов воли рождает эта страшная мать, беспощадность, — ее дочери достойны ее сыновей! Стоп — дайте траурную рамку. Вроде ничего особенного, а машинист думал — глухая: до того беззаботно она сменяла по шпалам под его истошную сирену. Однако чугуном отмяло только руку. В больнице тоже слов не тратила: улучила спокойную ночь и удавилась скрученным бинтом на спинке кровати. При таком способе мышцы стягивает арбалетной судорогой очень быстро, а смерть наступает очень медленно, есть время подумать и раскаться... А вы говорите — Катон!

Но как невозможно мне было поверить, что страдание и правота — разные вещи. В многотомном «Ярбух фюр суицидохерен» я взялся бы вести рубрику «Самоубийцы-сволочи» — точнее, святотатцы, ставящие высшее в услужение низшему, покушение на власть Хаоса — устройству земных делишек. Я видел самоубийц, набрасывавшихся на себя в пароксизме бессильной злобы (горилла, попавшая в капкан, рвет зубами собственные плечи), я видел самоубийц — хрупких тиранов и мелких шантажистов, — и все же я никогда не мог посочувствовать сильному и побрезговать страдающим. Траурный кант — «ищущая» фригидная распутница, испытывающая взлеты лишь в минуты прорвавшихся перед супругом признаний, что она вновь любит и любима. На неуверенные протесты — стандартная порция снотворного, глубокий, освежающий сон, «скорая», рыдающий муж, мир, труд, май. И вдруг — среди мирного неба — муж любит другую. Стандартная порция снотворного, глубокий, освежающий сон — без пробуждения: муж впервые не явился ночевать. Слов нет, как мне жалко и обидно за эту паскуду: так распорядиться своей смертью — самым значительным, что у нас есть!..

А самоубийцы-спортсмены, ловцы сурового лагерного кайфа, оплетенные синими протоками татуировок и вен, рассеченных глянцевыми вздутиями бесчисленных рубцов, юные «друзья Люцифера», вынимающие друг друга из петли на полпути к своему патрону (иной раз и запаздывая), вдумчивый подросток, сосредоточенно вскрывающий запястья, чтобы собрать кровь в пол-литровую банку... Впрочем, это не мои кадры — они не нуждались в помощи.

Оглянись — и лавина неповторимостей разворотит русло любой общей формулы. Но из-за чего мы себя убиваем — ясно, как боль: из-за всего. Вот какая такая значительность брезжит нам сквозь жизнь, что мы соглашаемся выносить ее общество, — это очень и очень неясно. Именно тогда мне было не до

размышлений. Сумев отсеять (рутиной! Лекциями!) пламенеющих энтузиастов — бич и заковку всех общественных движений, держа в ласковом отдалении попахивающих мочой отрешенных человеколюбцев, проглядывающих сквозь сальные (единственный жир в этих изможденцах) сосульки волос, я оказался матерым доставалой, засевающим во главе некой благородной паутины: запустив в нее два-три звонка, я устраивал на работу, в санаторий, к наркологу или стряпчему, снабжал доброжелательным спутником для похода в жэк, суровым свидетелем для переговоров с опасным супругом, партнером для подкидного дурака. Исходный лозунг «Ваша душа — не продукт мертвых обстоятельств, а живая, самостоятельная сила» в суматохе был затоптан: я беспрерывно улаживал чьи-то обстоятельства. И видел все отчетливее: я бы со всем в своей жизни справился сам — мне бы только горчичную порошок веры, что жизнь стоит этих хлопот, раскаленную дужку прожектора, который высветил бы мне жизнь такой, какой она мне когда-то приоткрывалась... Но не доставалой, не советчиком, а — пусть не солнцем — фонариком я становился лишь для очень немногих — и всегда неожиданно.

Не аристократка, ушибленная Неведомо Чем,— незатейливая вроде бы (чересчур экспансивная) моя помощница (левая рука) могла позвонить, поздравить с Новым годом — и вдруг прибавить еле слышно, что благодарит судьбу за то, что она ее со мною свела. Я прямо съезжился, чувствуя себя мошенником. Но что-то же она сквозь меня прозревала?! Почему я сам его не вижу?..

Несуществующее Незнамо Что выцеливало в основном мужчин, а их агония уже увелила и женщин — дайте крупно ту крошечную пичужку (хрупкую — страшно в руки взять), тщетно пытающуюся остановить неумную дрожь под декадентскими разводами линялой байки. Любит все на свете: работу, сослуживцев, детей, гостей, кулинарию, пикники — «Может быть, это пошло?..». А ее юный супруг, тоже жутко талантливый — золотая медаль, чемпион по гребле, пятерочник,— Незнамо Чем его накрыло в армии (третий курс). Институт бросил, машину эту завел дурацкую — ездит, деньги зарабатывает («Только я этих денег не вижу»), то ластится, то вдруг как одуреет: рычит, открыто ходит к любовнице, упрекнешь — буквально может убить — он же очень сильный! — а после валяется в ногах — буквально! — умоляет простить, плачет — буквально! — слезами!.. Как-то в трехтысячный раз ждала его ночью у окна — двор гулкий, пустой, только алкаши какие-то изредка тянутся,— и вдруг буквально просветление нашло...

Мои собратья по надменному несчастью чаще всего лишь слабыми абрисами мерцали где-то в глубине — удалось ухватить за руку только одного. Рамку рококо сюда! Слишком красивый, слишком необъятные, слишком голубые глаза, слишком золотые кудри, слишком крупные, слишком сахарные штучные зубы на кованом верстаке с железной заводилкой. Он еще не вполне подключился, тяжелые бусины глаз скатывались набок вместе с головой, но на камертонный юморок — «Ты не подумай, что я тебе приснился!» — отреагировал съезжающей туда же плутоватой улыбкой, каких наяву я потом у него не видел. (Его мать, влипнувшая между молотом мужниной взыскательности и квашней сыновней расхлябанности, года два потом благодарила за то, что я всю ночь сражался за жизнь его сына и, кажется, даже отдал ему свою кровь. Чувствуя у недоразумения слишком разветвленную корневую систему, я отделялся уклончивым мычанием в духе «Я всего лишь исполнял свой долг».)

Смерть — что смерть? В восьмом классе он не пристегнулся к какому-то необъезженному колесу в луна-парке и был сброшен бешеным крупом с шестиметровой вышины, и ничего, отлежался и пошел. Даже никому не похвастался. Учиться — а зачем? От армии разве отсидеться? Так у него и так всегда в кармане пропуск из любой проруби. Любит?.. Пожалуй, архитектуру модерна, но и ее знает даже хуже меня — зачем? Что-то узнавать, делиться — зачем? Пот растворяет любое удовольствие. А их и так почти нет — зачем тогда и жить?

— А человек живет не ради удовольствий.

— А ради чего еще?

— Ради того, что считает правильным, достойным, прекрасным... — И вдруг он прямо обомлел, засветились сапфиры на серой наволочке: — Точно, точно, правильно, точно!..

Я единственный человек, который его понимает, причитала его мать,— с таким накалом я проговаривал эти расхожести.

В жизни не должно быть запасных выходов — отступить, уволиться, эмигрировать, развестись, умереть,— иначе каждая ссадина будет рождать мысль не о преодолении, а о бегстве. (В его небесных очах тревога промелькнула лишь однажды: он оставил девочке прощальную записку — не будет ли она его теперь презирать?) Но — обаятельность страдания! — я целые годы, ни разу не дерзнувши усомниться: «А на какого хрена оно мне надо?» — хлопотал из-за той самой дребедени, которую ненавидел и отшвыривал в собственной жизни, из-за которой ненавидел и самую жизнь. Когда меня отрывали от книги, от гостей, от жены, усаживаясь на полчаса за телефон, я оставался до подозрительного терпеливым (присутствующие старались делать вид, что ничего не происходит). Помню, под ледяным водонапорным ветром я часа два кружил вокруг манящих огней собственного дома с грустным студентом, которого никак не могли избавить от одиночества три общих тетради, набитые афоризмами психологов и философов. Он был неглуп, только не замечал, что собеседник уже отдает концы. На кухне он продолжал говорить и говорить, цитировать и цитировать, не видя, что все уже потихоньку разбредаются спать...

Но он страдал, и я не досадовал. И в возвышенных трюизмах чтил лишь обезболивающее. Но утешаться ими самому — я бы скорее утешился леденцом. Наш горноспасательный отрядик, отнимающий недодавленных у обломков Незнамо Чего, неподатливых, как принципы,— что за дивные вечера — не разойтись! — пролетали на бескрайних аэродинамических проспектах Ударников, Наставников и Энергетиков, если только к нам не взвинчивался какой-нибудь всезнайка (тип «говорящий скворец»). В третий раз увидевшиеся взрослые и даже немножко старые люди (три четверти женщины, женщины...) не могли наговориться, как влюбленные после недельной разлуки. Ни цен, ни трамваев, ни коррупций — только возвышенное! То есть возвышающее нас. И уж такая растерянная обида стянула мне суставы (обида — дочь доверчивости, ее идеальный образ — даже не ребенок, а щенок с веселым бубликом хвоста, внезапно ляпнутый по смеющейся мордочке), когда я обнаружил, что наука для моих соратниц — уже давным-давно не орден служения истине, а сплоченная шайка прохвостов, при поддержке идеологического начальства истребившая подлинных мудрецов: знахарей, колдунов, ворожей, экстрасенсов,— отрицая даже такую очевидность, как умение человека усилием духа подняться на семьдесят два сантиметра, хотя и сам дух весит немало — шесть и восемь десятых грамма. Ученые скрыли от народа даже такой народнохозяйственный факт, что можно питаться не колбасой, а космической энергией,— недаром наш череп так похож на сферическую антенну. И ведь все эти энергии, антенны были понадерганы из той самой жульнической науки — варвары, пережигające античные статуи на известь!

— Неужели вы верите, что человек произошел от обезьяны? — заранее проявляя снисходительность к моей отсталости, спрашивали меня.

— Если услышу что-нибудь более правдоподобное...

Они любовно переглядывались, словно беседовали с умненьким, но еще очень наивным малышом. Это бессовестное мошенничество резко омрачило радость общения. Лишь теперь я понимаю, что они желали в точности того же, что и я: возвысить могущество духа, вывести человека из-под диктата законов природы, общих и для Пушкина, и для его жеребца. Только я в отличие от них желал лгать честно, не делая вида, что говорю правду.

Когда-то я сморозил, что красота выше истины, как прихоть выше корысти. Но истина тоже может быть прекрасной — страсть к ней,— вопреки выгоде, почету, страху, жалости: ведь самое восхитительное в человеческом духе — это безудержность, неутолимость! А мои подруги, с комфортом расположившиеся в неоплаченных отходах науки и фантазии... Мало одной роскошной халавы — они с умильной грустью за свой неодолимый скепсис желали еще и «поверить»! Во что, в рай? Хитренькие! А протрястись всю жизнь от ужаса перед вечными муками не желаете? На лицах взыскающих веры иногда еще намечались признаки сомнения, то есть мысли, но умиротворенность обретших только крепчала — сладкая, как на египетских саркофагах, или холодцовская,

презрительная. У Холодцовой из-под пасторского воротничка выглядывает стянувшийся мазок лака — старый рубец, знак качества, четырех дней в реанимации: трех дней было еще недостаточно, а пяти слишком много для постижения той темной истины, которая, проглядывая, налагала оливковую тень на ее бесстрастный лик. Или это был отпечаток просмоленной погребальной пелены — след прерванного мумифицирования? Когда, пристроившись на коленях возле газовой плиты, я целовал ее, нагую, на неведомой яхте (во сне, во сне) — не была ли это ассоциация с просмоленным парусом? Холодцовская усмешка касалась оливковой невозмутимости лишь тогда, когда кто-то пытался усомниться, вполне ли по-христиански поступают Бог, церковные пастыри или кто-нибудь из паствы: как нерезанимированному не понять резанимированного, так неверующие не вправе судить верующих. Казалось, к вере ее прибила сатанинская гордыня, жажда обрести союзника, в паре с которым можно судить весь мир, оставаясь неподсудной.

Холодцова — одна из правых моих рук, из не желающих знать, что делают левые. Но если нужно кого-то приютить, сопроводить, — даже заматеревшие в чужих страданиях служащие соборов подбирались пред этим ликом надмирной Истины: ревизора из более высокой инстанции они чуяли безошибочно. Когда на нас вышла эта женщина, все затаились от ужаса: что скажешь матери, если она решила покончить с собой в день смерти сына — у десятиклассника открыли опухоль. И только Холодцова отправилась к ней с той же презрительной надмирностью — и вошла в доверие, и сопутствовала, и удержала, и тяпка к тяпке возделывала могилку... Я бы не смог — в глубине души я был убежден, что матери умереть не только лучше, но и достойнее — швырнуть объедки в харю этой бесстыжей суке — Жизни, Как Она Есть. Особенно в присутствии холодцовой маски умиротворенной неотвратимости.

Однако подвиги Холодцовой я превозносил до небес. Из справедливости, но не только: нет единства без лицемерия, совестливый правитель — гибель для страны. Я даже изображал глубокомысленное почтение к той тьме космического безразличия, которое Холодцова принимала (выдавала?) за благодетельную истину. Зато с Собакиной у меня слипались губы от дипломатической восточной сладости. К нам («Тоска — жить не хочется!») ее привел Миша Полоцкий — какой изумительный цыган развернулся бы с подвывом: «Ай да зазнобиила!» — сомкни свои острия полумесяц серьги в его приросшей мочке, вспорхни жилетка огромной полумаской на плечи его красной рубахе. Чтобы Собакина не смущалась своих признаний, Миша в прихожей шепнул ей: «Не беспокойтесь, я вас не знаю». Другая впала бы в транс от одного только щекотания антрацитовый бороды — Собакина осталась в неколебимой, как принцип, оскорбленности за то, что он ей сказал: «Я вас знать не хочу».

Папа с мамой ее были люди со вкусом: Руина Собакина — это звучало! В воду опущенные кудерьки времен парткабинетов, неизменная гримаса изжоги, скрюченность желудочного спазма — казалось, она едва переносит наше общество; но каждый раз она просилась на новую встречу — промолчать весь вечер, страдая от индигестии в углу самого дальнего дивана. Работа — из года в год переписывать цифры, количества неизвестно чего. Какие любит книги — те, которые хорошо написаны. Фильмы — которые хорошо поставлены. Стихи — про природу. Личности нет, но что же тогда там болит? И из чего берется такая ненависть к сослуживцам, наладившимся болтать по телефону возле ее стола: «Так стулом когда-нибудь и запушу...»

С той же унылостью вызвалась и помогать полупропащим (полуспасшимся): «Я умею поговорить с человеком, я людей понимаю». Наглоталась снотворного юная участница литературного объединения — «любовник бросил», раскроил предплечья пенсионер — «что он хотел этим доказать?». Всегда что-то упрощенное, недоброе, но ведь не наладишь в шею — тоже страдающая душа. И — о чудо! — она сгодилась для одиноких рабоче-крестьянских старух!

Когда она обращалась ко мне, у нее делались глаза раненой газели, а упавший голосок начинал звенеть на самых жалобных верхах. Сильна как смерть... Чудно... Полуучается, меня всегда окружали одни уроды да ничтожества... Но ведь я всегда отирался среди порядочнейших и очень неглупых людей, с которыми дружу и сейчас. А к слабостям (у меня самого их в тысячу раз больше — разве что несколько иных) снисходить мне ничего не стоит, покуда они не пы-

таются превратиться в силу. Но чуть я задумаюсь... К образам я безжалостен, потому что они не страдают, оттого мир моего скафандра оказывается еще более беспроблемным, чем тоже не солнечная «Жизнь, как она есть».

Для спасения утопающих в потоке жизни, как она есть, могут идти в ход любые плавсредства — и ворота, и замки с них: бывают удивительные люди, которым хочется, чтобы их наставляли, отчитывали. А наша Руечка в конце концов прибилась к некоему эзотерическому (спасательному) кружку, колымавшемуся на улице Сержанта Корзуна. Прежде свои звонки она начинала с тоненьких причитаний, что я совсем не хочу с нею видиться (я истекал цветистой восточной сладостью), но теперь она могла закатить в лоб сострадательный вопрос: известно ли мне, что такое духовность? «Инночка, этот вопрос не для ваших мозгов», — склеивала мои губы восточная сладость. «Вы, наверно, думаете, что наука открывает истину?» — Нищенская нотка все же не до конца изгонялась снисходительностью. «Ну... вы же науку изучили лучше меня...» — «Наука открывает знания только первого пластрона, а их всего двести девяносто три». — «А вы на каком?» — «Собираюсь сдавать на третий. Готовлюсь к докладу».

Доклады, семинары, конспекты, экзамены, детальнейшая систематика — это была какая-то помесь истории КПСС с машиноведением. Вернее, синтез поэзии с наукой, отовсюду взявший самое худшее: из поэзии — вранье, из науки — занудность. Космос состоял из семнадцати субкосмосов и девятнадцати суперкосмосов, в которых пульсировали, переливались, мухами кружили и жужжали астралы, менталы, супраменталы, шанкары, хлипинги, хужеры, совусы... Профану было немисливо дотерпеть перечисление этой номенклатуры до конца (да и неизвестно, был ли он вообще). Даже возвышенные души, желавшие поверить, впадали в уныние (на лице Холодцовой конкурирующая фирма вызывала ну до того человеческую досаду!), тем более что Руина на корню давила то, ради чего мы и собирались, — разговоры о возвышенном и одновременно по душам.

У каждого в душе хранился какой-то ужас, который ему, рано или поздно, хотелось нам показать. К нам могла прийти никому не известная приятная женщина, изложить, в котором часу она получила телеграмму о гибели сына, в какой кассе достала билет, каким поездом выехала, потом размеренно попросить разрешения позвонить мне — и навсегда исчезнуть. «Зачем говорить о таких суетностях?» — с горькой улыбкой спрашивала Руина и с прерванного места продолжала бесконечный список роем сновавших среди нас бульберов, хрюмингов, эонов, сфагнумов, коррозиусов, чакранов, чондросатв, логосов, ургов и демиургов. Она испытывала жалость к нашей темноте — но более ни к чему.

— Откуда ваш учитель берет эти слова? — старался я перевести разговор.

— Что значит «откуда»? Он их знает.

— А... А какое у него образование?

— Что значит «образование»? Уж, наверно, он побольше вас знает! — Когда касалось Учителя, она начинала дерзить даже мне — правда, все тем же тоненьким голоском попрошайки.

— А как он выглядит?

— Да вы бы никогда не догадались. — Улыбка бесконечной жалости. — С виду человек как человек. Только ощущает миссию. Может, он и сейчас здесь. Может, он поставил меня на контроллер. Одна ваша женщина видела его в метро — просто висел над всеми, и все.

Сообщение было вполне будничное.

— А... А где вы собираетесь? — Когда вранье начинало превышать предел моей прочности, мне становилось совестно продолжать расспросы.

— На квартире. В домах культуры все евреями занято.

Если Руину с ее скорчерами и квакингами удавалось остороженько потеснить из разговора, она или умолкала с отсутствующим видом, или занималась чем-нибудь, словно была здесь одна. Когда телевизионный мастер, неотвратимо погружавшийся в слепоту, с усилием проговаривал пудовые слова, тут же падавшие без движения, эти голоса даже сквозь отхаркивания Хаоса в телефонной трубке обдают тебя такой подлинностью боли, что ты сначала съезживаешься, а потом сжимаешься пружиной, только бы не застрекотал свои предписания седенький ворчливый мальчишка — доцентша из холодильного институ-

та (говорящих скворцов следует спускать с цепи лишь в особых случаях). Одна-ко и она притихла, к чему-то примериваясь в бесхитростном лице будущего слепца. Руина же... Я похолодел: она забавлялась с кошкой!..

В темном автобусе, среди сидений, будто проштемпелеванных белыми крестами пластыря (неведомые изуверы вырезали ремни из их нежных спинок), мы мчались среди шизофренически разнесенных корпусов фабрики жилья — вдоль цехов, я хочу сказать, проспектов Культуры, Просвещения, Художников, Композиторов, и я ну ни на волос не страшился черных пространств, готовившихся поглотить последние заплатки света: я готов был хоть на кулачках схватиться со слепотой — выучиться ходить, читать, овладеть каким-то ремеслом, — это же восхитительнее, чем побить мировой рекорд! — и жить, смеяться, любить, поддавать назло этой суке!

— Кишка у меня оказалась тонковата — не смог до конца дорезаться... — Он и слушал меня, и не слушал. — Отец после войны собрался умирать — у него и легкого не было, все поотрезали, — так никаких нервов, съездил с матерью простился... А я приду с работы, лягу, и кручу в голове, и кручу... Уже и дочка говорит: ты себе как будто хуже хочешь сделать... А я подумая, что ей еще два года учиться... А сыну вообще... А с меня теперь, как с козла...

Да не умрут они с голоду! Ты сейчас можешь сделать для них вещь в миллион раз более важную: стать для них образцом мужества, предметом гордости — это может всю их жизнь осветить по-другому... Нет, не могу — совестно. Но клянусь: в том Ночном Голландце это было святой и истинной правдой! И если бы мой напор был сплошной высокопарной фальшью — зачем бы он искал все новых и новых встреч со мной!.. Правда, я не раз ему помогал «реально», но ведь благодарность мы испытываем лишь за душевные усилия! А то, что я вышустрил для него знакомство в обществе слепых, пристроил на курсы массажистов, вызволил из милиции, психушки (у меня уже всюду были свои люди)... Он попутно сломал руку (о, заплаканные кривые зеркала гололеда!..), нужно было по два раза в день продлевать больничный, а тут, как назло, понадобилось в глазную клинику. Он посидел в очереди часок и — лихорадочная нетерпеливость суицидентов — начал срывать гипс: не надо мне, мол, вашего бюллетеня! Ну, вызвали, естественно, машину...

Я далеко не заглядывал, я лишь старался зажигать для него свечечки надежды на недельку-другую вперед, пока он наконец не затерялся среди цехов рассыпанного Вавилона. Через несколько лет я встретил его в метро. Это был образцовый слепец — чистенький, кроткий, невозмутимый, он терпеливо дождался, покуда все выйдут... Словом, мне удалось его спасти. И я почувствовал такой стыд, какой испытывал, может быть, не больше пятидесяти раз в жизни. (У постигнувших всякий знак силы человеческого духа именуется гордыней.)

Я уже понимал, что моя разборчивость — тоже простота: как убийственно все — так и спасительно все, чтобы жизнь не настигла тебя, нужно непрерывно менять скакунов, постоянно перераспределять поклажу, давая передышку изнемогшим: подсеклась норовистая, но хрупкая кобылка Любовь, пусть тащит тяжеловоз Долг, Долг грозит затоптать заигравшуюся девчущку — меняй его на Хитрость, выступающую под псевдонимом «Гибкость»; Хитрость угодила в капкан — а ты уже летишь на стремительной Гордости, на самом краю обрыва перескакивая на улитку (ящерицу?) Смирение... Но выжить любой ценой — от этого меня воротило. Я еще не профессионализировался: помимо добра, мне все еще хотелось красоты. Зато на обладателей истины я уже насмотрелся — даже снеговые вершины обыденной беспощадности оставались далеко внизу под их крылами, серебриющимися нездешним инеем.

Что, надоело? Согласен, несчастные — несносные существа. Но что, кроме них, у нас есть? Ладно, последняя задержка — и пусть людосплав продолжает безмолвно скользить глубже, глубже, глубже...

Я сразу просек, что он из породы бледных ангелов, для кого оскорбительна сама необходимость касаться подошвами асфальта, — я умею узнавать себя в карикатурах. В самом что ни на есть фирмовом прикиде (парадный мундир, надетый перед хакаки?) он сидел на оранжевой клеенчатой кушетке, дожидаясь, пока улягутся двенадцатикратные взвизги в неразличимой коридорной

перспективе, где его приземистая мамаша-толстуха распекала здешнюю психиатрессу — очень тонкую Эльмиру Абрамовну. У него были детски-пухлые губы и глаза того капризного прищура, которым в эпоху культа режиссеры надеялись маменькиных сынков. Я уже знал, что его выгоняют из второго института (прикрывает папа-доцент), но касаться такой вульгарности ни в коем случае не следует: разумеется, все гораздо сложнее, для него унижителен сам факт, что ему приходится вступать в беседу со столь примитивной личностью, как я. Поэтому нужно исподволь демонстрировать ему свою утонченность, одновременно не находя в себе сил скрыть изумление перед его утонченностью.

Взбодраженный его мамочкой обезьянник сильно затруднял дело, но он клюнул — сознался, что его любимый художник — Эшер. Я оценил. И он оценил, что я знаю Эшера. Геометрическая насмешка над усилиями выразить объемное плоским — в этом есть своя глубина. Но что-нибудь бесхитрое, восхищенное солнечной наружностью бытия, — Моне какого-нибудь? Нет, уберите это с моего столика. У него все еще кружилась голова, и он время от времени устало прикрывал веки. Но — без иезуитства не вытащишь даже рыбку из пруда. О самоубийстве я заговорил в чисто научном аспекте. Он сослался на предопределение и Германа Гессе. Я — на статистику, интонацией извиняясь, что апеллирую к столь низменной, материальной инстанции. Я вел себя как распростершийся по зеркальному паркету плоский сенсуализм, выпросивший аудиторию у парящего над тронем спиритуализма.

Через пару дней я позвонил ему, как бы по служебной обязанности — это освобождало утопающих от бремени чужого превосходства и собственной признательности.

— Он исчез, срочно приезжайте, нужно спасти меня, я не знаю, что я с собой сделаю!!! — страстно зарыдал в трубке женский голос.

— А... А давно он исчез?

— Утром! Ушел — и все еще нет! Вы должны мне помочь!! Вас просит мать, женщина в конце концов!!!

— Но, может быть, завтра?.. Уже четверть одинн... — О таком пустяке, что мне завтра на работу, я, разумеется, и не заикался.

— До завтра я не выдержу!!! Я выброшусь из окна!.. Вы уже сейчас можете меня не застать!!!!

Я взял такси, чтобы не вверять чужую жизнь самому разнузданному из Хаосов — трамвайному. Конечно, я почувствовал в ее мольбах некоторую театральность, но ведь если есть хоть один шанс из тысячи...

От бисерного тумана все жирно лоснилось, как подбородок обжоры. Но вокруг фонаря летучая влага сияла дивной воздушной люстрой. В своей целеустремленности я вылетел не на ту сторону Мойки и, чтобы не терять ни мгновения, перебрался обратно по мосту, с которого Правда содрала асфальтовую кажимость, обнажив ржавое безобразие, заматерелый чугун, тычущий в нос грубую неисчерпаемость изнанок мира.

Острый угол Генерального штаба надвигался темным ледоколом. Разинутая крошечная темень арки — совсем будет некстати получить по башке. Всего второй этаж, но если головой об асфальт... Тут очень высокие потолки.

Низкорослая толстуха небольшой проворной медведицей каталась по просторам гостиной среди дворцовой мебели. Здесь клокотало отнюдь не отчаяние, а лишь сильнейшее двигательное-речевое возбуждение. Но в безостановочном извержении этого вулканического рога избытка мелькало все что угодно, кроме имени сына.

— Ваша психиатрюшка меня запомнит, она меня сразу возненавидела — она же видит, что я только что приехала из Франции и скоро снова туда поеду, что у меня редкая внешность — зеленые глаза с черными волосами.

Я не без опаски глянул на два зеленых леденца, яростно горящих сквозь приплясывающий черный серпантин. «Бак с воронеными стружками!» — грянуло у меня в голове. А Эльмира Абрамовна на миг вообще потеряла лицо: «Что-о?.. Да я красивее ее!»

Я ей прямо сказала: все, что вы знаете, я могу выучить за две недели, я заключила пари, что буду защищаться на японском, — и защитилась! Их заведующий, Бычко, что ли, тоже полез меня выпроваживать, чтобы только за ручку подержаться, я ему чуть по роже не съездила, меня милиционер у светофо-

ра стал хватать за грудь — я ему как двинула ногой по члену, он даже дело не стал возбуждать, понял, что я могу возбудить встречный иск, у меня в этих делах есть опыт. Кто гладит, они же все импотенты, у нас в институте один все изображал большого мастера петтинга, я нарочно попробовала — так и есть, а в Марселе познакомилась с десантником из колониального корпуса, он в Алжире потерял глаз — он приказал мне надеть джинсы, посадил на мотоцикл, вывез за город и изнасиловал — прежде всего прямо, — у нас с ним был изумительный секс на водяном матраце, надо только избегать поперечных колебаний, а то может выплеснуть, я же и физику изучала, мой отец, генерал Егоров, считал, что современная девушка должна идти в ногу со временем, но и знать языки, музицировать...

Пока мое воображение бессильно корчило, пытаюсь представить, какие же джинсы, какой мотоцикл, какой матрац, какой фаллос могли здесь понадобиться, черной молнией выстрелила крышка пианино и раскатилась рапсодия Листа — коротенькие конические пальцы носились по клавишам грубовато, но почти безошибочно. Я не смел увидеть в этом чудовище с зелеными глазами ничего нелепого или противного: страдальцам дозволено все — я не прощал только победителей.

— От такой женщины мужчина никогда не сбежит! Не то что от этой курицы — мокрой курицы.

Курица, невеста ее сына, неземное создание, закованное в тесную джинсу, чтобы не растаять в воздухе, улыбнулась той обезоруживающей улыбкой, при помощи которой опасного хама стараются обратить в очаровательного сорванца, на которого невозможно сердиться.

— Ты не улыбайся — я своих мужей сама выгоняла!

Все это бесстрастно наблюдала расположившаяся в антикварном кресле девушка с восточным лицом.

— Она думает, если она внучатая племянница Джамбула Джабаева, так мы все будем перед ней стелиться!.. — страстно выдохнула мне в ухо несчастная мать, до половины погрузив меня в свой бюст. — Сколько вам лет? Вы выглядите старше, вы чем-то измучены... — Вороненые пружинки щекотали мне лицо, зеленые леденцы горели состраданием, нежные поглаживания моей руки как бы в рассеянности перешли на колено. Ну что я могу поделать, если меня коробит от физических контактов с незнакомыми людьми!.. — Сколько вы берете за визит? Вы благородный человек, вы слишком низко себя цените, в Америке это стоит пятьсот долларов.

Воспользовавшись секундным затишьем, я попытался что-нибудь узнать об исчезновении сына, но она могла говорить только о себе. Был ли он в детстве веселым? «Да, мы тогда жили на даче в Комарово, за мной еще ухаживал один полковник — красивый, статный мужчина, на мне еще был облегающий мохеровый джемпер, первый в Ленинграде, на меня все оглядывались...» Я узнал, что вся ее родня сплошь состоит из генералов, скульпторов и академиков, и сын тоже, как все Егоровы, с младенчества пел, рисовал, лепил и музицировал, — и если бы социальный статус автоматически передавался по наследству, он бы и продолжал блистать в гостиных. Но, принадлежа к роду генералов и академиков, толкать иностранцам картинку «советик авангард» на галерее Гостиного двора, вечно опасаясь и ментов, и коллег...

— Вы наверняка хотите есть! — Спасая меня от немедленной голодной смерти, она ринулась в неизведанные пространства коридора.

Тщетно пытаюсь совместить поспешность с непринужденностью, я попробовал выведать еще что-нибудь о виновнике нашей встречи, но, казалось, единственным, кого он здесь интересовал, был я. Нет, куда он запропастился, все были бы не прочь узнать, но о чем он мечтает, чего боится... Как чего — все у него более или менее: в вузе разведенный папа, глядишь, опять его отмажет, хотя он, конечно, и папу достал, ну а выгонят, так он и сейчас имеет больше инженера, а с деньгами можно и от армии отмазаться...

Петя Пилипко разъяснял мне иерархию ценностей по Жириноу: высшие потребности — биологические; когда они насытятся до икоты, к корыти допускаются социальные, а уж на десерт, когда ты обожаешь и пирожными, и славой, можно пропустить и стаканчик спиритуалистического, то бишь идеального, которое, впрочем, есть фикция, реактивное образование: не дают трахаться — с

горя начинаешь писать стихи, не дают торговать — принимаешься мыслить. Увы, даже у скотов все обстоит наоборот: именно когда нечего жрать, а породовые не берут под козырек, норovia вместо этого накласть в шею, — тут-то впервые и может заворочаться вопрос: а ради чего я должен все это терпеть?..

Джамбулидка неспешно повествовала, как ее пытались изнасиловать в каком-то невероятно престижном пансионате. Чувство собственной значительности обращало столь динамичное и увлекательное предприятие в беспросветную скуку, вроде футбольного матча. Невеста пропавшего присутствовала изящно и отрешенно, как некий легкий струнный инструмент, время от времени отвечающий еле слышным «нн, нн...» каким-то им одним различаемым частотам.

— ...Он думал, я не знаю, как устроен пульт «Мерседеса»... — На этой царственной фразе вкатилась моя кормилица с огромным баронским окороком на бронзовом подносе.

Хаос гримасничал. В окорок был вонзен свирепо кованый кинжал — не хватало только своры придворных псов. Но гул огромной залы ворвался неизменной свитой.

Однако значительность способна усмирять даже неодушевленные стихии: валькирия некоторое время кромсала мясо молча. Но вытерпеть, чтобы в ее присутствии насиловали кого-то другого, было выше ее сил, она потащила меня с набитым ртом смотреть комнату сына. Предсмертным усилием я увлек с собой и невесту — я боялся остаться наедине с этим исчадием (мысленно вытягиваясь во фронт перед ее страданием).

— Посмотрите на его графику! — Она расшвыривала передо мной листы ватмана, на которых живое перетекало в неживое, твердое в мягкое, мясистое в плоское, выпуклое в вогнутое — для любителя это было классно.

Унылый свист чайника, подобно крику петуха, унес нечистую силу на кухню. Комната несчастного парня была освещена белым пароходным светом, исходившим почему-то из-за оконной занавески. Я заглянул туда. Там сияла трехгранная матовая призма с двумя огромными черными семерками — уличный номер какого-то потерявшего лицо дома.

— Скажите, он что-нибудь любит до самозабвения?

— Н-н...

— Ну, вы когда-нибудь его видели радостным, хохочущим?

— Н-не пом... А, был случай, здесь во дворе после демонстрации оставили какую-то штуку, непонятную, очень высокую — он так обрадовался, бегал вокруг... Уже темно было.

— А вы его очень любите? Простите, но мне это нужно знать.

— Он мне много хорошего делал... Я чувствую себя обязанной.

«Через обязанность перед другими мы переступаем куда легче, чем через собственную нужду», — чуть не нахамил я, вслух спросивши тоже, кажется, хамовато:

— Но вы чувствуете, что не можете без него жить?

— Н-нет... Не чувствую... А он может снова?..

— Конечно, может! — выдохнул я с внезапной для меня самого, почти неприличной в чужом доме горечью.

Снова ворвалась генеральская дочь, уже в белом, закружилась по комнате хороводом подтаявших снежных баб. Она слишком эфирное существо, чтобы переносить подобные потрясения, от них у нее начинается высокая болезнь, можно даже сказать — космическая: метеоризм. И непроходимость кишечника, тогда как у существ более низменных все бывает как раз наоборот. Кроме того, у нее очень узкий сфинктер (изящная фамильная особенность), клизму ей умеет делать только дежурный врач в институте мозга. Он в нее влюблен. Хотя и она не скупится: так ей завещал генерал Егоров.

Лоснящийся ночной город, клубящиеся туманы охладелой бани, последний дом Пушкина, пиковая дама не перестает массировать мою кисть, гордо и доверительно шепчет: «Если он это сделает — я сумею это пережить!» Такси, она с переднего сиденья через плечо все обминает и обминает мою руку, не оставляя своими милостями и таксиста: «Как вас зовут? Мое любимое имя! Дайте вашу руку». Руку, необходимо для производственных нужд, пришлось оглаживать на руле. Окажись здесь третий самец, она бы гладила его ногой.

Если бы только брезгливость! Когда меня трогает чужой человек — трогает, как предмет,— я сжимаюсь еще и от какой-то безнадежной тоски... Нет, нет, и таким должно быть место на Земле! Но среди них нет места мне...

Назавтра из телефонной трубки, словно из неосторожно включенного душа, окатила ледяная надменность: да, он пришел, в ваших услугах он не нуждается, его избили какие-то подонки, у него повреждена рука, он говорит, что вы ничего не понимаете, и я с ним согласна: вчера вы болтали с девицами, вместо того чтобы помочь мне. Вы развлекались. Да, вы развлекались. Не думайте, что я не заметила, как вы уединялись с этой бледной немочью. Не сомневайтесь, я доведу об этом до вашего руководства.

Боль всегда права — и только она: все величайшие Правды выросли из зернышка чьей-то боли,— и живы лишь до тех пор, покуда ею питаются.

Я все принял как должное. И с месяц или с год искупал свою тупость неприязнительностью, с гордым смирением отирая плевки всех желающих. Я готов был впитать и новое впрыскивание с покорностью простой простыни, распластанной на гладильной доске, когда из шершавой телефонной вьюги родился голосок его невесты — до странности радостный, даже шаловливый: наконец-то он согласился лечиться — как бы это устроить ему хорошую больницу? Близкие утопающих (близкие к утопающим) в судорожных извивах выскользнуть из-под глыбы ответственности опорный столб клеветы («самоубийцы — трусы и эгоисты») расписывают сказками про уколы, микстуры и припарки, исцеляющие от безнадежности и бесцельности бытия (такие уколы и микстуры действительно имеются — от пристрастия к ним лечатся у наркологов).

Притихший ад клиники неврозов, припомаженный — Бехтеревки — это для меня был один звонок; но подмосковной деревенькой, чтобы дворянин мог жить достойно дворянина, я не располагал. Дай Бог на полчаса завлечь его ложным огоньком — одним, другим, десятым,— а там, глядишь, нарыв рассосется, зуб прорастет — и вместо нестерпимого отчаяния будем иметь нормальную несчастливость. Словом, удавись где хочешь, только не на нашем дворе.

Прежде всего уверенность — все устроим, все наладим, а пока попробуем притупить уже вонзившиеся острия: и гвоздь в пятке может проколоть перенапрягшийся шарик терпения.

..Мне было некуда идти — я всем осточертел. Свет раскаленной матовой призмы № 7 наполнял комнату кафельной белизной приемного покоя. Попсовая девочка в нашустренной мною джинсуре — когда я больше не имел сил ни развлекать ее, ни хвастаться ею, я уже не знал, что мне с ней делать. Иногда приличия ради я начинала целовать ее, от каменной тоски не чуя собственных губ; мертвые губы влажной улиткой ползли ниже, ниже — пока симулировать становилось невозможно из-за упорства бездушного мяса... Хоть бы она не давала, что ли, я мог бы тогда симулировать дальше, глядишь, и разогрелся бы, как мотор на морозе от холостых оборотов, но она (может, тоже из вежливости?.. Да не старайся же ты так!) начинала затрудненно дышать, прогибаться — выходит, и ей облом... Еще мать что-то там затеяла ворочать в коридоре — ночами напролет бушует под дверь Хаос, выкинувший меня сюда из своей утробы... Я откатывался от полураздетого чужого тела и подолгу лежал ничком без единого движения, как шмат шмякнутого на разделочную доску умело отбитого мяса. Понемногу я совсем перестал прикасаться к ней — чего зря обламывать и себя, и ее...

— Я уже и не знала, нужна я ему или нет.— Я вынырнул из его скафандра.— Только когда я сказала, что, если он не будет лечиться, я его брошу, он вдруг ужасно испугался. Зато потом сам же был рад!

— Вы все-таки не оставляйте его одного. И старайтесь ему показать, что для вас ласки, поцелуи — знаки нежности, а не сексуального возбуждения, извините за откровенность. Чтобы они его ни к чему не обязывали.

— А сексолога вы не могли бы для него найти? Я бы вас та-ак отблагодарила...— Даже не понял, на деньги ли намекала эта внезапная игривость.

— Я этим не зарабатываю. А сексолог, клиника — не проблема. Только вы пока не оставляйте его одного.

— Я так устала с его матерью... Он был веселый, когда я уходила.

— Был веселый, станет грустный — это мигом. Постарайтесь все-таки быть с ним рядом. Еще выспитесь, серьезно.

Ладно, в клинике он по крайней мере будет на глазах. Глядишь, еще и заблазнит надежда, что женщины в белом что-то могут... Кстати — они могут сделать академку!

Несмотря на час шакала, я решил позвонить молоденькой начальнице кризисного отделения, важничавшей в своих золотых очечках и одновременно мяукающе-томной Лидии Евгеньевне. Она меня недолюбливала — соглядатая, укрывшегося под демагогией «святого дела», — и где могла вворачивала, что оказывать помощь должны профессионалы, постигнувшие человеческое сердце в анатомическом театре. Как положено, тянулась суббота, звонить пришлось домой. Она разговаривала тоном выговора, но в присутствии чужих мучений у меня нет достоинства. Однако порядку я подчинился. Сколько лет я потом сладко воображал, как я размахиваюсь и от всей души ляпаю по ее тоненьким очечкам, не за буквальным смыслом, — может, она и в самом деле беспомощная раба горздравских скрижалей, — за томно-недовольное мяуканье.

Однако я все исполнил, как она простонала: созвонился с Эльмирой Абрамовной, та пообещала в понедельник выписать направление, сексолог тоже был готов хоть завтра побеседовать с переутомившейся невестой — я ей назавтра и позвонил. Она давилась слезами: ночью он повесился. То-то он тогда и повеселел — получил, наконец, долгожданный последний толчок, сбросил последнюю обузу...

Но я-то чем... А тем, что надо было не деликатничать, а настрого наказать ей не оставлять его ни на минуту! Не на профессионалку же Лидочку Евгеньевну было перекидывать ответственность неуловимым наклоном плеч!..

Я знал, что еще не понимаю, что произошло (и, может быть, благодарение Богу, до конца нам этого и не дано — поверить, что и понимать здесь нечего: ну, перегорел приемник...). Но вещи: замершая вода в кране, колыхнувшаяся занавеска, мясистой паутинной затянувшаяся окно, в котором бескрайней серой чередой отражений, словно противостоящее зеркало пряталось у меня за спиной, удалялись в ничто прямоугольники жилых цехов, — все внезапно обрело жуткую значительность. Я поспешил к маме, к дочке, уже начавшей сплавляться куда-то по течению, а значит, вниз, но сейчас мне от них нужно было одно: чтобы они были живыми.

После многодневного пережевывания я выискал, в какое окно я упустил вскарбаться, когда меня выставили в дверь. Выставляла-то меня мамаша-воительница, от сына напрямую я этого не слышал... Но это что! У меня наметилась привычка: оставшись одному, отторгнутому последней обузой, высматривать в комнате перекладину — в шкафу, на стене, на окне, — затем примериваться к телефонному шнуру, брючному ремню... В уличной толпе мне стали попадаться глаза со знакомым капризным прищуром — из-под шапочек и шапок, вплоть до пыжиковых, из-под чубчиков и лысин, вплоть до малиновых; потом этот прищур начал переходить на собак, на кошек, на женщин и детей... Но когда в метро десятилетний мальчишка полчаса с многозначительным лукавством рассматривал меня этим самым взглядом, повиснув на хирургически сверкающей перекладине, я сказал ему: хватит! Ты умер, а моя очередь еще не подошла, и никакой иной справедливости в этом мире нет. Да, ты мучился, ты искал перекладину, покуда я попивал чаек с вареньем, а завтра я буду искать перекладину, а попивать чаек будет кто-то третий, — вот это и есть конечный вывод мудрости земной, коей только и длится жизнь, как она есть. Я отключил его от своего скафандра, и он, задохнувшись в пустоте (в простоте), обиженно удалился, задумчиво свесив голову, в детской сосредоточенности прикусив снежно белеющий кончик язычка. А я зашаркал шлепанцами спать с упругой супругой.

Наконец-то я вырос в профессионала: дружба дружбой, а скафандры врозь. Не надо усложнять: «скорой помощи» (удавись за дверью) — фельдшерские средства. У мужчин — восхищаться умом, мужеством (но иногда и ранимостью), у женщин — обаянием, ранимостью (но иногда и мужеством), — я не сумел достаточно намылить комплимент только для синей пятидесятилетней

вахтерши, почти карлицы, вплоть до последнего мизинца скрюченной какой-то застылой судорогой, оставившей свободу непрерывно подергиваться лишь беспорядочно светящейся прогалинами клиновидной голове. Ее из комнаты в общежитии в восемнадцатый раз выставил восемнадцатилетний сын, — первым холодом обдает недоумение: «Как это могло произойти?» — поверишь в непорочное зачатие... И совсем уж непрофессиональное ледяное дуновение: может, отпустить ее с миром (из мира) и будет самым милосердным?

Коснувшись абсолютной черноты душа, еще прежде стремительной мысли успеваешь захлопнуть створки подобно простейшему безошибочному моллюску! (Хотя, если вдуматься, или всем стоит жить — или никому!) Но фельдшерские припарки, в общем, и без этого срабатывали. Одна из моих «левых рук», взявшаяся помогать другим, оттого что не знала, как помочь себе, вдумчиво-разбитная девица с нахально-тревожным взглядом под увеличительными до пучеглазия очками, с незаконченным высшим образованием и неопределенными высшими устремлениями, долго преследовала меня коктейлями из Евангелия и йоги со взлитым метемпсихозом, в котором плавал ярко-зеленый кислущий ломтик Владимира Соловьева (сию микстуру я, впрочем, пригубивал с полным милосердием, ибо ее составительница не столько желала показаться умной, сколько боялась выглядеть душой — слабость, а не сила!). Но вот однажды ночью до самой сердцевины моего мозга (тьфу!.. Гадкое слово!) досверлились неотступные телефонные звонки. Пьяная в хламину, едва ворочая языком, сквозь неотесанные рыдания она что-то плела из Камю, Достоевского, Кьеркегора... Я чту пьяные слезы: лишь нализавшись, человек станет рыдать о главном — не о потере денег, должности, квартиры, а об ушедшей молодости, вере, чистоте, об одиночестве и безнадежности. Я долго продирался с нею сквозь заросли Ницше и буреломы Кришнамурти, покуда она наконец не вымычала то, что раскаленным угольком, закатившимся под гипс, жгло ее под самым-самым последним защитным слоем лжи: ее никто не берет замуж, никому-то она не нужна, а́, а́, а́, а́, а́... Что-о?.. Ты-ы?! Да ты сама юность, свежесть, очарование, Венера, Даная, Дульсинея... И, когда петух пропел в третий раз, моя легкокрылая собеседница очерта голову призналась, что ей ужасно хочется со мной переспать... А еще через месяц или через год осчастливила новым звонком: ура, она выходит замуж за страшно умного парня, катастрофически, как все мои преемники, похожего на меня: он изобрел новую науку! «Это правильно, чужие науки изучать слишком долго...»

Наверно, я и тогда не столько любил людей, сколько ненавидел страдания — всем довольные господа неотвратимо наводили на мое лицо легкий спазм гадливости. Однако лучшие волонтеры выходили из тех, кто давал от избытка, а не из несчастливцев, кто в благотворительности прятался от зависти к чужому довольству. Но с какой же кошмарной стремительностью первые обрастают жиром, а вторые — злобой... Зато постигнувшие — с самого начала в панцире. У тех, кто гордо называл себя верующим, ходил в церковь, постился, я ни разу не встречал настоящего сострадания — одну надменность (лекарство, мол, у нас в кармане). И... и чуть ли не злорадство: ага, дескать, не слушались!..

Вместе с фельдшерскими припарками и клизмами я овладел и собственными чувствами. Даже с друзьями я сделался бесконечно внимательным, терпеливым и мудрым — пока мне однажды не указали: «Ты говоришь, как с пациентом». Оказалось, мои щеки совсем не разучились гореть отменным жаром — профессионализм испарился, как маргарин при попытке что-то на нем изжарить. Я, вечно терзающийся ежесекундной казнью тысячеголосой мысли в нищую морзянку поступков — в чириканье «да — да — нет — да», — этот самый я на кого-то вздумал поглядывать с неведомых картонных вершин!..

Обнаружив, что еще немного — и я сделаюсь ханжой, я оборвал агонию Служения, дегенерировавшего в службу. Мне стали неинтересны мои «пациенты», упорно не желавшие поверить в силу собственного духа: они готовы были терзать себя изуверскими диетами, идти в услужение к шаманам и шарлатанам, в конце концов истребить себя — лишь бы не сделать душевное усилие, не назначить самим, что есть страдание, а что красота. В тех, кто добровольно склоняет голову под власть «объективных законов», разработанных скотами для скотов, я не могу видеть равных — им я могу разве что подать милостыню. Но милостыня не бывает очень уж значительной.

ОСКОЛОК ТРЕТИЙ — ПРИЗРАЧНЫЙ

Как же я все-таки перекантовался в так называемые «зрелые» годы (двойные клевки кавычек удваивают сарказм)? Я мог бы с фламандской бесхитростностью переписать весь незатейливый инвентарь моего каждодневного ада и эпически завершить, что таких вот бесконечных дней (днищ!) у меня было ровно тринадцать миллиардов сто тридцать один миллион триста тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть. Но ведь живу я не среди предметов и событий, а среди значений и толкований — и только они-то и ужасны! Для другого санаторий, а для меня каторга.

Истерзанный страхом до изнеможения, с вечера я канул в Ничто без обычных корчей и вновь возник благодаря рези в воспаленном устье мочевого пузыря. Кривясь от ядреного недосыпа, я вновь опознал выступающую из тьмы обстановку, признанную авторитетной международной комиссией полностью соответствующей требованиям гуманности и гигиены, — и грудь заныла от тоски: я по-прежнему здесь, от проклятой правды не уйдешь! И тут же меня подбрасывает ужас: сегодня пятница, день исполнения! Но нет же, нет, вчера же был понедельник, потому что до этого было воскресенье, давали компот вместо чая (я давно уже и не помышляю трунить над их сходством с водопроводной жидкостью), а вечером показывали кино, «Пираты двадцатого века», но я же знаю, чего стоит моя память, я же брежу по жизни, как лунатик, вперившись в нарывающую черную дыру за составным желобком грудной кости.

Докуда слышно, наше совокупное одеяло подобно пенке-пенке на закипающем молоке играет извилами и прорывается всхрипами, всхлипами, стонами, кто-то неумоимо разлепливает и разлепливает все слипающиеся и слипающиеся губы нескончаемым выдохом: пуп, пуп, пуп, пуп, пуп... Я окружен врагами, ибо души их твердокаменны друг для друга и водяночно податливы для жертвой реальности, а у меня наоборот; проводишь целые часы, дни, месяцы, годы в непреклонной грызне друг с другом, они без малейшего сопротивления принимают форму окружающей косной материи, со всех ног кидаются лизать задницу всему, что не имеют сил уничтожить: они восхищаются изяществом решеток на наших окнах, они гордятся железобетонной неприступностью нашей тюрьмы, а я продолжаю терзаться ненавистью к неодолимому — в одиночку иду с мнением против танка. Но в миг пробуждения в правду мне так необходима хотя бы пылинка сострадания, что меня ужасает одна только мысль рассердиться на кого-то, в ком вдруг да съестся капелька умягчающего масла на мое трескающееся обнаженное мясо.

Еще миг — и, не совладавши с невыносимой резью, я обмякну и намокну, но какая разница, если на свете важно одно: пятница сегодня или не пятница? Эти бритые полголовы, кажется, подобнее других, хотя нет, полголовы — это не отсюда, здесь мерцает простая лысина. Я касаюсь ее с нежностью летучего семени одуванчика. «Хрущев, миленький, извини ради Бога: какой сегодня день?» — «Чего-чего? Я т-те, блин, покажу — Хрущев!» — «Нет-нет-нет, Коленька, миленький, только не сердись, сегодня не пятница?» — «А ты что, уже в штаны наклал? Понедельник. Р-разбудил, сука...» — «Вот, Коленька, возьми, мне не надо, извини, пожалуйста, только ради Бога не сердись, ты меня страшно выручил!» — «Хватит там, может, бухтеть?!»

Я успеваю добежать до сортира, гулкого, как пустой фабричный цех, и, приговаривая по привычке: «Давай, дурак, давай», — взрыть рыжую воронку в нежной коричневой корочке, схватившейся на облупленной эмали пары плоских зубчатых островков, имеющих форму огромных подметок. Жжение — это тьфу при такой удаче: заняться этим делом без свидетелей и потопоразиваний. Внезапно невидимый кулачок вновь стискивается: а вдруг Хрущ совра — чтоб другой раз было неповадно его будить?

И снова на одной чаше жизнь, на другой дрянь, пена — какое-то там вишное «достоинство»: ну, прослынешь окончательным придурком, а вдобавок и трусом — и что? Но я, истинный придурок, не в силах переступить даже через такой крошечный порожек.

Уфф, озарило: сейчас побредет с обходом Екимыч, я еще успею перехва-

тить его у поворота, не надо паниковать, миллион против одного, что сегодня понедельник! Мне удастся перевести себя с хрипящего бега на задыхающуюся рысь, я отваживаюсь даже углубиться в короткий коридор, которым снуют все, и только мне никогда не удается свернуть в нужном месте — прихожу в себя уже на черной лестнице, где свалены пачки личных дел тех счастливых, кто уже приведен в исполнение (все дела перечеркнуты крест-накрест зеленым фломастером). Благополучно добравшись до Екимычева поворота, я наглею настолько, что начинаю потихоньку морщиться от запаха хлорки и мочи, мне уже хочется чуть ли не присесть — ноги, видите ли, меня не удержат! — а поодаль есть скамейка: Екимычев фонарь я увижу издалека.

Я различаю силуэт Екимыча лишь в двух шагах от поворота: на этот раз он почему-то плетется без фонаря. Свистя перехваченным горлом, я бросаюсь вдогонку. «Идиотина, сволочь безмозглая!» — успеваю на бегу вколачивать себе в голову кулаком. Всегда надо паниковать что есть мочи — может, хоть тогда изловчусь на секундочку укрыться от кошмара, именуемого Жизнью, Как Она Есть, вот сейчас грянет (столкновение ледоколов) стальная дверь — и ВСЕ... «Екимыч!» — из последних сил взываю я шепотом. «Почему шумим? В карцер захотели? А то и выпороть недолго!» «Только, пожалуйста, не карцер, один я совсем пропаду, лучше выпорите, выпорите! — захлебываюсь я, уже предвкушая, каким увлекательным развлечением (а вдруг и до пятницы хватит?) послужат мне горящие рубцы. — Только, пожалуйста, не сердитесь, ну, хотите, я на колени стану, вот, вот, видите?..»

Отирая с лица брызги ответа, я отступаю гусиным шагом, непрерывно кланяясь, как трясогузка, ликующе бормоча: «Храни вас Господь, благодетели вы наши!» Когда я наконец снова набираюсь наглости повернуться спиной к пушечному удару двери, мне в до отказа расплывшееся лицо с рыком кидается овчарка. «Хальт! Цурюк!» Лающие немецкие заклятия рассекает клацанье затвора. Я успеваю прикрыть голову — удар резинового шланга приходится в кисть. «Мм...» — радостно мычу я, чтобы не завывать от боли: кричать у нас строжайше запрещено, но это опять не отсюда — просто сосед из верхней камеры вышел пройтись с собачкой.

Только тут я замечаю, что чуткий кулачок в Его горлышке успел расслабиться, но это мелочи, запасные трусы у меня пока что имеются, а зато не придется выстаивать очередь к писсуарному желобу, где кулачок обязательно снова стиснется хваткой утопленника: он у меня деликатен, прямо как я сам, не терпит работы под наблюдением — особенно когда еще тычут в спину: «Быстрой, быстрой, дружим тоже надо!»

Но приближающиеся цоканье подковок все равно подтягивает живот обнуженным ужасом — тверди глухому, что до пятницы еще целая вечность!

В бетонном подвале я делаю интенсивную зарядку, пятнадцать раз подтягиваюсь на дыбе, привязав к щиколоткам праздные с утра ржавые грузы, пыхтением отгоняя мысли (чего ради я так выезживаю свое тело, если в ближайшую же пятницу?..). Мне удастся отстоять километровую очередь в гулкую кафельную умывалку, с брезгливостью сильного отстраняясь от льющей к слабому месту мелюзге: «Пропустите, товарищ на тот свет опаздывает». Стараюсь не фыркать, обливаюсь до пояса над гремучим (бесконечный ливень по крыше) жестяным желобом, и кто-то непременно восхищается моим сложением. «Да ну, а вот раньше...» — но муштрую я себя не ради этих редких мгновений — я хочу, чтобы хоть что-то во мне меня слушалось.

От недосыпа сердце бухает сердито, точно отбрыкивается, но мне-то какое до него дело! В голове не расходуется очумелость, но мне и она — только обезболовающе: начинается утренняя раздача, снова бросающая меня в объятия скотства: сзади жмут с бесстыдством распоясавшихся педиков, дабы ты не важничал и не великодушничал, а пер на впередистоящих.

Крючконосый аскет с тенями споротых погон орудует мною, как вестью, ударами таза вгоняя меня в двери, и даже удача — створки захлопываются в аккурат за нами — не может обесцветить плеснущуюся из черной дыры моей груди, словно из канализационного люка, волну невыносимого отчаяния. С мертвым, бесчувственным лицом, едва в силах шевелить губами, я кланяюсь амбразуре (все устроено так, чтобы разве что карлику удалась сохранный хоть тень достоинства), сквозь которую виднеется якобы белый

фартук в кровавых язвах томата,— и вдруг ко мне выныривает его обладательница. Конечно, мои глаза видят черные дыры между зубами, набрякшее чернотой веко, но — в моем скафандре это радостная девчонья улыбка, искрящаяся симпатией ко мне,— и черную дыру в моей груди заливает прожектором нежности, что-то во мне уже взвелось, готовясь выщелкнуть разбитную шутку. «Что за мужчины пошли — ничего не едят!» — «Хорошие мужчины. Можете попробовать». Меня тоже охватывает счастьем этот счастливый хохот, который доволен и моей хамоватостью, и моей галантностью — на «вы». К несчастью, я не утратил дара задохнуться от нежности к любому человеческому движению и начинаю видеть, сколько лиц даже здесь рассветает при моем появлении (особенно женщины, особенно женщины...), и меня в стотысячный раз пронзает понимание, что все мы жертвы Невесты Чего, что и жизнь животных, как улыбка пьянчужки, тоже зияет черными дырами, которые когда-нибудь и для них сольются из черных пятен в неотвратимую черную пятницу,— и в моем обращении с ними начинают сквозить жалость, горечь за погубившие себя души, так своей гибелью ничего и не купившие...

Может, поэтому до сих пор находятся женщины, которые тянутся Незнамо К Чему, просвечивающему сквозь меня. Но меня: где-то что-нибудь да цапнет. А царапины теперь у меня нарываю годами...

Нет, только одиночество: любое высунувшееся наружу щупальце будет отрублено.

ОСКОЛОК ПОСЛЕДНИЙ — СЕГОДНЯШНИЙ

«Если бы в нищей молодости мне сказали, что после сорока мне придется ездить в плацкартном вагоне, я бы сразу подался в диссиденты», — сказал мне один приятель. А если бы мне в респектабельной зрелости сказали, что после сорока я сделаюсь носильщиком тяжестей — верблюдом — при заграничешниках, я бы, может, слегка и взбодрился. Пот, рэкет, бессонные броски, штурмовые погрузки, авральные выгрузки — это страшно молодит. И опроцает. Недавнюю богиню я уже ощущаю просто верной спутницей. Или даже спутником.

Возглавлявший венгерский поход лейтенант милиции, переметнувшийся в челноки,— Никита Хрущев времен рабфака — восторженно вспоминал: «Когда меня дядя Юра к этому делу привлекал, я думал: как? Спекуляция!..» Дядей Юрой ради юмора звался молодой, но давно и успешно полнеющий владелец ларька, обладавший также необыкновенно спокойным наглым взглядом выпуклых бесцветных глаз, казалось, наслаждавшийся тем, что вы ничего не сможете ему сделать. Коллеги гордились, что дядя Юра специально возит на плечиках двубортный костюм и селедку в тридцать баксов, чтобы культурно посидеть в будапештском ресторане. Команда у них была спаяна простотой, бухлом и промискуитетом, и всяких чечаков вроде нас они просто не замечали. В опровержение биологического закона «чем меньше, тем шустрей» их коротенькие белобрысы девицы еле ворочали заспанными глазками, юный Сережа Есенин в шелковых тренировочных штанах бдительно следил, чтобы его распушенные губы случайно не приняли какого-нибудь человеческого выражения, а горбоносый Амбал с мертвенно-веселым оскалом возбужденно носился по вагону то с бутылкой пива, то с лениво брыкающейся и формально визжащей коротенькой девицей под мышкой. Ну, а черный Гиперамбал, ни на миг не умолкая, кого-то лихорадочно вразумлял, открывая своим чудовищным басом музыкальный радиозахлеб, который он раскручивал до полной истерики, но так и не мог обрести достойного соперника.

В Чопе, дышащем из тьмы обыденностью, у пика Заурядности — вечно шагающий привокзальный Ленин,— в блиндажном автобусном полусвете молодой Хрущев проинструктировал нас считать себя учащимися компьютерных курсов в Секешверешвароше. «Над Тиссой» — бестселлер из «Пионерской правды» навеки поселил во мне симпатию к людям в зеленых фуражках. Сетчатая граница на замке вся в причудливых дырах — поди догадайся, что дыры выведены тенью. Поваленное над Тиссой дерево омывает мутная вода, равно-

душная к Истории. На голубом лунном шоссе нас выпускают отлить в последний раз: останавливаться ночью нельзя — рэкетеры, автоматы, пулеметы. Никто далеко не отходит. «Это наши мальчишки стоят?» — заботливо спрашивает одна коротенькая девица у другой, указывая на лунные спины Амбала и Гиперамбала. Простота!

Всем миром Гиперамбала заставили выключить заходящееся криком радио; он еще с час внушал кому-то львиным рыком: «Женщину обязательно надо перепустить вперед себя, я правильно говорю, почтеннейший?» — но и его одолел могущественный брат смерти. В окне мелькала темная Венгрия, я дремал, примостившись к щекочущей волосами головке моей подружки, примостившейся на моем плече. Невыспавшийся рассвет — здесь уже ранняя черная весна. Брезжат бетонные ограды заурядности — заводские окраины, вечные средства, стремящиеся стать целью, — и вдруг портики, аттики, башенки, флюгеры, роскошные конные статуи, колонны, геральдические орлы, бронзовые колесницы в сумрачном небе — вечные цели, стремящиеся обойтись без средств.

Моя спутница совсем бледненькая, ее феноменальные «минус десять лет» почти высосаны полусонной ночью. Но лишнего утра у нас нет, три процента скидки — моя месячная зарплата. Мы трамбуем в сумки и черные гляцевые мешки — расчлененные трупы возить — все новые и новые свитера, вязанные шапочки с кисточками и помпонами, тряпочные ленинские кепки для дам, но в этом городе даже из торговых нор и щелей видна то радующая глаз облицовочная плитка, то пучеглазый маскарон, тщетно стремящийся напугать разинутым ртом, расцветшее ковкой железо, точеный наукой гранит, — чувствовалось, что это лишь дальние предгорья изобильнейшей красоты — не красоты-безмерности, красоты-величия, красоты-потрясения, а красоты-комфорта, красоты-забавы, красоты-лакомства. В уличных ущельях открывались дали, мерцающие причудливыми карстовыми натеками модерна, и прежде я бегом бросился бы туда — хоть на миг задохнуться от счастья и рвануть обратно. Но нынче я понимал, что никуда они от меня не денутся, эти культурные красоты, столь же высококачественные, как эта нежная булочка из случайного киоска, напичканная зеленью и ветчиной, дышащими свежестью росистого утра: только рассудительность могла меня остановить, а уж никак не разбаливающаяся все шибче голова, не нос, зудевший от безостановочно сочащейся и засыхающей крови.

Моя пожелтевшая (ба, веснушки проступили...) мартышка натянула кепку, превратившись в прелестного замученного Гавроша, в гостинице она тревожно взгляделась мне в глаза: «Сосуды полопались...» Но уложенное в постель домашнее животное (я) не желало лежать спокойно. Однако при прорыве нерешительной обороны моей наложницы судорога головной боли отозвалась еще и рвотным спазмом. Я откинул голову повыше, она неуверенно потянулась ко мне губами. «Прости, пожалуйста... Но если ты меня поцелуешь, меня может вырвать».

И было утро, и были кипы трикотажа, и были поиски неведомого капельного серебра, и были блуждания до упаду по россыпи красот, которыми было никак не наестся, хоть мы и хромали на все четыре ноги. Каким отставшим в развитии пацаном я был, когда презирал модерн и эклектику, — мне подавай подлинные великие стили, пожирающие своих творцов! Но насколько же приятнее полакомиться безопасной гомеопатической крупинкой Версаля в образе собственного кресла, а пару усмирненных осколочков Египта расположить у въезда в гараж среди комфортабельного мира (ну — тронуть его легким волнением модерна), в котором и волки целы, и овцы более или менее сыты, где все служит человеку, если бы еще и он научился довольствоваться служением самому себе, не витая в облаках, а балансируя на пуанте, как этот Меркурий на золотом шарике над фортецией банка, не придающий значения крылышкам на своих сандалиях. «Наш покровитель, — указываю я, — ведь мы сразу и стадо, и путники, и торговцы». Помесь мечети с пагодой на флорентийском палаццо в стиле Тюдоров — игра чужими причудами, а значит, высший сорт — из причуд причуда.

Смешной железный человечек на барьерчике у трамвайных линий, повторенное тысячами саламандр эхо Вестминстера — парламент над Дунаем. «Ду-

най, Дунай, а ну узнай, где чей подарок...» Что там за кнопки, которыми умело нащупанная мелодийка может исторгнуть слезы из моей души, перебирая клавиатуру самыми дубовыми или пошло наманикюренными строчками?! (Если вдруг не сработает, всегда можно пропедалировать воспоминанием.)

— Хорошо же со мной? — Не могу не посклочничать.

— Ведь опять обидишься... Ты для любой женщины огромный подарок, а уж для меня... Но любовницы не бывают счастливыми. Я чувствую себя Каштанкой — только проглочу... Жизнь — это будни, а не праздники.

Упоительность не нужна человеку — довольно того, чтоб было легко. Не зря, может быть, ухудшение болезни называют осложнением? Вот и впервые отведенная пушистая картофелина киви, как все новое, оказалась совершенно ненужной человеку.

И был вечер, и была тишь, которую даже не хотелось нарушать совместным электрошоком.

Таскать баулы и мешки по жаре за три квартала (весна-то, оказывается, не такая уж и ранняя) — лучший вентилятор, чтобы окончательно сдуть с города радужную дымку поэзии. Как положено, разносится слух, что весь багаж в допполнительный автобус не поместится — это чтобы труси́ли порысистей. Истые рыночницы не позволяют себе помогать — для упрощения жизни: конкуренты так конкуренты, чтоб никакого этого пролетарского лицемерия, — простоты не могут не пожирать друг друга. Но я помогаю для себя, чтобы снова не затошнило от нагого Дела. Одна из коротеньких компьютерщиц в благодарность даже удостоила меня интимного рассказа в сонных лицах, как она выбирает желтую электронику. Попытки моих лъстивых поддакиваний она обрывала подозрительным: «Чего такое?..» Наконец позволила мне сесть и тут же перестала узнавать высосанную шкурку — у них не дело, а вампир.

БУМММ!.. Наш автобус боднул какую-то тачку. Оказывается, и в Венгрии могут хвататься за грудки. Мы переживаем — жизнь научила нас волноваться, только когда лично тебя в лоб стукнет. Как-то отмазываемся — значит, на поезд вроде бы успеваем.

В таможе над Тиссой — наш бугор (конвойный опыт) подталкивает в спину, чтобы выразить почтение господам.

Каменный гость все шагает из света в тьму, перрон мертвенно сверкает под перекрестным белым огнем многоствольных прожекторов. Я рысью возвращаюсь под Ленина совсем слепой, моя маленькая охранница последних баулов сама ловит меня за плечо — слава Богу, грабануть не успели. Начинает поколачивать морозцем — весна все-таки еще очень ранняя, — но в банном гуле вокзала, где гуцулы таскают за хвосты огромные воздушные груды пустых плетеных корзин, моя бесстрашная спутница почему-то заволновалась, что нас со всех сторон, стан за станом, обкладывают усатые лица кавказской национальности. Приседая и семеня (она еще много дней через карманы куртки будет держаться за живот), со всей поклажей разом уходим в последнюю брешь обратно на ослепительный лагерьный плац, где в белом пламени забывшей погаснуть фотовспышки тени обретают уже непроницаемую черноту. Туда лучше не соваться, самое меньшее — вляпаешься в дерьмо.

Все вытянулись часовыми при своих сумках — нахалки, паникерши, пожилые учительницы, старые девы, потаскухи, добродушные бабуся: челночный бизнес, как всякое истинно великое движение, увлекает своим потоком и трусов, и героев, и скупцов, и расточителей, и хамов, и поэтов. Профессионалкам, слившимся со своей функцией, здесь уютнее всего. Наши Амбалы и Гиперамбалы напялили везомые шапочки попугайских расцветок, дружно превратившись в детский сад огромных небритых дебилов; их коротенькие девичьи из общего зиккурата картонных коробок извлекли девственный мафон и на всю гиперамбальскую мощь запустили навязшую в ушах рок-группу: «Ахинеяже, ахинеяже!», — запритопывали под «Ахинеяже» коротенькими ножками в джинсиках. Наш поезд чернел на втором пути, как мертвый, — только неразборчивая проводница мстительно прокричала, что с таким перегрузом сажать не будет. Никакого видимого впечатления угроза не производит: препятствия и угрозы — наш будничней хлеб. Разносится слух, что на первый путь вот-вот подадут другой поезд — придется с мешками корячиться под вагонами. Мы перетаски-

ваем свое кровное барахло на полуметровую полосу асфальта промеж путей и становимся на часы по бокам мешочного штабеля. Мимо гремят товарняки, сшибая у нас кончики носов. Выложив все деньги, я пробираюсь под нашим будущим вагоном на темную сторону: когда нужда прикажет быть героем, у нас героем становится любой.

Пуск! С обоих тамбуров пихаем, передаем, как на пожаре, не разбирая, где чье; в отсветах прожекторов (проводница хотя бы свет нам не зажгла) распознаю наши сумки и эсэсовские мешки по специальным цветным тесемкам (старый халат, изрезанный в лапшу). В самые непроходимые щели нашего купе забиваю мягкий товар ногами, одна сумка, как положено, раскачивается на вентиляторе.

Ф-фу... Едем. Народ во мраке уже гудит, мне тоже жалко растратить во сне блаженное облегчение. В коридоре бредово-прекрасная заря над Карпатами, алые ручки под прозрачными ледовыми козырьками. «С омоном высажу», — тихо внушает бригадир экс-лейтенанту. «Собирай сам», — так же тихо отвечает тот. «Почему ты на себя потратишь жалеешь, а всяким рвачам первый суешь?» — любопытствует тоже бессонная от измученности моя соратница. «Рвачам — это для души: чтобы к ним не прикасаться».

Уже совсем засветло Амбал рвется в соседнее купе — лязг стоит, как в механосборочном. Зато в снегах Киевского вокзала, держась в тени Гиперамбала, мы проскакиваем рэкетирские засады без всяких-яких. Спускаться, правда, пришлось в три приема: с арбами в метро больше не пускали, гнали на такси, чтобы потом оплачивать наш проезд, натягивая наши свитера. Увы, в мире, как он есть, каждая назначенная цель всегда тонет в лавине непредсказуемых последствий. Но мне не до умствований. Допереть мешки до места, чтоб не сперли, не растоптали, не защемили дверью, не отняли, не порвали — о себе уже и думать некогда, а это и есть секрет счастья. Добравшись до койки, я часа два чувствую себя почти счастливым.

Я ненавижу животное в человеке. Но, не обращаясь в него, выжить невозможно.

А выживать зачем-то нужно.



Будем Были

Станция Чу

Станция Чу
Станция Ма
Станция Сума
Станция Тюръ
Станция Ма
Станция Колыма

Станция Блюз
Станция Боль
Станция Алкоголь
Станция Sex
Станция Drugs
Станция Rock'n'toll

Готовьте билеты
В последний трамвай
Готовьте билеты
В рай
Все ближе и ближе
Конечный пункт
Все выше и выше
Этот путь

Готовьте билеты
В последний трамвай
Готовьте билеты
В рай
Все ближе и ближе
Конечный пункт
Все выше и ниже
Этот путь.

А и Б

Я иду сквозь стены,
Я иду сквозь тьму,
Я иду через время к тебе,
Я струюсь по венам
Через ночь и чуму
По течению воды в трубе,
Я стучусь в твои двери,
Проникая сквозь снег и песок,
Я не знаю времени встречи,
Но я приду в срок –
Да поможет мне Бог.

А и **Б** сидели на трубе,
Говорили только о тебе,
А упала от счастья,
Б пропала в ненастье,
И сгорела от страсти,
Кто остался там,
Куда я текла по воде,
К тебе.

Я человек, но я умею летать,
Если очень хочу высоты,
Ты не знаешь,
что я приближаюсь к тебе,
Но ты не можешь меня не ждать,
Я чувствую силу,
как чувствуют боль,
Я хочу дойти до конца,
Я безумная чайка, летящая вдоль
Кольца, что стало прямой.

Шалтай-болтай сидел на стене,
Шалтай-болтай свалился во сне,
И вся королевская конница,
И вся королевская рать
Полетели вслед –
Туда, куда **А** и **Б**,
Туда,
куда я текла по воде,–
К тебе.

Счастье

Отец Отцович и Дед Дедович
Вышли на крышу счастья искать –
Отец кричит – слышу! Дед кричит – вижу!
Чувствую – здесь, не могу удержать!

Чувствую – счастье, а то черепица,
 Чувствую – счастье, а это труба,
 Чувствую – птица, а это не птица –
 Рядом была, да вспорхнула со лба.

Плачет Отцович, плачет Дедович –
 Счастье свое упустили сглупа,
 А дочка Отцовна да мамка Дедовна
 Плачут о том, что пуста скорлупа.

Не было птички – было яичко,
 Стали с птенцом – потеряли яйцо,
 А птенчик с крылечка на печку – и птичкой
 К маленькой внучке с счастливым лицом.

Сказка о несбыточной любви к воздушному змею

Внебрачные дети драконов
 Цеплялись за розу ветров,
 Нагие тела саксофонов
 Фанфарили стройностью строф.
 Прощай, его летняя жалость,
 Зимой он уйдет на покой –
 Напрасно змея размечталась
 О ветреном змее с тоской.
 Рожденная ползать, знай место,
 Подковой по лбу получи,
 Молчи между ступой и пестом
 И шкуру в гармошку ссучи.
 Колодная дама, будь тише –
 Дракону не быть королем,
 Он ветрен, как флюгер на крыше,
 Он с детства был лучшим вралем.
 Анданте закончено точкой,
 Аллегро не раньше весны.

Усни, завернувшись клубочком,
 Ищи в темноте его сны.
 Он будет как будто таким же,
 Но лишь не узнает в лицо,
 Твоими глазами нанижет
 Он вскользь свою нить на кольцо.
 В часах его время без стрелок,
 На стрелках часы без минут,
 И мир незатейливый мелок
 Под бредущим летом простуд.
 Мечтай о несбыточной выси
 И ползать учись без прикрас,
 А он не увидит на письмах
 Рубашками вверх мезальянс.
 Люби его, клетка без птицы,
 Люби, без иглолочки нить,
 Быть может, потом не случится
 Кого-то еще полюбить.

Волос узлом

Я слышу голоса ящериц,
 Волос завязав узлом, –
 О чем шепчутся мыши под полом
 И крошки под столом.
 Ящерицы говорят:
 «Мы раньше умели летать,
 Предки наши имели
 Перепончатые крылья –
 Мы летучими были!»
 Мыши шуршат корками сушеными,
 Гложут углы и говорят тоже:
 «Мы можем вырасти до крыс,
 Крысы уйдут вниз,
 Мы будем владеть подвалами,
 Но этого нам мало –
 Мы выйдем по стенам наружу,
 Обнаружим крутой нрав,

Мышеловки поправ,
 Растопчем яд и приманки,
 Сожрем всю гречку и манку,
 И всем будет хуже».

Нет, не об этом шепчут звери –
 Матери о детях думают,
 Дети о еде,
 Так везде –
 У людей и у малых тварей,
 И только я сижу,
 Волос узлом вяжу.
 К чему? –

и так все знаю про зверей,
 А про людей-то и подавно.
 Поиграю-ка лучше на гитаре,
 Вот и славно.

Запах мяты

Ты запах мяты, когда
 Измяты ее листы в пальцах,—
 Потри ладонью ладонь,
 Смотри — там горит мед.
 На дне запаха мяты усни —
 Во сне возле сосны
 Стрела птицу убьет влет,
 Вода перейдет в лед.
 Рыба сбежит от блесны,
 Свалится с неба сова —
 Это слова. Это сны.
 Это мои
 Козни для колдовства.
 Раз прошепчу, два —
 Это мои
 Корни трав для ведовства.
 Три — в пальцах траву сотри,
 Зависни над дном,

Знай только одно:
 Ты — это дурман-цветы
 Там, где нельзя ходить,
 Там, где надышишься пьян,
 Там, где заснешь от ран,—
 Ты — это соты с матерью пчел,
 Сотнями пьющих сок.
 А еще
 Ты — это шаг через стык
 Пера и крыла,
 Локтя с плечом
 Там,
 где излом под углом
 Корня и дерева,
 Рук и стекла,
 Веры и меры,
 Добра
 И зла.

Колокольчики-бубенчики

Колокольчики-бубенчики,
 Ах, любовь моя кособокая,
 Колокольчики-бубенчики,
 Хромоногая, криворукая,
 Что ж согнулась седой старухой
 Горькой горечи моей около?
 Колокольчики-бубенчики...

Колокольчики-бубенчики,
 Не родившись — уже отпетая,
 Колокольчики-бубенчики,
 Не прозревши — уже ослепшая,
 Прежде первых слов онемевшая,
 Прежде пламени в лед одетая,
 Колокольчики-бубенчики...

Будем Были

Когда мы Будем Были,
 Когда мы Будем Были,
 Будут Были синеногие ящерицы,
 Будут Были фантастические рыбы,
 Будут Были деревовидные облака...
 Будем ли мы?

Когда мы Будем Были,
 Когда мы Будем Были,
 Наши глаза Будут Смотрели,
 Наши песни Будут Звучали,
 Наши руки Будут Обнимали...
 Будем ли мы?



Повесть о прожитом

В четвертом часу ночи, когда я уже уснул, за мной прибежал комендант. — Вас вызывает Мороз.

Он сидел за столом в кабинете Сухова. Ни самого Сухова, ни других наших вольнонаемных начальников не было. Мороз не хотел их знать. Заключенный, заведующий учетно-распределительной частью, докладывал ему списочный состав. Заключенный Даманский, известный Морозу по прежней работе, сидел в качестве секретаря — писал радиোগраммы и составлял приказы.

Мороз внимательно посмотрел на меня и сказал: «Садитесь». Он был в военной форме с двумя ромбами. Его большая голова казалась всаженой в плечи. С корявой, разбухшей физиономии внимательно смотрели не улыбающиеся, круглые, как у ворона, глаза. Черные курчавые волосы были приглажены и зачесаны назад. Обращаясь ко мне, он сказал:

— Завтра... нет, сегодня мы начинаем борьбу за двести тысяч тонн угля.— Он говорил с сильным местечковым акцентом.— Рейд заставлен баржами. Есть все: и суда, и механизмы, и люди. Надо хотеть грузить. Здесь этого просто не хотели.— Он затянулся папиросой и опять внимательно посмотрел на меня.— Теперь отгрузка пойдет, как военные действия. Я командующий, вы будете начальником штаба. Составьте план работ и расстановку рабсилы. Через час-полтора доложите.

Я вызвал экономистов. У нас все было рассчитано. Но Печорское пароходство в первые дни навигации пригнало вдвое больше барж, чем требовалось по расчету. Почти все баржи были груженые. Значит, их надо было разгрузить и лишь потом начать погрузку. Пароходство еще с конца прошлой навигации стягивало на подходах к нам свой подвижной состав. Мы знали об этом, и я в середине зимы писал Морозу о необходимости создать людские резервы. Но резервов не дали, и теперь пароходство торжествовало победу, жалуясь Ежову, что у него срывается план вывоза угля, потому что лагерь задерживает баржи. В этой связи и прилетел Мороз. Но с его прилетом людей не прибавилось, и начинать военные действия было по-прежнему не с кем. Какой же план составлять? Не прошло и четверти часа, как Мороз опять вызвал меня.

— Я облегчаю вашу задачу. Я издал приказ временно закрыть шахту. Через шесть часов сюда придут двенадцать горняцких бригад. А кроме того, мы и здесь сейчас создадим ударные бригады. Посидите.

По его вызову явились двое известных на всю Воркуту паханов. Мороз обратился к ним как к старым знакомым:

— А, Москва! Давно не виделись!

— Гусаров.

— Да. И Гусаров. Ну, садитесь. Помните, как вы гремели?

— Гражданин начальник! Да с вами мы чудеса делали!

— Закуривайте.— Он подал им пачку дорогих папирос. Они взяли по одной.— Берите, берите больше! — Они сгребли штук по пять и положили в нагрудные кармашки.— Да... Мы с вами показали работу. Бригады гремели.

— А как вы, гражданин начальник, тогда за ударную работу жен роздали! Вот было времечко!

— Да, да... Так вот организуйте такие же бригады. Чтобы гремели.— Он вернулся к заведующему учетно-распределительной частью.— Сейчас же вместе с ними подберите крепкий народ.— Потом он позвал коменданта: — Какой у вас самый лучший барак?

— Барак ИТР самый чистый, гражданин начальник.

— Освободите и поселите их бригады.— И, обратившись к паханам, сказал: — Ну, давайте... Мы с вами покажем этим...— Он, по-видимому, хотел сказать — этим троцкистам, но не сказал.— Покажем ударную работу!

Когда они вышли, он заметил:

— Их люди боятся. У них работа пойдет.

Мне он велел всю имевшуюся у нас рабочую силу использовать для разгрузки. Кроме того, приказал главному врачу сангородка сформировать бригады из выздоравливающих, а коменданту — выгнать на разгрузку хозобслужу.

— А на погрузку поставите горняцкие бригады, ну, и этих бандитов.

Таким образом, он сделал то, о чем мы его просили, но чего без его разрешения сами не могли сделать: закрыл все работы и тем самым удвоил количество рабочей силы на разгрузке и погрузке. Когда еще до наркома дойдут жалобы, что срывается добыча угля, а жалобы пароходства прекратятся. А там будет видно.

Уже начался день, и Мороз предложил мне вместе с ним пройтись по фронту грузовых работ. В нескольких шагах позади шли Даманский, комендант и нарядчик. На рейде вдоль обоих берегов одна за другой стояли десятки барж. Вода в реке быстро спадала. Одна баржа уже обсохла и, накренившись, лежала на берегу. Три буксирных парохода, мешая друг другу и с трудом разворачиваясь на узкой реке, ходили от одной баржи к другой, то стаскивая их с обмелевших берегов, то переставляя на новые места. На наших глазах две баржи при этом столкнулись, одна получила пробоину и стала оседать.

Мороз был в черной кепке и черном плаще. Козырек кепки выдавался, как вороний клюв. Он стоял на берегу и всей своей плотной фигурой на тонких лапках-ножках, с головой, утонувшей в плечах, еще больше, чем в кабинете, напоминал ворона. Беспорядок на рейде его устраивал. Он подозвал Даманского:

— Составьте радиограмму: неорганизованность рейдовых работ не позволяет развернуть отгрузку. Баржа такая-то обсохла. Та скоро тоже обсохнет, укажите и ее номер. Укажите номер разбитой баржи. Укажите, сколько барж на том берегу и сколько не подано под разгрузку. Ежову, копия — начальнику пароходства. Нет. Начальнику пароходства, копия — Ежову.

Мы пошли по берегу. Фронт причалов растянулся значительно дальше, чем были построены подъездные пути. Мороз спросил:

— А почему к этим причалам не подведены пути?

Я ответил:

— Мы проектировали, но Вайнберг вычеркнул, считая, что ставить баржи здесь не придется.

— Вайнберг? Ах, этот фашистский инженерик, который здесь подвизался! Кто заведует путями?

Строительством подъездных путей занимался старший дорожный мастер Капутовский. Нарядчик побежал за ним. Капутовский был очень разумный человек. Он уже оканчивал Московский транспортный институт, когда обнаружилось скрытое им поповское происхождение. Его исключили, арестовали и решением Особого совещания дали пять лет за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». У нас он серьезно относился к работе и хотя обычно не спорил, но старался избегать выполнения слишком глупых распоряжений. Когда Мороз приказал ему протянуть пути, он сказал: «Слушаюсь» — но, по-видимому, решил, что при том недостатке рабсилы, который был на дороге, надо в первую очередь выполнять более срочные работы.

Часам к двенадцати Мороз устал и отправился спать. Я поел и тоже улегся. В девять часов, после того как я проверил все работы и составил план на следующие сутки, началась новая прогулка по берегу. Солнце в это время года уже не заходило, но вечером все-таки спускалось к самому горизонту. Мы подошли к баржам, которые грузились новыми бригадами. К нам вышел Москва.

— Работаем, гражданин начальник. Вот как работаем! Класс!

Здоровый парень бегом гнал по мосткам тачку с углем. В трюме он, по-видимому, с ходу опрокинул ее и уже порожняком в бушлате, накинутом на плечи,

погнал обратно и скрылся на угольном складе. В несколько секунд ему загрузили тачку, и он опять бегом повез ее на баржу. Я присмотрелся и понял, что пользуясь полутьмой, он гоняет пустую тачку. На баржу он отвозил свой черный бушлат, чуть забросанный углем, там ему накидывали его на плечи, а на угольном складе он опять бросал его в тачку и бегом гнал на баржу. Не знаю, понял ли это Мороз, но с его огромным лагерным опытом нельзя было не понимать, что бегать все время с груженой тачкой не мог бы и богатырь. Во всяком случае, он никаких сомнений не высказал и спросил у Москвы фамилию грузчика.

— Бандюгин.

— Подходящая фамилия. Молодец!

— Как зверь работает, гражданин начальник! За двести процентов я вам ручаюсь.

Мороз вызвал начальника культурно-воспитательной части.

— Видите этого молодца? Прикажите своим художникам, чтобы завтра на причалах был его большой портрет. Надпись сделайте: «Бандюгин первый дал двести процентов: кто следующий?» В общем, придумайте, чтобы было броско. И передайте от моего имени, чтобы повар обед ему в белом колпаке подал, в судках, на подносе, как следует. Чтобы все видели.

Мы пошли дальше, а когда возвращались, Москва уже сдавал баржу. По осадке всем было видно, что загружена она меньше, чем наполовину, но комсомолец — начальник пристани — смертельно боялся назначенных Морозом новых бригадиров. Он принимал у них недогруженные баржи за полные. Мороза это устраивало.

Следующей ночью Мороз был в злом настроении. Он пытался доказать московскому начальству, что шахта нуждается в ремонте и должна быть остановлена, но, по-видимому, не убедил. Мы молча прошли с ним до самых дальних причалов. Тут он вспомнил про свое распоряжение относительно путей и остановился.

— Почему пути не построены? Где этот ваш Ка-пу-товский?

За Капутовским побежали и быстро привели.

— Почему не продлены пути?

— Людей нет. У меня на угольном складе дважды сходили паровозы. Приходилось поднимать и восстанавливать пути.

— У вас какая статья?

— КРТД.

— Так вы и в лагере продолжаете заниматься тем же? Устраиваете крушения? Тормозите развитие путей?! Комендант, в изолятор, не заводя в барак. Даманский, составьте приказ: мною раскрыто вредительство, напишите об организованных им крушениях, о сознательной задержке развития путей с целью сорвать отгрузку. Уполномоченному — начать следствие. Приказ объявить всем! — Он бросил папиросу и быстро пошел прочь вдоль берега.

Через сутки он разозлился на меня. Одну из барж разгружал только что прибывший этап. Усталые и неумелые люди еле копошились, но Мороз не велел их сменять, пока не разгрузят. Они пробыли на барже двое суток, выбились из сил и перестали работать, лежали и спали. Нарядчик пришел ко мне: что делать? Я сказал: «Отпусти на дневное время отдохнуть». Но люди устали настолько, что к ночи, когда Мороз опять начал ходить по берегу, они еще не вышли. Мороз обнаружил, что баржу не разгружают. Я на этот раз с ним не ходил, и он вызвал меня позднее.

— Это вы разрешили снять людей?

— Да. Они двое суток не спали.

— Подумаешь, двое суток! Начальник лагерей может не спать, а троцкисты и шпионы не могут?! Я держу вас не затем, чтобы вы портили мне работу!

Вскоре у меня с ним возник более серьезный конфликт. За десять дней его пребывания у нас печорское судоходство выдохлось. Весь подвижной состав, который был стянут на Воркуту, ушел с углем, а новых барж почти не поступало. Мороз радировал Ежову, что работу он организовал и дело теперь за пароходством. Ему разрешили уехать. За пару дней до своего отъезда он вызвал меня вопреки своему обыкновению днем. В кабинете, кроме него, никого не было.

— Ну, работу я вам наладил. Сегодня горняки отправляются на шахту. Чтобы наверстать добычу, я отправлю еще шесть ваших бригад. У вас останутся

бригады Москвы и Гусарова. Они выполняют нормы на двести процентов, считайте их за четыре бригады. Ну и все остальные. Справитесь.

Он считал свое дело законченным: показал, что, когда руководил лично сам, отгрузка угля выполнялась. Теперь шахта начнет наверстывать добычу. Ну а если пароходство будет опять жаловаться, то виноватыми окажутся те, кто тут останется. Известно, что это за люди. Не может же он за всем уследить!

Я против отправки наших людей стал возражать. Я знал, что пароходство не позднее, чем через неделю, снова пригонит большое количество барж и мы захлебнемся. Мороз возражений не терпел. А то, что говорил я, было направлено прямо против проводимой им игры. Он бросил на пол папиросу, встал из-за стола и с остановившимися глазами подошел ко мне.

— Я давно понял, с кем имею дело! Все еще думаете продолжать свою контрреволюционную деятельность?! Но мы тоже не без рук. Можете идти.

Не знаю, какой приказ обо мне он велел бы написать, но днем Даманского не было, а потом пришла радиограмма, предлагающая Морозу, даже не заезжая в Ухту, немедленно вылететь в Москву. Больше о нем никто ничего не слышал.

Без Мороза стало спокойней. Как побитая собака из подворотни, появился Сухов, но в дела уже не лез. Знаменитых бригадиров вместе с Бандюгиным удалось отправить на шахты. Капутовского выпустили. Новых арестов для кирпичного уполномоченный пока не производил. Однако этапы, поступавшие с воли, по-прежнему убеждали нас в полной безнадежности нашей судьбы. Теперь давали уже не по восемь и десять лет, а по пятнадцать и двадцать лет. Начали присылать женщин. Только за то, что они были женами арестованных, им давали по восемь лет.

А Воркута тем временем стала приобретать большое значение. Ее выделили из Ухто-Печорских лагерей в огромный самостоятельный лагерь, который стал называться Воркутинский угольный комбинат. В него, кроме самой Воркуты, вошли интинские и еджи-кыртинские шахты, большое новое строительство, печорские животноводческие совхозы, лесзаги, многочисленные перевалочные базы и широко раскинувшиеся геологические и буровые работы. В общем, половина Республики Коми и весь Ненецкий округ стали нашей территорией.

Летом приехал вновь назначенный начальник лагеря и привез на этот раз умного, образованного главного инженера, который в своей работе не делал различий между заключенными и вольнонаемными. Его фамилия была Бунич. Вслед за ними начали прибывать разные начальнички. Они не были такими явными надзирателями, каких засылали раньше, но тоже рассчитывали сесть на чужие спины. Лагерь продолжал привлекать охотников получать большие деньги за счет чужого труда и знаний.

Сухова убрали, и вместо него появился капитан госбезопасности (то есть полковник) Литваков. До этого он занимал должность полномочного представителя ГПУ в одной из украинских областей. Когда начали ликвидировать соратников Ягоды, его уволили, но сразу не арестовали. Он удрал в Москву и с какой-то, по-видимому, придуманной, болезнью слег в больницу, а друзья сумели оформить ему отставку и назначение в лагерь. К нам он примчался как с пожара, даже без чемодана.

Это был маленький, всегда улыбающийся человек с подстриженными черными усиками. Он обладал хитрецей, в общем, пропорциональной его росту, был не умен, но и не глуп и отличался совершенно детским невежеством, которое умел скрывать, помалкивая и улыбаясь. Поразительно, что такому ничтожному человечку могли доверять судьбы десятков тысяч людей, которых он арестовывал, расстреливал и посылал в лагерь. У нас он всем улыбался, никогда не орал и не злился, а в работе полностью полагался на заключенных. Однажды он дал мне машинописный текст и сказал:

— Это я должен докладывать на закрытом партийном собрании. Пожалуйста, просмотрите внимательно: все ли правильно, нет ли чего такого?..— Он покрутил рукой.— Очень вас прошу, а то скажешь не так, попадешь в уклон! Только не показывайте никому.

Осенью, когда начались дожди и вода в Усе стала подниматься, надо было, как и в начале навигации, докладывать, как мы к этому подготовились. Литваков взял меня. В кабинете начальника он сказал, что докладывать будет Зубчаинов. Начальник удивился:

— Насколько мне известно, Зубчанинов всего лишь экономист. А мне нужен исчерпывающий доклад.

— Он все знает.

Начальник лагеря понял, что если я знаю и не все, то уж Литваков не знает ничего. Докладывал я.

По возвращении на Воркуту-вом до меня дошли слухи о том, что Ежов, как и Ягода, потерпел катастрофу. Киномеханик рассказывал, что прибыл хроникальный фильм, изображавший, между прочим, как Ежову вручается орден Ленина. Уполномоченный велел принести этот фильм, сам вырезал все, что касалось Ежова, а потом приказал уничтожить все его портреты.

Ликвидация самого Ежова прошла как-то незаметно, но всех его помощников расстреляли. Генеральным комиссаром назначили Берию.

Статистиком у меня был тогда Александр Иванович Папава, который до своего ареста заведовал отделом агитации и пропаганды в ЦК Грузии. Он работал с Берией и близко его знал. Я спросил, что это за человек. Поколебавшись, Александр Иванович ответил:

— Это нехороший человек. Он малоразвитой. Очень честолюбивый.

— Ну а как он будет относиться к нам?

— Наверное, плохо. В одном разговоре он сказал: «Если кого-то покарали, выпускать нельзя, он никогда не забудет, лучше уничтожить». Только я вас прошу, вы этого никому не рассказывайте.

Через некоторое время от руководящих работников управления лагеря я узнал о первом приказе Берии, так называемом приказе № 1. В нем говорилось: вступив в свою должность, новый генеральный комиссар установил, что ГПУ (или НКВД), задача которого — охранять социалистическую законность, само нарушало законность. Перечислялось множество фактов, в том числе и то, что людям без суда и следствия устанавливали сроки заключения, что отбывших свои сроки задерживали в лагерях и т. д. Приказывалось строго соблюдать законы и пр. и пр. Я рассказал об этом Папаве и спросил, как же увязать это с тем, что он говорил. Папава ответил:

— Ничего удивительного нет. Это значит только, что Берия так же, как и все бывшие до него комиссары, действует не по своему усмотрению, а выполняет то, что хозяин в данный момент считает нужным.

Немного позднее я узнал и о другом приказе. В нем объявлялось, что за участие в «контрреволюционной троцкистско-ежовской организации» приговорены к высшей мере наказания и расстреляны такие-то и такие-то работники НКВД, в том числе старший лейтенант Кашкедин и его помощники. Очевидно, действовало старое восточное правило — уничтожать исполнителей особо доверительных поручений, чтобы никто ни о чем не смог рассказать.

Постановления о вторых сроках были отменены. Но в тех случаях, когда второй срок успели объявить и имелась расписка заключенного в его получении, он оставался в силе. Задержка освобождений прекратилась. Всех, кто пересидел или закончил срок, стали сразу же освобождать, хотя в паспортах делали пометку, с которой нельзя было жить не только в столицах, но и во всех областных и промышленных центрах. Поэтому многие из специалистов начали оставаться на Воркуте по вольному найму. Но много народа все-таки уезжало. Как-то в группе уезжавших я увидел Ратнера. Я подошел к нему, но он не стал со мной разговаривать. Так кончилась наша «дружба», о которой он кричал при первой встрече.

В марте 1939 года я должен был освободиться. В этом не было большой радости. Домой ехать я не мог. К тому же в течение двух лет я не знал, что там делается, есть ли вообще этот «дом». Рассчитывать на работу в других местах было трудно. Было очевидно, что еще по крайней мере на год надо будет остаться на Воркуте. Так я и сделал.

Ничего в моей жизни не изменилось. Работа осталась та же, только жить я перешел в барак для вольнонаемных да обедать стал за деньги в «вольной» столовой. Домой я послал письмо о своем освобождении. Я объяснял, почему остался на Воркуте, и просил поскорее написать обо всем. Письмо тогда с Воркуты шло две-три недели. Только к первому апреля пришла ответная телеграмма: «Папа тяжело болен. Шура пропал без вести. Любовь Петровна нам чужая, живет своей семьей. Я и Катюша целуем. Мама».

Сначала до меня дошло только то, что папа тяжело болен, то есть, по всей вероятности, умер. Но тут же я перескочил через фразу и вдруг все понял. Но как же так? Как же так получилось?

За эти годы я видел столько семейных трагедий. В самом начале одному из армян пришла телеграмма от его жены: «Старая собака! Перестань писать, твоих здесь нет». Но это, наверное, была мимикрия, люди просто притворялись, чтобы их не подозревали в связях с «врагами народа». Потом кое-кому приходили письма от родных о том, что жена «скурвилась». Помню, как один из моих соэтапников порвал фотографию жены и бросил в печку. Но разве это касалось меня?! Я был в полной уверенности, что их семьи совсем не такие, как моя. Ведь если жены в такое время могли уйти, значит, не было дружбы, не было того неразрывного единения, которое и является настоящей любовью...

Я не мог оставаться на месте, надо было куда-то идти. Пользуясь своим вольнонаемным положением, я ушел в тундру и шел, шел и повторял: «Как же так?» Нет теперь отца с его веселыми, насмешливыми глазами. Нет брата (наверное, и там был свой кирпичный завод). И нет семьи!

Вскоре пришло письмо от мамы. Она писала, что отца вновь арестовали, а через месяц он умер на следствии «от паралича сердца». О брате более двух лет не слышно ничего. Моя жена живет в нашей квартире, но имеет новую семью, у нее родилась дочка. Катька очень озорная.

Потом пришло сдержанное письмо от жены. Она сообщала, что встретила хорошего человека, с которым и будет теперь жить.

У меня все шло по-старому. Я жил в кругу все тех же друзей, все в той же обстановке. Но в конце года начальник лагеря предложил мне стать заместителем начальника планового управления всего комбината. Заведовал управлением брат его жены Барский. Несмотря на величественную седую голову, это был настолько беспомощный и неумный человек, что его просто не принимали в расчет. Было решено: пусть он получает свое жалованье, а работу поведут два его заместителя — я и Юрий Николаевич Ераков.

Я распростился с Ордынским и другими друзьями, со всей нашей Воркутовом, где были выстраданы каждый причал, каждый погрузочный механизм, все подъездные пути, бараки, землянки, где каждый паровоз имел свой характер и все казались родными.

С местом, которое было моей тюрьмой, я прощался, как с родным и близким.

6

Новый, 1940 год я встречал у главного геолога Кригер-Войновского. Он, один из немногих на Воркуте, жил с семьей и занимал отдельную двухкомнатную квартиру. Собрались старые воркутяне, ставшие теперь ведущими вольнонаемными работниками лагеря, а также недавно приехавшие из Москвы молодые геологи и вольные врачи. Это был мой первый «выход в свет», и я еще чувствовал себя чужим. Начались тосты. Со стаканом в руке поднялся хозяин. Он был маленького роста, тоненький, как мальчик, и очень подвижный. Со своей гладко выбритой белесой головой и светлыми немецкими ресницами он напоминал юркую белую мышку. На Воркуту его привезли еще в начале 30-х годов, когда геология считалась самой нужной специальностью. Ему удалось обнаружить большое новое месторождение угля. За это его освободили, но, выписав жену и дочь, он продолжал жить и работать на Воркуте. Человек он был милый и приветливый. Звали его Константин Генрихович. Застенчиво улыбаясь своими светлыми глазами, он поздравил новых вольнонаемных и пожелал им поскорее устроить личную жизнь.

Угощались на Воркуте тогда очень просто. Вина не было, завозился только спирт, который в большом количестве в чистом и разбавленном виде стоял на столе. Были банки с рыбными консервами и оленье мясо с макаронами. Ни картошки, никаких других овощей достать даже к Новому году было невозможно.

С переходом на вольнонаемное положение жить стало сложнее. На Воркуте-вом это не чувствовалось потому, что я продолжал жить и работать со своими лагерными товарищами. Здесь вольноотпущенники были отделены от заключенных, но не допущены и к настоящим вольнонаемным, которые на словной лестнице занимали более высокую ступень.

В комнате со мною жили Ераков и Панин. Они были намного старше меня, и каждый хотел жить в соответствии со своим характером и привычками. А они у всех были разными. К Ивану Агапычу Панину еще можно было приладиться. Я даже рассказал ему об отце, брате и о своих семейных делах. Он помолчал, а потом сказал:

— Эх, милый! Что поделаешь? Я тебе рассказывал о себе? Ну так послушай. Я ведь из крестьянской семьи. Отец летом пахал, а на зиму уходил плотничать. Когда я подрос, он и меня брал. Мальчишка я был смышленный, и меня быстро втянули в социалистическую организацию. В шестнадцать лет я уже выступал, агитировал, от работы, конечно, отбился, из дому ушел. Как раз подросел пятый год. Я распустил хвост вовсю. Ну а когда праздник кончился, меня арестовали и выслали в Сибирь. Тут я попал в струю кооперативного движения. Нас, кооператоров, не трогали, и к семнадцатому году я был уже одной из первых кооперативных величин. Поэтому, когда пришли белые, они меня сразу арестовали. Это, я тебе скажу, было пострашней. Но я сумел бежать в Китай. Там меня тоже арестовали. Значит, уже в третий раз. Китайская тюрьма — ерунда. Я заплатил, и меня выпустили. Стал работать на КВЖД. Ты ведь знаешь, кем я был, — начальником всей коммерческой службы дороги. А в соответствии с положением — и деньги, и дом.

Жена была очень хорошая — врач, двое мальчишек. Прекрасно жил, но пришли японцы и арестовали всех нас как советских шпионов. Японская тюрьма — такое удовольствие, что не дай Бог. Меня, положим, не пытали, потому что готовились судить, а многих замучили до смерти. Страшная сволочь! Но я тогда мог быть героем — ведь я знал, что на суде их разоблачу! И, действительно, какие речи говорил! Их печатали в газетах всего мира. Японцы оскандалились. Нас героями встретили в Москве, меня, как и в Харбине, сделали начальником коммерческой службы крупнейшей дороги, Казанской. А через пару лет оказалось, что я японский шпион! И вот, веришь ли, я, прошедший четыре тюрьмы, тут сдался. Я понял, что в этом застенке, что бы ты ни доказывал, замучают и никто даже знать не будет! Я побился, побился, плюнул на дон-кихотство и согласился подписывать весь их вздор. Но ведь упрятали в лагерь и жену, а из мальчишек один свихнулся, его тоже посадили, а другой не знаю где. Вот ведь как!

Но жизненных сил у этого сухого, костлявого старика оставалось много. Он всем интересовался, все время читал и что-нибудь изучал.

Юрий Николаевич Ераков был тяжелым сожителем. Начиная с совершенно фантастической своей длины он во всем был выше среднего уровня. Над людьми обычного роста он выдавался на полторы-две головы. Немного наклонив свою небольшую лысую голову, он с затаенной иронией смотрел на всех сверху вниз. У него был мощный, густой голос, и, сдерживая его, он скорее рычал, как лев, а не говорил. Его мысль работала всегда с безупречной и безжалостной логикой, и он никому не прощал непоследовательности в работе или в рассуждениях. Был непобедим в шахматах. Все помнил, знал наизусть массу стихов и издевательски высмеивал обычную человеческую забывчивость. Это был очень способный человек.

Но «вычитывать истины из книжек», по его мнению, было глупостью, свойственной недалеким самоучкам. Он хотел «наслаждаться остатками жизни», то есть, лежа на своей непомерно длинной койке, слушать музыку по радио или, дымя папиросами, до поздней ночи играть в шахматы, а еще лучше — в преферанс, после чего поужинать и немного выпить. Мне с Иваном Агапычем такое наслаждение жизнью не нравилось, но считаться с этим Ераков не хотел. Вначале он думал, что, может быть, я составлю ему компанию. Он спросил:

— В шахматы играете?

— Нет.

— В преферанс?

— Нет.

— А водку пьете?

— Тоже нет.

— Чему же вас учили в вашем университете?

— Вот этому как раз не учили.

— Так пробелы в образовании надо пополнять самообразованием.

Я отказался. Особенно надоедало нам его радио. Увидев, что под музыку он уснул, Агапич потихоньку выключал радио, но Юрий Николаевич сразу же просыпался:

— Зачем выключаешь радио?

— Да ты же спишь! А мне этот бодрый голос из Москвы надоел.

— Мало ли что я сплю! Я вас к культуре приучаю.

Мы, конечно, начинали ссориться. Но, к счастью, мне неожиданно пришлось больше чем на полгода уехать из Воркуты.

Дело в том, что сложное и разбросанное воркутинское хозяйство потребовало территориальной организации. Было образовано несколько районных объединений (или райлагов), в том числе Усть-Усинское, в которое вошли семь совхозов, два лесзага, лесосортировочный рейд, баржестроительная верфь и несколько перевалочных баз. Начальником этого объединения сделали Ялухина, напористого человека, которого наш начальник лагеря побаивался и поэтому старался ему благоволить. Ялухин на время организации потребовал хорошего экономиста и по чьей-то указке назвал меня. Начальник лагеря уступил. Я был командирован в Усть-Усу на месяц.

Туда я летел в маленьком самолете над заснеженной тундрой. Позднее мне не раз приходилось летать на современных самолетах, идущих над облаками. Бесконечные поля белых облаков — если смотреть на них сверху — выглядели так же, как этот тундровый пейзаж. Немного южнее начались редкие леса, которые быстро становились все гуще и гуще. Самолет стал спускаться. Когда я вышел, светило ослепительное февральское солнце, а кругом ярко зеленели сосны и ели. Трудно передать радость, которую я испытал, увидев эти зеленые деревья. Ведь четыре года я, кроме снежной пустыни, не видел ничего!

В Усть-Усе оказалось много заключенных специалистов. Я сформировал большой плано-производственный отдел и хотел поехать посмотреть совхозы, а затем возвратиться на Воркуту. Работать с Ялухиным я не собирался. Даже внешне — фигурой разжиревшего богатыря — он был мне неприятен. В ранней молодости он, оказывается, выступал в цирке в качестве борца, потом применял свою физическую силу, работая в милиции. Всему этому соответствовало его общее развитие. Одному из работников он поручил сделать доклад на производственном совещании.

— Но предварительно дайте мне тезис.

— То есть в краткой форме основное содержание?

— Не в краткой форме, а полный тезис — от слова до слова: все, что будете говорить.

Или он давал такое указание:

— Когда пишете начальству, инициалы надо писать полностью, не Л. А., а Леониду Александровичу.

Особенно противен он стал мне после того, как я однажды понаблюдал его во время радиопередачи о войне. Немцы тогда прорвали линию Мажино и маршем двинулись на Париж. Мы следили за этим из такого далека, что как-то мало беспокоились. Но все-таки всем нам становилось неприятно, когда наше советское радио передавало гитлеровские информационные сводки, а кое-кто из вохровцев или наших начальников (конечно, кроме евреев) слушал их с улыбочками. Как-то я вошел в кабинет Ялухина как раз в тот момент, когда передавалась такая сводка: лейтенант Шмидт или Шварц, раненный в голову, но не оставивший командования, занял французский городок, «уничтожил живую силу противника», приказал мэру сдать ключи и под залп своего батальона водрузил немецкий флаг на ратуше. Ялухин слушал молча, но именно в этом молчании чувствовалось восхищение, а когда дело дошло до флага, он не стерпел и подмигнул мне: вот, мол, это да!

Я решил, что задерживаться не следует, надо уезжать. Но уехать не удалось. Ялухин внезапно умер, и из Воркуты распорядились, чтобы я выполнял обязанности начальника объединения. В Усть-Усе тогда велась работа, от выполнения которой зависел весь весенний сплав леса. Печора после слияния с Усой делилась на два мощных рукава. На одном из них строились лесная запань и сортировочный рейд. Это было сложное сооружение, которое должно было задерживать сотни тысяч кубов древесины, чтобы сортировать ее и грузить на баржи для отправки на Воркуту.

Став начальником, я первым делом поехал смотреть эти работы. Плотничали там уже давно, главное было построено, теперь устанавливали ряжи, которые должны были держать запань. Ряжи представляли собой конусообразные срубы. Их через проруби опускали на дно и заполняли бутовым камнем. Для этого всю зиму целый обоз лошадей возил камень. Все шло как будто хорошо.

Я познакомился с начальником рейда Ретюниным. Он был из тех крестьянских парней, которых во время коллективизации судили как бандитов. Срок он отбывал на воркутинских шахтах, где возглавлял одну из самых лучших горняцких бригад. После освобождения его сделали начальником сначала небольшого лесзака, а теперь — Усть-Усинского рейда. Походкой он напоминал медведя, рыжая лохматая голова была у него немного наклонена вперед, и глазки смотрели тоже по-медвежьи. Но это был романтик. В его избушке, стоявшей на высоких сваях, лежал томик Шекспира.

В начале мая Печора тронулась, и вот однажды ночью Ретюнин вызвал меня к телефону:

— Владимир Васильевич, у нас крайний ряж всплыл!

— Почему?

— Не могу понять. Всплыл, как пробка. Мы эту сторону запани берем на якоря.

— Тросы есть?

— Есть. Утром я позвоню.

Утром он сообщил, что всплыло еще два ряжа. Таким образом, уже три ряжа из двенадцати выбыли из строя. Я забеспокоился:

— Пробраться к вам можно?

— Никакой возможности. Двигается крупный лед.

На следующий день оказалось, что всплыло шесть ряжей. Несмотря на уговоры наших водников, я велел подать катер и решил ехать через Печору. Заключенный моторист, бывший летчик-истребитель, сказал, что лед идет мелкий, можно попробовать.

Вдоль берега тянулась уже широкая полоса чистой воды. Но на середине, где неслась могучая стремнина воды, сплошным потоком шло огромное количество льда. Моторист смело врезался в эту шуршащую массу. Сразу же под катер нырнула довольно большая глыба, подняла его и понесла на себе. Вдвоем мы стали шестами отталкиваться, катер перекосялся и боком плюхнулся в воду. Другая льдина устремилась прямо на катер и окончательно перевернула бы его, но моторист успел повернуть, и мы носом наскочили опять на льдину, но уже небольшую, не способную нести на себе. С нее мы съехали, но тут нас затерло со всех сторон и понесло по течению. Катер трещал, его винт то и дело тормозился льдинами.

Мы изо всех сил пытались расталкивать лед, однако он шел такой плотной массой и было его так много, что выбраться не удавалось. Оба берега были теперь очень далеко. Мы барахтались в потоке льда на самой середине этой страшной реки. По потному лицу моториста я видел, что он решил предпринять последнюю отчаянную попытку. Он дал полный ход и, перескакивая через льдины, кувыряясь то в одну, то в другую сторону, стал наискосок стремнине выбираться к чистой воде. Целый час мы бились в нагромождении шуршащего льда. По-видимому, обшивка катера разодралась, на дне стала скапливаться вода. Не знаю, как выглядел я, но лицо у моториста было бледно-зеленым. Наконец мы все-таки выбрались и быстро по чистой воде пошли к противоположному берегу. Там стоял Ретюнин со своими людьми.

— Мы уж хотели на вырубку идти. Смело вы решились! Ишь, обшивку-то как оборвало. Ладно, что совсем не раздавило. А могло.

Если бы меня тогда спросили, зачем я рисковал жизнью, причем не только своей, но и жизнью моториста, я не сумел бы ответить. Я и теперь не объясню этого как следует. Ведь помочь чем-нибудь я не мог. Просто я, как и большинство моих товарищей, не умел проходить по жизни стороной, хотя нам и давали понять, что жизнь эта — не наша.

Утром следующего дня я вызвал начальника лесного отдела, велел бросить все дела и заняться только креплением запани. Потом сказал давно приговоренную фразу:

— Хорошенько продумайте, чтобы все можно было объяснить, причем не только мне, но и еще кое-кому.

С открытием навигации через Усть-Усу пошли этапы на Воркуту. Уже в начале июля прибыли две первых баржи с рабочей силой. Но по сравнению с моим этапом теперь люди были куда более измучены. Они прошли ежовские тюрьмы, где их обрабатывали молотобойцы. Сроки у всех были от 15 до 25 лет. Конвоировали их не лагерные вохровцы, которые понимали, с кем имеют дело, а воинские части, считавшие, что везут самых опасных преступников. Солдаты никого не выпускали из трюма, целыми днями не давали воды, каждый шум принимали за бунт.

Меня предупреждали о тяжелом состоянии этапов, и я послал на баржи начальника санчасти — вольнонаемную женщину-врача, партийного начальника снабжения и инспектора по режиму. Я велел им составить акт на все, что увидят. Вечером они пришли ко мне. Начальница санчасти была в панике:

— Я такого даже не предполагала. В трюме вместе с живыми семь трупов. Начальник конвоя запретил выносить их — вдруг люди убегут. У живых дистрофический понос. И все это тут же, где спят. Горячей пищи не варили с Архангельска. Все завшивлены. Что же это такое?

Позднее, когда я остался один, пришел заключенный-доктор. Это был профессор Казанского университета Крамов. С ним я был в хороших отношениях. Он сказал:

— До Воркуты помрет еще по крайней мере десяток. А остальные искалечены на всю жизнь. Я вскрывал здесь множество умерших от дистрофических поносов. У них кишечник без слизистой ткани. Она пропадает и больше не восстанавливается. Нормальное пищеварение становится невозможным. Все они будут умирать на Воркуте.

Ночью я отправился на нашу рацию, вызвал начальника лагеря и сообщил ему о состоянии этапа. Он ответил:

— Понял. До свидания.

Истреблялось народу множество. По соседству с Воркутой в то время началось строительство печорской железной дороги. Трасса ее проходила по необитаемым местам, по непроходимой, заболоченной тайге. С чего у нас начинается всякое строительство? Конечно, с завоза людей. Привезли польских солдат, взятых в плен при разделе Польши, который тогда был осуществлен нами совместно с Гитлером. Десятки тысяч их рассовали по трассе, велели рубить лес и строить бараки. Но ассигнования на строительство по какой-то причине вдруг сократили, технические средства, материалы и продовольствие давать перестали, и люди, загнанные в дикие места, начали вымирать.

Целый год их гнали этапами. Они болели цингой и дистрофией. При этом, как бараны, которых гонят на бойню, они не понимали, почему и куда их гонят. На полупонятном языке им кричали: «Шаг вправо, шаг влево — стреляю без предупреждения!» Этим исчерпывались все разъяснения. Они не знали, когда кончится война, когда выпустят из плена, что творится на родине, что с их семьями, что будет дальше. И вот их пригнали в дикий лес, кругом расставили вохровцев и приказали валить деревья. Было холодно, и непрерывно шел дождь. Они разводили костры из сырого ельника. Искры из этих костров щелкали и стреляли, разлетались в стороны и жгли одежду. Хлеба не было, обещали подвезти, когда прорубят просеку. Пока варили баланду из овса. Воду брали из болотных бочажков. Не хватало ложек, не было мисок. Непривычные желудки отказывались переваривать лошадиную пищу. У большинства открылся понос. А жили на сырой земле. Не было даже палаток — из еловых веток делали шалаши. Насквозь мокрые, в непросыхающей одежде, простуженные и ослабевшие люди валялись в этих шалашах на подстилках из еловых веток. Лечить было нечем. Когда наконец неумелыми руками построили бараки, стояла уже суровая зима. Бараки из сырых бревен продувались, как решето. Кирпича для кладки печей не подвезли. Попытались класть печи из дикого камня. Но сил уже не хватало. К голоду и простуде добавилось отчаяние: все равно умирать! И умирали один за другим.

Это тянулось целую длинную зиму. Из лагеря в Москву радировали, писали, докладывали, требовали убрать людей или обеспечить их, но Москва молчала. Наконец, когда наступило лето и большая часть поляков уже вымерла, из НКВД прибыла следственная комиссия во главе с Буяновым и начала искать

виновных. Ими оказались работники лагеря, бывшие заключенные. Всем им, кроме начальника лагеря, дали еще по десять лет.

Почему виновных начали искать лишь после того, как люди вымерли, а не тогда, когда это вымирание только начало угрожать, и почему виновными оказались только бывшие заключенные, которые кричали и писали об этом, а не высшие начальники в НКВД, которым писали, я не знаю. Скорее всего это все-таки закономерность бюрократической системы.

Как только я стал начальником, меня вызвал секретарь окружного партийного комитета. Окружком и окрисполком помещались в большом двухэтажном деревянном доме — весь город был деревянный.

Секретарь Костин принял меня в просторном, хорошо обставленном кабинете. Он был моих лет, складно и интеллигентно разговаривал по-русски, носил модные круглые очки и был одет в хорошо сшитый черный костюм. Это была новая генерация зырянской интеллигенции. Внимательно выслушав, какими делами мы занимаемся, он несколько смущенно улыбнулся, как улыбаются, когда хотят высказать какую-нибудь сокровенную мысль, и сказал:

— Сельское хозяйство у нас, конечно, будет развиваться, несмотря на суровый климат. Но я давно вынашиваю дерзкую мысль... — Он помолчал. — Выращивать в Усть-Усе апельсины. Понимаете, чтобы были свои апельсины! Я рассчитываю на вас.

Наивность этого была не только в том, что никакой дерзости в создании оранжерейного хозяйства не заключалось (оранжереи были даже на Воркуте), но главным образом в том, что в Усть-Усе тогда нельзя было достать даже хлеба. Новый нарком внутренних дел Коми, проезжая через Усть-Усу, вызвал меня и потребовал, чтобы я прикрепил к нашему лагерному ларьку трех усть-усинских уполномоченных. Он сказал: «Ведь они буквально голодают». Никаких «дерзких мыслей» об этом у Костина не возникало.

Лагерь для города был чем-то вроде богатого дядюшки. Исполком постановлял: обязать лагерь провести телефонную линию, обязать построить дорогу, взять шефство над школой и т. д. Отдельные городские чины кланчили то сапоги, то полушубок, то брезентовый плащ, то еще чего-нибудь. Я не отказывал, но и не давал, а они все канючили и канючили, обзывали и обзывали. Я с нетерпением ждал приезда начальника лагеря. С первыми пароходами он должен был возвратиться из московской командировки. Ему легче, чем мне, можно было пресечь все эти вымогательства. В начале июня он приехал вместе с новым главным инженером.

Что представлял собой начальник лагеря? Большой, разбухший, с жирной, мягкой, как у старухи, грудью, но еще красивый мужчина лет сорока пяти с курдюкой шевелюрой, только начинавшей седеть. Он очень тяготился своей еврейской национальностью и заменил не только имя и фамилию, но даже отчество. Звали его Тарханов Леонид Александрович. Всю свою жизнь он обслуживал высокое начальство. Это давало ему возможность заодно с самим начальством пользоваться множеством благ, позволяло требовать, приказывать и ничего не делать. Он по опыту знал, что умение поручать и требовать ценится больше, чем умение делать. Взявшись за огромное и сложное воркутинское хозяйство, он и не думал изучать его или разбираться, как и что делается. Он знал, что в лагере для этого можно найти достаточно специалистов. Его задачей было «руководить», или, как тогда говорили, рукой водить и ждать, когда дадут орден Ленина. Вообще же он был довольно мягким и воспитанным в обращении: не хамил, не ругался, не выдумывал мошеннических комбинаций, любил проявлять доброжелательность. Но Иван Агапыч Панин говорил: «Подальше бы от таких доброжелателей!» Действительно, Тарханов был прежде всего бездельник, и его добрые желания сводились к чистой маниловщине: он если и хотел, то не знал, как их реализовать.

Той весной он возвращался с твердым расчетом на орден Ленина. Состоялось правительственное постановление о развитии Воркутинского угольного бассейна, были выделены десятки миллионов на строительство новых шахт, механических заводов, железнодорожных путей, поселков и прочего. Тарханов говорил:

— Воркута теперь будет такой же стройкой, как Беломорканал, Норильск и другие. Прозябание кончилось. Задание дал сам товарищ Сталин.

Я попросил рассказать.

— Мы пришли к нему с Лаврентием Павловичем. Кроме Сталина, в кабинете был Молотов. Сталин сказал: «Вот чекисты предлагают замечательное дело. Давайте послушаем». Докладчик повесил карту, показал, где будут шахты, как выйти к Северному морскому пути, где пойдет железная дорога на Ленинград, начал показывать реки, через которые будут прокладываться мосты... Сталин перебил: «Вы забыли речку» (я не помню какую, но он назвал). Докладчик стал искать на карте и не нашел. Сталин поднялся и сказал: «У вас плохая карта». Пошел, принес на плече сверток большой карты и нашел эту речку. Вот какой человек! Мы недооцениваем его гениальности. Он все знает.

Чтобы не снижать восторга по поводу того, что Сталин на карте, по которой ему накануне докладывали, запомнил какую-то речку, Тарханов сделал паузу. Потом он обратился ко мне:

— С Барским я распрощался. Он не годится для таких масштабов. Руководить плановой работой придется вам.

Я спросил:

— Почему же не Еракову?

Он поморщился:

— Нет. Нужен молодой человек. Сюда я подобрал начальника. Как только он придет, вылетайте на Воркуту.

Через несколько дней после того как я проводил Тарханова, приехал начальник финансового управления лагеря Мориц Соломонович Капуцевский. Он был в Москве вместе с Тархановым. О московских встречах и решениях он рассказывал уже без пафоса, все ему казалось смешным.

Финансовые дела были в Усть-Усе одной из самых неприятных моих обязанностей. На Воркуте банка не было, и поэтому все расчеты велись в Усть-Усе. Наши отношения с банком были страшно натянутые, воркутинские финансовые планы не выполнялись да и не могли выполняться, потому что отгрузка угля зависела от капризов навигации. Банк все время грозил применить санкции. Я рассказал Капуцевскому о положении дел, он потребовал от главного бухгалтера справку и, когда тот принес, закричал на него:

— Что за ерунду вы тут написали?! — А через минуту поправился: — Ах да, все правильно.

Это была его манера — сначала кричать, а потом разбираться. Вообще же это был умный пожилой человек, но страшно вздорный. В прошлом он был крупным банковским работником, а в годы гражданской войны заместителем министра финансов у Колчака. У Тарханова он считался главным советником. Он поехал в банк и, как рассказывал мне главный бухгалтер, окончательно испортил там наши отношения. Я постарался поскорее отправить его на Воркуту и остался опять один.

В конце июля на смену мне прибыл начальник по фамилии Мартовицкий. Я объехал с ним наши совхозы и, вернувшись, помчался на глассере на Воркуту. Уже начиналась осень. Лиственницы и березы на берегах пожелтели. Река обмелела и лежала в абсолютной тишине, готовясь застыть. Никакого движения на ней не было. Нестись по водной глади было бы очень приятно, но прямо над головой ревел пропеллер, это утомляло.

На Воркуте-вом для меня к угольному поезду прицепили вагончик начальника дороги, и к вечеру я приехал на шахты. Воркута заметно разбогатела. Управление комбината помещалось теперь в хорошо отделанном новом здании, которое в окружающей темноте светилося большими окнами. Вольнонаемных прибавилось. Для них построили несколько жилых домов. В одном из них выделили маленькую, как железнодорожное купе, но отдельную комнату для меня.

Я приступил к работе, но на первых порах не сумел попасть в нужную колею. Дело в том, что Ераков уже полгода был в отпуске, а Барский приучил людей к самостоятельности: никто не нуждался в начальнике и даже не предполагал, что он может вмешиваться в работу. Заключение работники в плановом управлении каждый на своем участке считали себя начальниками. Это были профессора, заместители наркомов, начальники главков, начальник ЦСУ республики и другие. Хотя я знал их всех, но как-то недопонял и их мнения о самих себе, и той оценки, которую они должны были давать мне. Я собрал их и начал рассказывать — что нужно, как нужно, зачем и т. д. Они не мешали мне учить их, но я заметил, что все они при этом избегали встречаться со мной гла-

зами. Относились они ко мне хорошо, но, по-видимому, в моем поведении увидели мальчишество и незрелость. Потом я узнал, что меня назвали «Детка Зубчанинов». И все же то, что они делали, пришлось переделывать. План на 1941 год надо было составлять по-новому.

Со всеми делами на Воркуте шли тогда к главному инженеру. На эту должность Тарханов вместо заболевшего Бунича привез из Москвы Владимира Самойловича Фейтельсона. Для нас это был свой человек. Хотя на Воркуте его записали в партию, дали ему чин майора, а потом подполковника, он оставался все-таки интеллигентным человеком, и лагерный начальник из него не получился. Он и фигурой не походил на отъевшихся, неповоротливых и чванливых начальников. Был он небольшой, крепкий, хорошо тренированный физкультурник лет сорока, с умной круглой головой, с коротко подстриженными рыжими усиками, каких в лагерях обычно не носили.

С ним можно было говорить, рассчитывая на полное понимание. Но, выслушивая наши жалобы на тяжесть лагерной жизни, он останавливал:

— Не преувеличивайте. На вольнонаемных стройках не легче. Те же бараки, те же бушлаты.

— Да где эти вольнонаемные стройки?

— Ну-ну! А Кузнецк?! А Комсомольск?!

— Что касается Комсомольска, то здесь есть несколько человек, которые начали свой срок там, а теперь добивают его здесь. Комсомольцев они видели только в ВОХРе.

— Ну-ну.

— В том-то и дело, что вся тяжесть освоения лежит целиком на заключенных.

— Ну это от нас с вами не зависит.

От разговоров он не уклонялся, но углубляться в такие темы не хотел.

Фейтельсон вместе со мной и Паниным, который в то время был моим помощником по капитальному строительству, намечал основные идеи плана. Поздно вечером мы заходили к нему в большой, ярко освещенный кабинет. Обычно это бывало, когда только что кончалось какое-нибудь совещание. В кабинете стоял густой махорочный дым, валялись окурки. Фейтельсон, полувстав с кресла, спешно кончал что-то записывать, а когда мы входили, вскакивал и быстро направлялся к дверям.

— Садитесь. Я сейчас. Сколько можно терпеть?!

Вернувшись, он садился с нами за длинный стол, покрытый зеленым сукном, и начинал просматривать бумаги.

— Нет, это не пойдет. Наша задача — открыть возможно больше площадок.

— Но денег-то не хватит!

— Дадут. Важно иметь подготовленный фронт.

— Мы разбросаемся и ничего не сделаем.

— А вы думаете, что Сталину докладывали из-за ваших трех шахт? Надо заложить всюду, где подготовлены поля, и вот тогда требовать.

Он быстро соображал и вообще был способным человеком. Но, как и многих других, его интересовало не дело само по себе, а шум, возникающий при выполнении каждого дела. Ему нравилось распоряжаться, решать, спорить, подавлять несогласие, с чисто спортивным нетерпением ждать выполнения и перевыполнения и, наконец, награды. Судьба самого дела интересовала его только в этой связи. Поэтому, как говорил Капуцевский, ревниво и завистливо относившийся к положению Фейтельсона: «Его способности блестили не больше и не дороже, чем блестит новый медный пяточок».

Иван Агапыч Панин терпеть не мог шумихи, подменявшей настоящее дело. Он называл это «обалтываньем». Он хорошо понимал, что план — это не волшебная палочка, которой из ярко освещенных кабинетов можно возводить в беспроглядной темноте тундры новые шахты, заводы и поселки.

Помолчав, подымив сигаркой и все-таки не справившись с раздражением, он говорил:

— Давайте, Владимир Самойлович, кончать обалтыванье. Если вы по-серьезному хотите открывать новые площадки — назначайте людей. План нельзя выдавать прямо в тундру.

В лагере сидело множество специалистов, но все они имели такие статьи, с которыми оперотдел не пропускал их на руководящую работу. Фейтельсон мог быть тем гараном, который в состоянии был пробить эту дурацкую стену. Сначала он побаивался, но потом понял, что если не бороться за людей, то ничего не выйдет. Его требования, хотя и неохотно, но выполнялись. Людей начинали давать. В частности, Ордынский был назначен начальником строительства одной из новых шахт.

Все это вносило живую струю в обстановку на Воркуте. Наш план на 1941 год давал повод для кое-каких надежд.

7

Ровно через пять лет после того как сломалась моя жизнь в Москве, я должен был поехать туда опять. Первый заместитель Берии Чернышев распорядился прислать меня с планами Воркутинского комбината. Вместе с командировкой я оформил шестимесячный отпуск за два года вольнонаемной работы в Заполярье. Я рассчитывал, что это даст мне возможность повидать страну.

Мне заказали хороший полувоенный костюм, в каких тогда ходили работники НКВД, и распорядились выдать с центральной базы два чемодана. Базой заведовал Шкляр — крупный контрабандист, только что отсидевший свою десятку. Он, как и все на Воркуте, уже знал, что я еду в Москву, встретил меня, как именинника, и сам повел на склады.

— Ух, какое у вас тут богатство, товарищ Шкляр!

— Разве это богатство? Видели бы вы мои складки на границе. То было богатство. С него можно было кормить погранзаставу — и нашу, и польскую!

Он выбрал мне чемоданы и сказал:

— В Москве живет мой братик, пошивает модельные туфельки. Не откажите отвезти ему сверточек.

Это было только началом. Потом мои наиболее близкие товарищи-заключенные, смущенно улыбаясь, потихоньку, чтобы никто не видел, начали совать мне письма с просьбой передать родным. В лагерной обстановке передача писем считалась одним из тягчайших преступлений. У меня работал агроном, служивший до того по вольному найму. Особое совещание дало ему пять лет за такую передачу. Я, конечно, поживался, но не брать не мог. Мне казалось, что три-четыре письма сумею спрятать и никто не узнает. Но письма стали приносить и менее близкие заключенные. Многие несли письма не только свои, но и своих друзей, которых я в глаза не видел. Весь лагерь знал, что в Москву едет один из своих, и все хотели воспользоваться таким прорывом лагерных границ. Каждый считал, что уж его-то письмецо я не откажусь отвезти. Вскоре мне пришлось махнуть рукой на всякую осторожность, и я бросал и бросал письма прямо в чемодан. Половина его заполнилась этой почтой. Будь что будет!

Перед упаковкой я понес планы начальнику лагеря на подпись. Он спрашивал, где подписать, и подмахивал, но вдруг обратил внимание на мою подпись и против наименования моей должности всюду стал приписывать «врио». Только тут я, как говорилась в лагере, «догнал», что для внешнего мира начальником я быть не мог.

Сидя около Тарханова, я вспомнил, что как-то под расписку нам давали читать приказ, категорически запрещающий самим возить секретные документы. За провоз их виновные без суда должны были получать пять лет заключения. Наши планы считались совершенно секретными. Их надо было посылать фельдъегерской почтой. Я спросил Тарханова: как быть? Продолжая размашисто расписываться, он вздохнул:

— Знаете, фельдъегерская связь — очень удобный способ посылать за смертью. Если бы наш план был не на сорок первый, а на пятьдесят первый год, я не возражал бы ею воспользоваться.

— А если узнают?

— Надо, чтобы не узнали. — Он продолжал расписываться. — Пока вы будете в самолете — никто не узнает. А в Архангельске сдайте нашему представителю. Там фельдъегеря ездят каждый день. — Помолчав, он положил ручку, посмотрел на меня и сказал: — В Архангельске постарайтесь очиститься от всего. Вы поняли? От всего.

Планы заняли у меня целый чемодан. Другой заполнился разными оленьими рукавичками, детскими малицами и другими заполярными сувенирами, которые наши вольнонаемные просили отвезти родным. В этом же чемодане я вез письма. Шкляр приволок «сверточек» размером больше чемодана. Тарханов тоже дал огромную посылку. К счастью, своих вещей у меня почти не было.

В ночь на 5 марта я уже не мог уснуть, еще до рассвета вызвал лошадь и выехал на аэродром. Это была расчищенная на реке площадка, на которой стояли два маленьких самолета. Я затащил в избушку коменданта свои чемоданы, сверточки и посылки и спросил, когда полетим.

— Усть-Уса еще не дает погоды.

Надо было ждать. Мое тревожно-нервное состояние усиливалось этим ожиданием. Что, если придет уполномоченный и предложит открыть чемоданы?

Комендант несколько раз звонил на радию, но погоды не было. Я начал звонить Тарханову. Он сказал, что сам спрашивал, однако связи с Усть-Усой нет. День проходил. Я боялся отойти от чемоданов, жевал припасенные на всякий случай бутерброды и не то от мороза, не то от тревожного возбуждения нервно дрожал.

Пришел летчик. На воле он был летчиком-испытателем, но за своих родственников, живущих в Польше, получил срок, а потом остался на Воркуте. Он сказал, что, если даже дадут погоду, все равно лететь поздно. Я продрожал целый день зря, а теперь предстояло и всю ночь ждать, что вот придут и начнут проверять чемоданы.

Но наступило утро, из Усть-Усы передали погоду, мои чемоданы засунули в брюхо фанерного самолетика, и мы втроем, с летчиком и бортмехаником, полетели. Когда самолет набирал высоту, разворачивался над Воркутой, мы сверху увидели наклонившиеся как бы напоказ черные курящиеся отвалы, запорошенные угольной пылью сугробы, маленькие, занесенные снегом домики из свежего леса, желтевшего на солнце, длинные нитки железнодорожных путей с дымками паровозов — весь наш маленький живой и суеливый оазис. А потом пошла мертвая снежная пустыня, в которой время от времени попадались только четырехугольники огороженных колючей проволокой лагпунктов.

В Усть-Усе меня перегрузили на маленький самолет Аэрофлота, и я полетел вдоль Печоры. Под нами лежала широкая застывшая река, на которой местами чернели страшные полыньи. Когда самолет смещался в сторону от реки, мы оказывались над бесконечным лесным морем. В нем не было ни дорог, ни просек, ни избушек. Если бы пришлось сесть где-нибудь, наверное, так и не выбрались бы никогда!

Погода стояла ясная, небо было прозрачно-голубым, и маленькие зеленые сосны внизу отбрасывали тоже голубые тени. Часа через два я ощутил, что меня словно вытряхивают из самолета, и схватился за кресло. Летчик сделал разворот, и мы сели в Усть-Цильме. Когда пропеллер перестал реветь и меня выпустили на ослепительно белевший на солнце снег, я увидел, что наш летчик, скинув шлем, с непокрытой лохматой головой отчаянно ругается с комендантом аэродрома. Оба ожесточенно матерились, в чем дело — понять было невозможно. Наконец в их руготне стали прорываться человеческие слова. Летчик кричал:

— Вынь глаза из задницы... твою мать, посмотри на небо. Ты где нелетную видишь?!

Но комендант не уступал:

— Я, мать-перемать, тебе сейчас летную сделаю! Ты из Аэрофлота улетишь и маршрут навсегда забудешь.

Оказывается, Цильма радировала, что надвигается буря, а мы прилетели и сели. Вскоре выяснилось, что радиограмма ушла два часа назад, а вылетели мы на пятнадцать минут раньше. Ругаться было нечего.

Но лететь дальше оказалось невозможно: Архангельск не принимал. Мне выбросили мои вещи, и я поволок их в дощатый сарайчик, служивший камерой хранения. Уже начинало продувать. Я нашел избу, оборудованную для отдыха летчиков и ночевки пассажиров. Как большинство печорских изб, она была в два этажа. Жилые комнаты с крашеными полами помещались наверху. Из-за

ситцевой занавески выглянула сторожиха с ребенком на руках и еще с двумя белоглазыми ребятишками, жавшимися к ее подолу. Она сказала:

— Койки-то все свободны. Ложитесь, где понравится.

В полудреме я пролежал до вечера, потом пошел ужинать. На улицах мела настоящая пурга. Она с посвистом бросала в лицо колючий снег и не давала ничего разглядеть. Когда я вернулся, на соседних койках оказались два летчика, застрывшие в Цильме из-за непогоды.

На следующий день пурга усилилась. По улицам змеями неслись вихри снега, но я все-таки пошел посмотреть город. Он был такой же, как все старые печорские поселки: большие черные широколобые избы в шесть окон с белыми наличниками и оленьими рогами на коньке, пустые дворы — ни садов, ни огородов, ни деревьев. Недалеко от бывшей церкви в сугробах торчали почерневшие резные кресты. Целую неделю я переживал пургу. Наконец она затихла и Архангельск позволил вылететь.

Все на том же маленьком самолетике мы полетели опять над сосновыми лесами. Светило солнце. Но за полчаса до Архангельска бортмеханик рукой показал туда, где должно было начинаться море. Над самым горизонтом там появилась еле заметная белая полоска. Она быстро стала нарастать, превратилась в белый вал, который стремительно накатывался на нас. Через какие-нибудь десять минут все небо оказалось покрытым сплошной серой пеленой, а нас со страшной силой стало кидать из стороны в сторону. Летчик пошел на снижение, и теперь мы летели над самыми деревьями, которые от вихря раскачивались и гнулись. Наш фанерный самолетик несло по ветру и бросало, как ворону, попавшую в бурю. Но мы уж подлетали к Архангельску и вскоре приземлились на аэродроме.

Вот и Большая земля! Прямо из тундры я шагнул на широкие улицы настоящего города.

Ожидая машину у подъезда аэровокзала, я вслушивался в приглушенный городской гул, в эту давно забытую музыку, в которой сливались гудки автомобилей и звонки трамваев, непрерывное шуршание колес и полозьев по заснеженным улицам и шум толпы. Это были голоса настоящей большой жизни.

Через полчаса за мной приехала машина, а в ней — наш бывший заключенный, проживший с нами несколько лет, молодой инженер Заславский. Теперь он работал в архангельском представительстве (хотя, конечно, числился проживающим на Воркуте). Мы долго трясли друг другу руки.

По дороге я попросил остановиться у почтового ящика и, предоставив Заславскому остроумничать и смеяться, стал засовывать привезенные письма. Одного ящика оказалось мало. Мы остановились еще у следующего, и только тогда я сумел «очиститься», как рекомендовал мне Тарханов. Рано утром в мягком купе скорого поезда я поехал в Москву.

Зима уже была на исходе. По размытым дорогам буксовали и застревали грузовики. Избушки почернели и насупились. Станции и вокзалы повсюду были старые. Но на перронах поддерживался строгий порядок, которого раньше не было. Толпа в заплатанных телогрейках и порыжевших кирзовых сапогах, с деревянными сундучками и котомками толкалась на привокзальных площадях, а в вокзалы ее не пускали, чтобы не нарушался порядок.

Выйдя на одной из больших станций, на перроне я вдруг увидел... жандарма. Это было настолько неожиданно, что в первый момент я подумал: не загримирован ли он для киноъемок? Но от дореволюционных жандармов он отличался тем, что на его здоровой бритой морде не было усов, а на плечах — красных крученых погон. В остальном все было точно, как в мои детские годы: добротный синий мундир, напущенные на сапоги широкие штаны с выпушкой, револьвер на красном шнурке, фуражка с красным околышем. Так оформили железнодорожную охрану НКВД.

В Москву поезд приходил вечером. За много километров от Москвы на всем пути следования поезда соблюдалось затемнение, огни нигде не горели. Московский перрон еле освещался синими фонарями. Война шла на западе Европы, с Гитлером договорились — чего же боялись здесь?!

По темной Комсомольской площади неслись автомобили с малозаметными синими огоньками. Вель поток машин пел какую-то одну арию. Вместо прежней разноголосицы густых и сиплых, резких и протяжных гудков все гудели одинаково мелодично. Но во мне это не вызвало ответной песни. В отличие

от той радости, с которой я сделал свой первый шаг на Большой земле в Архангельске, в Москве я начал испытывать тревогу.

Я взял такси и по темным улицам поехал не домой, а к Груздевым. Мне были рады, но не больше, чем гостю. Кому я был нужен?!

Позвонили маме, и минут через сорок приехала высохшая и сгорбившаяся старушка. Вся трясаясь и дрожа, она с плачем бросилась ко мне:

— Родной мой! Дождалась тебя! Володенька мой!

— Чего ж ты плачешь? Ведь это действительно я. Не надо плакать. Видишь — я цел и невредим.

— Один ты у меня теперь. Золото мое...

На другой день рано утром я отправился на Петровку: чтобы оставаться с моим паспортом в Москве, требовалось разрешение городской милиции. Я спустился в метро и доехал до Охотного ряда. Было как раз то утреннее время, когда народ спешил на работу. Против станции метро за высоким забором строилось грандиозное многоэтажное здание для Госплана. К воротам подъехало несколько грузовиков с рабочими, одетыми в бушлаты. Ворота открыла воинская охрана. Очевидно, и здесь строили заключенные. По тротуарам сплошной толпой двигались служащие. Никогда я еще не видел такого количества чиновничьих мундиров. Оказывается, в государственных ведомствах горной промышленности, юстиции, иностранных дел, путей сообщения и других была введена форма по дореволюционному образцу: на всех были шинели со светлыми пуговицами и петлицами и фуражки с кокардами. Некоторые женщины тоже были в шинелях. Около Большого театра я впервые увидел генерала. На нем была шинель с красными отворотами, как у царских генералов, и с немецким бархатным воротником. Прямой и строгий, с подстриженными седыми усами, он шел так, будто на тротуаре никого, кроме него, не было, все уступали ему дорогу. Но вот он остановился. Навстречу шел молоденький лейтенант с женой и на руках нес ребенка. Руки у него были заняты, и отковырнуть он не смог. Генерал спросил у него фамилию и приказал:

— Отдайте ребенка жене и сейчас же отправляйтесь в комендатуру! Скажите, что я дал вам...— Я не расслышал, сколько суток ареста дал он лейтенанту.

В управлении милиции у начальника паспортного стола была такая очередь, что надеяться попасть к нему я не мог. Люди стояли по нескольку дней. Я пошел к дежурному по управлению. Там народу было немного, и часам к двенадцати меня приняли. Положив перед дежурным письмо Чернышева, который являлся высшим начальником не только для меня, но и для всей милиции, я попросил на время командировки прописать меня в Москву. Дежурный майор посмотрел мой паспорт и сказал:

— Нет. Прописать вас мы не можем.

— Но ведь я не сам приехал. Меня вызвал Чернышев.

Дежурный улыбнулся:

— Но распоряжения вас прописать он не давал.

— А разве неясно, что, если дается распоряжение приехать в Москву, значит, разрешается и жить в Москве?!

— Нет, это неясно.— Он открыл стол, достал какой-то печатный бланк, вписал в него мою фамилию и сказал: — Распишитесь.

В бланке было сказано, что я обязуюсь в 24 часа покинуть Москву.

— А если я не распишусь?

— Мы вышлем вас по этапу.

Я расписался. Очевидно, Большая земля, на которую я прибыл, была большой только в географическом смысле, а людям по ней приходилось ходить с осторожностью и по очень узеньким тропинкам.

В Главном управлении лагерей горной промышленности меня давно ждали. Моя задержка в Цильме срывала составление сводного плана, и все нервничали. Но я заявил, что уезжаю сегодня же, и рассказал, в чем дело. Для главка мой отъезд был бы катастрофой, все морщились и ахали, однако идти к Чернышеву и хлопотать за контрреволюционера никто не хотел. Наконец заместитель начальника решил. Чернышева, конечно, не оказалось, он должен был приехать на работу только ночью, и поэтому рапорт относительно меня пришлось оставить у секретаря.

Ночевать я поехал опять к Груздевым. Рано утром примчалась мама и рассказала, что часа в два ночи явился дворник с участковым. В нашем доме было хорошо известно, что означало появление дворника и милиции среди ночи, и поэтому все ужасно перепугались. Участковый спросил меня. Ему сказали, что меня нет и не было. Другого ответа он, наверное, и не ожидал.

— Ну так передайте ему, что пришло приказание его прописать.

Такова была строгость установившихся в стране порядков. Как только Чернышев приказал меня прописать, его распоряжение было сразу передано в соответствующее отделение милиции, а там не посмели отложить исполнение до утра — пошли сообщать среди ночи.

Я поехал домой. Все комнаты были заняты чужой семьей. У жены, кроме моей Катьки, была еще дочка от нового мужа. Я обосновался с мамой в ее комнате. Катька выросла. Ей было уже шесть лет, и эта независимая девочка знала, что я ее папа. К моему приезду она отнеслась как к само собой разумеющемуся делу и не проявила никакого удивления.

Вечером с работы пришла жена. Из своей комнаты она услышала, что я приехал, вышла, протянула обе руки и, улыбаясь, поздоровалась:

— Володенька, здравствуй. Ты все такой же...

И она была все такая же. Но между нами стояла стеклянная преграда. Мы все видели и понимали, однако подойти друг к другу не могли. Никто из нас не решился разбить стекло...

В Москве я прожил до середины апреля. К этому времени я кончил свои дела и, хотя было еще очень холодно, поехал в Крым. У меня была путевка в санаторий НКВД в Мисхоре. Я думал, что тепло начнется уже на Украине. Но весна в тот год задержалась, размытые в раннюю оттепель черные дороги всюду замерзли, на станциях дул жесткий, холодный ветер.

На одной из больших остановок я вышел на привокзальную площадь, где кучками толпились бабы и дядьки, воровато предлагавшие творог, жареных кур и еще какие-то продукты. Я подошел к одному из дядек и попытался поговорить:

— Тепла-то и у вас еще нет?

Он посмотрел на меня колючими глазами и сказал:

— Нэ разумию.

Я удивился:

— Русского не понимаешь?

На это он по-русски ответил:

— А на хрена он мне нужен?

Это была для меня первая встреча с представителем одного из народов, населявших наше многонациональное отечество.

В Симферополе стоял тот же холод. На перевале, после которого начинался спуск к Южному берегу, лежал и медленно таял снег, из-под которого с мелодичным лепетом текли ручейки. Внизу, у моря, торчали совершенно голые виноградные коряги и только-только начинали зацветать сады. В течение ближайшей недели они зацвели. Я впервые был в цветущем Крыму, обычно приходилось видеть его засохшим, выгоревшим и пыльным. В парках деревья сплошь покрылись розовыми цветами. В фруктовых садах на фоне синих гор с еще не растаявшим снегом зацвели яблони, груши и абрикосы. Я ходил, останавливаясь у деревьев и, не сдерживаясь, радовался детски-наивной прелести белых цветов.

Но вот однажды, когда я шел по тропинке между садами и виноградниками, меня окликнули. Ко мне подошли трое молодых хорошо одетых татар.

— Кто вам разрешил ходить по колхозным полям?

— Но я иду по тропе!

— Вам отвели территорию около ваших домов отдыха, там и гуляйте. Не смейте ходить по чужой земле!

Спорить было, по-видимому, нельзя. Я пошел обратно. Вдогонку мне крикнули:

— Разгуливают, как дома! Сели всем на шею. Паразиты!

Неприятное отношение молодых татар проявлялось всюду, хотя старики были приветливы, как прежде.

В моем санатории отдыхали только офицеры. Они сторонились меня, а я не находил ничего общего с ними. Лишь недели через две я немного сблизился

с капитаном инженерных войск, который заметно отличался от остальных. Он мне разъяснил:

— Офицер во всем санатории один-единственный — я. Мне в порядке исключения, после очень тяжелой болезни, дали отдохнуть. А вообще отпуска в армии прекращены: со дня на день ждут войны. А это — оперуполномоченные. Им-то что?!

Итак, я на близком расстоянии смог наблюдать хозяев моей судьбы. Сразу бросалось в глаза, что они всего боятся. Они боялись, что любое сказанное ими слово может быть истолковано их же товарищами так, что станет предметом доноса. Тем более они боялись знакомств. В палатах, где жило по пять-шесть человек, все молчали. Сходиться с кем-нибудь вне санатория никто не решался. Боялись, как бы не стало известным, где они работают, в чем заключается их работа, кто у них начальник, боялись даже называть свою фамилию. Они боялись людей, будучи уверены, что отношение к ним должно быть враждебным. Но больше всего они боялись своих начальников: было видно, что если начальник прикажет кому-нибудь из них вести машину прямо под откос или велит убивать друг друга, они из собачьего страха не смогут не сделать этого.

Второе, чем они отличались, — это то, что все окружающие для них были прямыми или возможными нарушителями. Как-то вечером я возвращался с гор. В руках у меня был фотоаппарат. Навстречу мне шел мой сосед по комнате. Он остановился, осуждающе посмотрел на аппарат и спросил:

— Все снимаете?

— Да.

— А что вы снимаете?

— Что придется. Кусты, камни, горы.

— Интересно, кто мог вам это разрешить?

— Разве нужно разрешение?

— А как же? А то наснимают!

С другим таким же Пришибеевым я как-то проходил мимо кинотеатра. В ожидании сеанса на улице толпился народ. Мой обычно молчаливый спутник не мог скрыть возмущения:

— Взяли билеты, ну и сядились бы на места! А они стоят толпой и неизвестно что думают. И у общественности не хватает сознания, чтобы с этим бороться!

Третья характерная их черта заключалась в том, что они, как и чеховский Пришибеев, противопоставляли себя всему «простому» народу, считали себя особой кастой («работники органов») и требовали особых, только им присущих привилегий: чтоб их кормили лучше и одевали лучше и чтоб санаторий был самый лучший... Такова была эта опричнина.

Я протерпел здесь месяц, а потом купил путевку в соседний санаторий Академии наук. Он помещался в знаменитой панинской Гаспре, где сорок лет назад отдыхал Лев Толстой. В Гаспре я оказался опять с теми, с кем привык общаться в лагере. Эти были самостоятельно мыслящие образованные люди, способные все оценивать по-своему. Но в лагерных бараках они выражали свои мнения посвободней. Тут, живя семейными парами, они сдерживались и замыкались.

Той весной в Гаспре отдыхало несколько известных людей. Со своей молодой женой отдыхал академик Абрам Федорович Иоффе — рослый малоразговорчивый старик с совершенно белыми усами и внимательным, понимающим взглядом. Другой известностью был композитор Шостакович. Ему тогда было лет тридцать пять, но он, как мальчик переходного возраста, всего стеснялся — и когда его узнавали и шептали: «Шостакович, Шостакович», и когда за обедом спрашивали, какой подать суп, и при каждом разговоре. С ним была жена, совсем юная, смешливая, как девочка, стриженная «а-ля тифозный мальчик» рыженькая женщина. Потом приехал драматург Ромашов с могучей, гвардейского склада женой. Недолго прожили академик Лина Штерн, академик Тюменев и другие. Каждый был особенный и каждый был интересен. Но я всех боялся: а вдруг спросят, откуда и кто я?

В первых числах июня всех поразила высадка Гесса в Англии. Никому не хотелось войны, всем было хорошо, цвели сады, и никого не трогало, что где-то далеко была растоптанная Франция и по ночам бомбили Британские острова. Но когда Гесс на парашюте спустился прямо на острова, людей охватило

беспокойство. Как-то после чая я увязался гулять с небольшой группой, которая собралась вокруг Иоффе. Я вслушивался в малопонятные для меня разговоры, касавшиеся теоретической физики, потом поотстал и оказался рядом с толстым профессором, не поспевавшим за остальными. Он сказал:

— Завтра уезжаю.

— Вы же только недавно приехали.

— Нельзя оставаться. Я уж и билет купил. Начнется война, не выберешься.

— С чего вы взяли?

— А думаете, Гесс зря спустился в Англию? Теперь они обязательно сговорятся. За наш счет.

— Но вы же читали, что пишут?

— Важно не то, что пишут, а почему пишут. Я, еще когда сюда ехал, видел, что на Запад гонят и гонят танки, эшелоны с войсками, самолеты и пушки. Это же не зря...

Но мне не хотелось верить в возможность войны. Только 14 июня, когда кончилась путевка, на одном из появившихся тогда американских самолетов «Дуглас» я полетел в Москву. Самолет прилетел вечером. Город был бутафорски затемнен: его огни были как бы закрыты черной, но недостаточно плотной тканью, сквозь которую они тускло просвечивали. Я подумал: если действительно ожидается война, то хоть затемнились бы по-настоящему!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Отец говорил: если совершил недостойный, позорный поступок, сколько бы потом ни молился, сделанного назад не воротишь.

Расул Гамзатов

1

Москва жила еще своей обычной жизнью.

Богатых людей, которые могли пользоваться дорогими благами, тогда было немного, и поэтому для меня с моими заполярными деньгами все было доступно. На другой же день по возвращении из Крыма я купил билет на пароход и поехал по «маршруту пяти рек».

Погода стояла холодная. Промерзнув первую ночь в своей отдельной каюте, я, преодолевая дрожь, утром вышел на палубу. Наш пароход стоял прямо на лугу: так высоко был поднят в стареньком шлюзе, настолько узком, что бревенчатые его стенки с палубы не были видны: создавалось впечатление, что пароход выехал на зеленую, покрытую весенними цветами траву.

Пройдя шлюзы, мы поплыли мимо покрытых вишневыми садами высоких берегов, выехали на просторную гладь Оки, протекавшей среди отлогих поим и песчаных отмелей, а в Горьком вошли в широкий, мощный поток Волги.

Какая просторная страна спокойно лежала по берегам!

После Горького все чаще начали встречаться скуластые черноглазые лица. Где-то недалеко от Чебоксар на пристани толпилось множество чувашек в белых полотняных сарафанах и черных онучах. На Белой появились башкиры в таких же шляпах и халатах, в каких ходили при Пугачеве.

Здесь мне пришлось опять наблюдать болезненную вспышку ущемленного национального самозлюбия. За мой столик к обеду сел башкир с депутатским флажком на лацкане пиджака. Обеды на пароходе были скверные. Бывало, в детстве отец возил нас иногда на пароход, как в лучший ресторан,— угостить паровой стерлядь. Теперь никакой рыбы не было. Кормили соленой свиной. Башкир позвал официантку:

— Кроме свинины, что есть?

Официантка пожалала плечами: читайте, написано.

— Позовите заведующего.

Пришел главный повар в белом колпаке.

— Мы по какой стране едем?

Повар усмехнулся:

— Надо думать, по Советскому Союзу.

— По автономной Башкирской республике. Башкир свинью не ест. Почему не уважаете национальную особенность?

— Мне что дают, то и готовлю. Сам покупать не имею права.

— А тому, кто дает, национальная особенность наплевать? Дай жалобная книга!

На другой день все смешалось.

После обеда я прилег отдохнуть. Вдруг в мое окно изо всех сил застучали. Пассажир из соседней каюты кричал:

— Владимир Васильевич! Война! Вставайте!

Я подумал: опять какой-нибудь вздор, повернулся и хотел заснуть. Но заснуть не смог, вышел и уже сам услышал речь Молотова о нападении немцев.

Это оглушило меня, как удар по голове. Что будет? Разруха, голод. Опять смерти и смерти. В который раз! Опять посадят...

Совинформбюро передало, что немцы уже бомбят далеко отстоящие от границы города. Эти сообщения сопровождались бравадными маршами и воинственными песнями. Немного позднее Информбюро сообщило о направлении боев. Было видно, что немцы, не задерживаясь на границе, врзались в страну. Опять победно заиграли марши.

Ужин в тот день на пароходе не готовили. Утром на ближайшей пристани на призывной пункт ушло несколько человек из команды, в том числе помощник капитана и механик. В нашем коридоре голосила уборщица. Пассажиры побежали к капитану: поедем ли дальше? Вернемся ли в Москву? Ворчливый старик капитан в полной растерянности огрызался:

— Я-то почему знаю?! Как прикажут.

На другой день нашему капитану взамен призванных прислали несколько мальчишек. Капитан сердито ворчал:

— Этих пока обучишь, и их, и себя умучишь.

Но ему приказали вести пароход обратно в Москву. Я остался в своей каюте. На обратном пути мы долго стояли в Казани. У всех причалов сгрудилось множество пароходов. Никто не знал, какой, когда и куда пойдет. От строгих порядков не осталось и следа. Царили всеобщая растерянность и неразбериха. Из газет стало известно, что начали бомбить Москву. Я не знал, куда деваться, и, поколебавшись, послал телеграмму маме, чтобы она выезжала в Муром к своей сестре, сам тоже решил выйти там.

В напряженной тревоге по тихой Оке подплывали к Мурому. Мама не приехала. От нее была только телеграмма о том, что мне с Воркуты пришло приказание прервать отпуск и немедленно вернуться. Я начал добиваться телефонного разговора, но связь с Москвой не работала. Наутро от мамы пришла вторая телеграмма: оказывается, выехать из Москвы не было никакой возможности.

Ждать я не мог. Надо было ехать на Воркуту. Однако выехать из Мурома тоже было невозможно. В квартире у моей тетки жил железнодорожный рабочий, который в тот день отдыхал. Он обещал устроить меня на пригородный поезд. Мы пошли с ним на станцию. Все репродукторы передавали речь Сталина. Железнодорожник сердито хмыкнул:

— Заговорил... Сестрами и братьями, видишь, ему стали... — И он, не оглянувшись на меня, выматерился.

В поезде моим соседом оказался пожилой рабочий. От него несло только что выпитой водкой. Он вздыхал, наверное, нуждаясь в собеседнике. Я отвернулся к окну. Но он дотронулся до моего колена, наклонился и, обдавая меня винным запахом, с виноватой улыбкой начал:

— Три поллитра выпил. И вот видишь — не пьян... Хотел забыться — и не берет. Двух сынов убили... — На глазах у него проступили слезы. — Ведь по ходу как траву косит. Вот скажи, что это — опять измена? А почему у него измены нет? Или все не тех сажали? С кого мне теперь за моих сынов спросить?

Наступила ночь. Я перешел с одного пригородного поезда на другой и так пробирался в Горький. Все станции были затемнены. Люди сидели около вокзалов в крошечной темноте, не решаясь ни курить, ни даже громко разговаривать. Темнота усиливала состояние общей тревоги и подавленности. В

Горьком вся привокзальная площадь была запружена народом. Все хотели куда-то ехать. Но, когда я продрался к билетным кассам, вдруг объявили, что в Кировском направлении пойдет дополнительный поезд. Я получил билет и поехал.

Поезд вез главным образом лагерных работников, возвращавшихся из прерванных отпусков. Было несколько начальников в синей лагерной форме, были вохровские оперативники с семьями, преимущественно же ехали вольнонаемные из бывших заключенных, впервые выбравшиеся после освобождения в отпуск, а теперь вызванные обратно.

В соседнем купе подвыпивший оперативник начал привязываться к соседу, в котором угадывался бывший заключенный. Он в упор смотрел на него пьяными глазами и твердил:

— Я тебя знаю!.. Я тебя знаю — кто ты есть!

На первой же станции он буркнул: «Сейчас разберемся», — и вышел.

Он вернулся, когда поезд уже тронулся, молчал, был явно смущен и зол. Форменная фуражка была у него спрятана под мышкой. Оказывается, он ходил к оперуполномоченному и нигде его не нашел. Желая с пьяным упорством все же добиться ареста своего соседа, он пошел к военному коменданту. Тот выслушал, все понял и, вместо того чтобы пойти за подозреваемым пассажиром, потребовал у оперативника воинскую книжку. Никакой воинской книжки у него, конечно, не было. Тогда комендант строго спросил, по какому праву он носит военную форму.

— Я работник лагерей.

— Такого рода войск я не знаю. Снимите звезду с фуражки. И, чтобы как дезертира не арестовали, на первом же призывном явитесь. Все. Кругом марш!

Очевидно, появилась надежда на то, что война должна вызвать примирение с населением, и комендант, который еще вчера был инженером или агрономом, уже решил излить на полупьяного оперативника накопившуюся неприязнь к НКВД. Но большинство в нашем поезде ни на что не надеялось и ехало на Север со скрытым страхом и тревогой.

Где-то недалеко от Кирова нам встретился идущий на фронт только что сформированный на Урале воинский эшелон. Из пассажирских вагонов высыпала куча командиров в новеньких солдатских гимнастерках с недавно привинченными к петлицам кубиками и шпалами, в необношенных, блестящих, как из магазина, кирзовых сапогах. Все они выглядели очень воинственно, на них были стальные каски, на животах поскрипывали новые ремни. Они громко и возбужденно кричали, чувствуя мальчишеское превосходство перед всеми, потому что на них были навешаны пистолеты, планшеты, бинокли. Старший из них обернулся к остальным и с подчеркнутой официальностью прокричал:

— Комроты два! Останетесь! Отвечаете за порядок.

Он кивнул в сторону теплушек, в дверях которых толпились солдаты в пилотках. За ним побежал молоденький командир с двумя кубиками и что-то стал ему говорить. Я расслышал только «я думаю»... Старший с уверенностью старого рубаки громко, чтобы все слышали, отрезал:

— Думать нам не приказано. Нам приказано воевать.

В Киров мы приехали на рассвете. В воздухе после ночного дождя висел туман. На мокрой платформе не было никого. Я прошел в самый конец нашего поезда. На всех путях за ним стояли молчаливые санитарные поезда. Ночью их пригнали прямо с фронта. К одному из них подошла грузовая машина. Сквозь туман я видел, как двое солдат в грязных белых халатах вынесли из вагона носилки, покрытые одеялом, и сбросили что-то в грузовик. С пустыми носилками и скомканным одеялом они ушли обратно. Вскоре носилки опять вынесли. Шла выгрузка накопившихся за ночь трупов.

Поездом тогда доезжали только до Усть-Усы. В Усть-Усе надо было идти к реке и пересаживаться на пароход. По пути на пристань в перелеске мне встретились два оперативника. Они пропустили меня, потом, по-видимому, в чем-то все-таки заподозрили и окликнули. Я даже не понял, что это относится ко мне. Они кричали: «Не слышишь? Стой!» Я остановился.

— Документы!

Я подал паспорт. Они внимательно его просмотрели, достали какой-то список, сверились с ним, подумали, но паспорт вернули. Я понял, что нас ловят. На пристани я узнал, что освобождать заключенных прекратили, тех же, кто в

июне успел освободиться, оперативники хватают по всем дорогам и этапами отправляют обратно в лагерь. Пароход дополз по обмелевшей реке только до Абези. Дальше пришлось добираться попутным катером, а на последнем участке идти пешком. Наконец, на платформе угольного порожняка я приехал на Воркуту.

Да, не так приезжал я сюда год назад! Теперь мне не только не приготовили комнату, но даже в общежитии я с трудом нашел койку, чтобы переночевать. Явившись на другой день в управление, я убедился, что отношение к заключенным и бывшим заключенным полностью изменилось. Тарханов поговорил со мной несколько минут и даже не стал для этого отрывать от текущих дел и от разговоров с другими посетителями. В некоторых отделах начальниками уже были назначены новые люди, эвакуировавшиеся на Воркуту и тем самым избежавшие фронта партийцы из Донбасса. У меня в отделе, за столами Еракова и Панина, еще не вернувшихся из отпуска, сидели такие же донбасовцы.

Через пару дней Тарханов вызвал меня, предложил сесть, помолчал, потом встал из-за стола, отошел к окну, поводит пальцем по запотевшим стеклам и, наконец, сказал:

— Вы умный человек, и я прошу понять мое положение. Вам известно, какая сейчас обстановка? От меня требуют бдительности и бдительности. А что это значит, не мне вам рассказывать. Все они тычут пальцами, что на ключевых должностях у меня сидят... — Он остановился, подбирая выражение. — Сидят не члены партии... Вы для меня были и останетесь начальником отдела. Но официально придется назначить этого, как его, Озерова из Донбасса. Он как будто невредный. Он не станет вам мешать. Но считаться вы будете его заместителем.

Пока Тарханов, подбирая слова, медленно говорил, у меня было время подумать. Меня беспокоило не изменение в названии моей должности, а то, что это было развитием настояренных, враждебных отношений, начавшихся с ловли бывших заключенных в Усть-Усе. Что будет дальше? Начнут сажать? Если да, то начальников, может быть, не станут сажать? Я сказал:

— А не лучше ли Озерова назначить моим заместителем? Ведь присматривать за мной было бы тогда удобней.

— Я предлагал. Их это не устраивает.

— Ну что же, Леонид Александрович. Вы знаете, что деваться мне некуда?

Он подошел ко мне.

— Мне не хотелось бы, чтобы у вас оставался горький осадок. Все, кроме названия, будет по-прежнему.

Мое положение действительно не изменилось. Но общая обстановка становилась все хуже и хуже. В лагере нарастал гнет тупой бдительности и бессмысленных жестокостей. Некоторых эков, имевших в своих приговорах высшую меру наказания, замененную заключением, расстреляли. Бывших заключенных, уже работавших по вольному найму, начали сажать за «контрреволюционную агитацию». Всех, у кого среди прочего вздора было записано участие в террористических организациях, шпионаж, диверсии и т. п., согнали в специальные бригады. Их разрешалось использовать теперь только на самых тяжелых работах, под усиленным конвоем. В эти бригады попало много специалистов, в том числе и Николай Иванович Ордынский.

Об Ордынском я стал просить Тарханова, но он сказал: «Надо повременить». Тогда я сам пошел к начальнику оперотдела. Я начал его убеждать:

— Ведь Ордынский — безобидный человек. Уверяю вас, что от него нет никакого вреда.

— А я разве не знаю?

— Ну так в чем же дело?

— Вы думаете, меня не проверяют? Есть указание, я не могу его не выполнять.

Никто не руководствовался здравым смыслом или деловыми соображениями. Огромное учреждение, каким был оперотдел, днем и ночью боролось с придуманными опасностями и оформляло выдуманных преступников. Иметь дело с настоящими опасностями и настоящими преступниками наших чекистов не учили, и они не умели.

Выдуманными у них были и друзья, которым полагалось доверять. Это были бытовики. В нашем лагере к бытовикам относили всех мошенников, воров, убийц и даже бандитов. Хотя все знали, что большинство из них способно на любую гадость, указаний считать их опасными не было. Их даже освобождали и принимали в действующую армию. Они считались «социально близкими». Начальник политотдела как-то на одном из лапунктов собрал бывших там бытовиков и обратился к ним с речью. Он говорил, что лагерь видит в них своих помощников, что они только «временно изолированные» и т. п. Вдруг из задних рядов кто-то выкрикнул:

— В свои втираешься, гад! Гитлер придет, все равно мы тебя повесим.

Из тех, кого считали особо опасным, никто так не ждал Гитлера.

Но надо было продолжать работу. Как-то в августе главный инженер вызвал меня и попросил сходить на вновь открывшееся строительство одной из новых шахт.

— Посмотрите. Вам самому надо убедиться, можно ли планировать на зиму.

Ранним утром, миновав жилые дома и землянки, склады и угольные отвалы, я вышел в тундру. Уже началась осень. Стоял сухой туман, сквозь который пробивался рассеянный солнечный свет. Тундра местами была красная, местами желто-бурая, но еще не почернела и не замерзла. Спускаясь с одного из бугров, я увидел путевую бригаду, начавшую прокладывать узкоколейку к новому северным шахтам. Знакомый дормастер окликнул меня:

— Куда пошagal? Дорогу для вас тянем, подожди, поездом поедешь!

— Вас ждать — надо большой срок иметь!

— А тебе не хватает? Можно прибавить.

— Спасибо. Я свой кончил, больше не надо.

Он подошел. Мы поздоровались.

— Ну, ладно. Скажи, облегчение нам будет?

— Не знаю. Но не похоже.

— Мы тоже думаем, что не похоже. Ведь легавым от войны где-нибудь укрываться надо. Без заключенных такую армию держать в тылу не будут!

Было тихо и тепло. Расстегнув телогрейку и чувствуя физическую радость от ходьбы и свежего воздуха, я шел по извилистой тропе, которая то сбегала в овражки, выползая потом на бугры, то пробиралась между высохшими и начавшими чернеть кочками. Выйдя из небольшого овражка, я увидел впереди поднимавшегося на бугор человека. Это был Георгий Иванович Прикшайтис. Раньше он работал у меня, но с началом войны, когда стало очень голодно, устроился в отделе общего снабжения. Там было посытней. Я ускорил шаг, чтобы догнать его.

Георгий Иванович был сдержанным человеком с непреклонным, очень сильным характером. Еще в дореволюционные времена он состоял в большевистской партии, потом был министром первого советского правительства на Дальнем Востоке, руководил во время господства там белогвардейцев большевистским подпольем, а в последние годы работал в Москве членом ЦИК вместе с М. И. Калининым.

Арестовали его в самые страшные ежовские времена, сильно измучили и записали в троцкисты. Пользуясь тем, что мы шли только вдвоем среди совершенно безлюдной тундры, я попытался расспросить: что с ним делали?

— Знаете, Владимир Васильевич, я не хотел бы ни вспоминать, ни рассказывать об этом.

Я не настаивал. Но, пройдя еще некоторое время, он сам начал говорить:

— Самое ужасное в том, что на все это легко находились исполнители... Вы слышали, кто такие молотобойцы? Вот привели меня один раз к следователю. Он позвонил, и в кабинет вошло трое здоровенных парней. Я заметил, что на гимнастерках у всех были комсомольские значки. Один из них крикнул: «Спускай штаны!» Я не понял. «Ну, чего стоишь?! Спускай штаны!» Видя, что я оторопел, он рванул застежку, пуговицы отлетели, и штаны стали сползать. Двое схватили меня за руки, а третий присел, взял своими ручищами мою мошонку и стал жать. Я закричал. Следователь обрадовался: будешь сознаваться? Но я замолчал, и молотобоец стал опять жать мои яйца. Вы представляете, какая боль?! Я прикусил язык. Он продолжал жать, и я лишился сознания. Очнулся в госпитале со страшнейшим воспалением раздавленного яичка. Так думаете

те, на этом кончилось? Когда я только-только начал поправляться, меня под руки отвели к следователю. «Ну, будешь сознаваться?» Я ничего не ответил. «Значит, хочешь повторить?!» Он опять вызвал молотобойцев. На этот раз явились ребята послабей. Оказалось, что у них другая специальность. Они прижали меня к стене и стали плевать и харкать мне в лицо. Да что рассказывать! Вон Марью Михайловну сажали в гинекологическое кресло, и при следователе две молодые женщины в белых халатах набивали ей горчицу во влагалище! Кто все это делал? Наши обыкновенные ребята, мобилизованные для работы в «органах» по комсомольской линии.

Некоторое время мы шли молча. Потом он заговорил снова:

— Если самому за себя не решать, а только слушаться — любой может собакой стать. А на моей памяти еще были люди, которые руководствовались не приказами и командами, а собственной совестью. В подполье я попал в безвыходное положение: куда ни сунься — везде провал, везде схватят! И вот схватили. Обрадовались страшно. Вводят к дежурному офицеру. И, знаете, сразу и он меня узнал, и я его узнал: мы восемь лет за одной партией просидели! Но он спрашивает: «Это вы кого привели?» Те с восторгом: «Прикшайтиса поймали!» Он посмотрел на меня, секунду подумал и закричал: «Растяпы! Прикшайтиса упустили! Этого вам подсунули, чтобы со следа сбить! Я Прикшайтиса знаю — в гимназии с ним учился. Олухи вы! Идите, пока не все потеряно. А с этим я поговорю!» Выпроводил, а немного погодя другим ходом отпустил меня. Тогда еще не всех успели цепными собаками сделать.

После этого рассказа мы долго шли молча. Потом стали перекидываться короткими замечаниями по работе. Между прочим, я спросил, не знает ли он в лагере хороших экономистов. Георгий Иванович подумал и сказал:

— Возьмите моего брата Николая Ивановича. Он на двенадцать лет моложе меня, но уже профессор.

Я знал Николая Ивановича. К нему хорошо относился Панин и устроил его учетчиком на одну изстроек. Но мне он не нравился. У меня создалось впечатление, что, попав, как это бывает на групповых фотографиях, на верхнюю ступеньку, он с молодых лет вообразил, будто действительно на целую голову выше остальных. Поэтому ему всегда попадались дураки и негодяи, которые якобы из зависти старались делать ему пакости. Выслушивать это было неприятно. А кроме того, он хотя и почтительно, но настойчиво искал близости с людьми, бывшими, по его мнению, выше его, а я этого не любил. Поэтому я ничего не сказал Георгию Ивановичу. Однако позднее моя судьба тесно сплелась с судьбой Николая Ивановича Прикшайтиса.

Примерно часа через два хода мы увидели строительную площадку нашей новой шахты. Посреди тундры стояла длинная брезентовая палатка, какая-то ужасно маленькая и выглядывшая одиноко в этой беспредельной пустыне. Около палатки лежало немного свежего теса и копошились людские фигурки. Подойдя, мы увидели, что люди были заняты сооружением ограды из колючей проволоки. За пределами ограды оставался разборный буровой домик, служивший конторой и одновременно квартирой начальника строительства. Около домика сгрудилось человек сорок только что прибывшего пополнения.

Георгий Иванович направился смотреть кухни и каптерки, а я пошел в домик к начальнику строительства. Это был недавно освободившийся горный инженер, занимавший на воле большую партийную должность и поэтому представлявшийся нашему лагерному руководству крупным специалистом. В крохотном помещении у него набилось человек десять. Сидеть было невозможно. Все вплотную друг к другу, загораживая свет, стояли в махорочном дыму и кричали. Я даже не смог втиснуться, но как раз в этот момент, выталкивая стоявших перед ним, начальник стал пробираться к выходу. Поздоровавшись со мной, он сразу начал изливать свое раздражение:

— О чем думают? Еще людей пригнали, а у меня не только кухни, даже уборной не построено!

Немного выждав, я спросил, что все-таки он сам думает делать.

— Да разве я думаю?! Велят на выходах шурф пробивать, чтобы хоть себѣ углем обеспечить. А электроэнергия не подводит, дороги нет. Выгнали в тундру — и твори им чудеса!

Он направился к прибывшему пополнению. За ним пошли нарядчик, конвоир, доставивший людей, управленческий инспектор и еще кто-то.

Подойдя к людям, начальник, как будто перед ним были не люди, а выгруженный товар, не поздоровавшись, стал громко спрашивать инспектора, сколько человек привезли, какие категории, как одеты. Инспектор вполголоса буркал ответы. Начальник недовольно хмыкал. Наконец он обратился к людям:

— Ну, нарячик сформирует из вас бригаду, и надо работать. От работы все зависит. Пока, видите, ничего нет. Надо все самим сделать. Нелегко. Никто не говорит, что легко. На фронте тоже нелегко, а чудеса творят. Вот так-то.

Он кивнул нарячику: «Давай организовывай»,— и отошел в сторону. Нарячик встал перед шеренгой.

— А ну, мужик, подойди! — Один из заключенных шагнул и вытянулся по команде «смирно». — Военный?

— Так точно, гражданин начальник. Командовал дивизией.

— Это нам подходит. Будешь бригадиром.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

— Составь список и каждый день будешь мне табеля представлять. Понятно?

Бригадир немного замялся и спросил, где взять бумагу и карандаш. Нарячик усмехнулся:

— Снабжать тебя некому. Сумей достать. На то ты и командир дивизии.

— Есть достать, гражданин начальник!

Ко мне нерешительно подошел обросший рыжей щетиной, очень исхудавший человек, одетый в рваный, залатанный бушлат и в рваные и заплатаемые, сшитые из старых ватных брюк, стоптанные обувки:

— Вы меня не узнаете?

Я с трудом сообразил, что передо мною член коллегии нашего наркомата Лебедев. Поздоровавшись, я отошел с ним подальше. Оказывается, наш народный комиссар, все его заместители, члены коллегии и большинство ответственных работников, как и в других наркоматах, арестованы.

— Нас долго мучили. Наркома, по-видимому, больше всех, потому что он в конце концов на всех написал. Кого довели до сознания, кого нет. А тем временем ежовщину приказали кончать. Мы думали, нас выпустят. Но в один веселенький день всех вызвали, отвели в какую-то комнатку. Было, наверное, человек пятьдесят—шестьдесят, так что стояли вплотную, рукой не пошевелить. Оказалось, что это военный трибунал. Сделали перекличку, а потом зачитали: перечисленные частично сознались, частично изобличены свидетельскими показаниями и за участие в контрреволюционной вредительской и террористической организации приговариваются каждый на пятнадцать лет с поражением в правах на пять лет. Все. Процедура заняла не более получаса. После этого развезли по лагерям. Из нашей коллегии сейчас на Воркуте четверо.— Он назвал фамилии.— А наркома, Гаврилина и кое-кого еще расстреляли...

Дней через двадцать я снова шел на эту стройку. Прокладывать железную дорогу, доведенную до первого оврага, прекратили: леса для мостов не было. Опоры электролинии стояли без проводов.

А уже началась зима. По черной, помертвевшей тундре неслась холодная поземка. Идти против ветра было трудно. Дорога показалась значительно длиннее, чем в первый раз. Когда я наконец дошел, сразу вслед за мной подъехал грузовик. Из кабины вылез большой, широкоплечий, толстый майор в белом нагольном полушубке. Это был новый помощник Тарханова — Петр Васильевич Черняев. Его румяное, пышущее молодым здоровьем лицо докрасна разгорелось на холодном ветру. Хотя он и не позволял себе улыбаться бывшему заключенному, но все-таки блеснул своими яркими черными глазами и здоровался.

— Что же вы пешком шли? Я бы подвез.

— А я скорее вашего дошел.

— Да, дорога для машин тяжелая.

Навстречу начальству из бурового домика вышел заключенный десятник. Черняев спросил:

— А где начальник?

— В больнице.

— А вы кто?

— Я его помощник по горнопроходческим работам.

— Ну, показывайте.

Они ушли, а я зашел в домик. На койке за столом сидел с подвязанной щекой мой знакомый Лебедев. Он еще больше оброс, глаза опухли, руки были совсем черные от грязи. Он кутался в свой рваный бушлат и притопывал ногами. Из носа у него свисала большая капля. Поздоровавшись, я спросил, что он делает.

— Вот посадили писать. Работать все равно не могу, так хоть какая-то польза.— Он утер нос рукавом.

— А что с начальником?

— Сбежал.

— Как?!

— Ну, как? Мы вот хоть простужены, но деться нам некуда, его же не конвоируют, оказался больным и ушел в больницу.

— А что, очень плохо?

Он потупился.

— Я даже не знаю, как вам ответить.— И, уставившись на меня своими большими красными глазами, заговорил: — Если бы нас расстреляли сразу, было бы гуманней. Топлива нет. Половина бригады целый день елозит по тундре — собирает кустики. Другая половина ищет ручейки и лужицы, чтобы набрать немного воды. Хлеб привозят на неделю, мороженный. Все больны. Каждый день умирает по человеку. Нас здесь семьдесят, значит, хватит только на два месяца. Вы не курите?

Я не курил, но у меня была пачка махорки. Дрожащими грязными пальцами он стал делать самокрутку.

— Да ко всему достался нам еще этот дурак!

— Кто?

— Бригадир. Командир дивизии. В другой бригаде человек как человек. Кормит бригаду. А этот, как на собрании, заявляет: «Я коммунист и Советское государство обманывать не буду!» И на этом основании ничего из того, чем живут бригады, в рапортчики не пишет — ни расстояний, ни перевалок, ни подъемов. Держит нас на штрафном пайке. Люди убьют его...

Я пошел за Черняевым. Осмотрев недостроенный балаган для кухни, не топленую палатку и еле начатые работы на шурфе, мы вернулись к машине. Я сказал:

— Положение очень скверное. Так люди работать не смогут.

Черняев посмотрел на меня строгими черными глазами.

— Мы не можем цацкаться со своими врагами.

Это был такой же дуболом, как тот командир дивизии. Но в отличие от того он имел чин и получал большие деньги. Убеждать его было бесполезно. Я забрался в кузов грузовика, он залез в кабину, и мы начали трястись и нырять по овражкам.

Через пару дней удалось эту стройку все-таки закрыть до весны.

2

Если у человека не остается сил даже для того, чтобы цепляться за какую-то надежду, он погибает. В зиму 1941/42 года множество народа на Воркуте стало терять эти последние силы.

От Лебедева я узнал, что в одном из лагерных стационаров, в санчасти, которой заведовал мой еще с Воркуты-вом близкий приятель, заключенный доктор Ринейский, лежит хорошо знакомый мне член коллегии нашего наркомата. Это был хотя и недобрый, но интересный старик. В ранней молодости, будучи заводским рабочим, он вступил в большевистскую фракцию эсдеков. После пятого года его сослали в Вологодскую губернию, в Красавино. Ссылных тогда любили, его приютили в конторе, стали учить счетоводству, и он до самой революции работал в бухгалтерии Красавинского льнокомбината. После революции, когда начался нэп, он оказался членом правления того же треста, в котором работал мой отец. Заменяя выбывающих, он постепенно поднимался по административной лестнице и стал начальником Главного управления льняной промышленности. Некоторое время я работал под его руководством. Когда я спросил, нельзя ли повидать его, Ринейский сказал:

— Вы чуть не опоздали. Наверное, завтра было бы уже нельзя.

Мне дали белый халат, и я с Ринейским через приемник, в котором в грязных, рваных бушлатах сидело несколько полуживых человек, ожидавших госпитализации, прошел в стационар.

Длинное помещение, как в обычных бараках, все было заставлено вагонками. На нижних койках лежали тяжелые больные, на верхних — способные самостоятельно залезать и спускаться. В отличие от жилых барачков здесь были постельное белье и одеяла. Было чисто и светло, но стояла тяжелая вонь. Заметив, что я сморщил нос, Ринейский сказал:

— Да, это не духи. Половина больна дистрофическим поносом. Ваш знакомый — тоже.

Он довел меня до одной из нижних коек. На подушке лежала страшная голова. Вместо знакомых мне седых кудрей и пушистых усов топорщилась остриженная грязно-белая щетина; щек не было, они провалились, и скулы соединились с челюстями только пленкой; вместо глаз чернели глубокие впадины. Это была даже не голова, а мертвый череп, лишь не совсем очищенный от сухой, уже потемневшей кожи. Нижняя челюсть отвисла, и казалось, что беззубый разинутый рот с завалившимися губами уже не дышит. Я наклонился и окликнул:

— Григорий Алексеевич! Вы меня узнаете?

Он с трудом приоткрыл глаза, подтянул челюсть и с полным безразличием ответил:

— Нет.

Ринейский осторожно повернул его голову в мою сторону:

— Посмотрите. Это же Зубчанинов.

Григорий Алексеевич опять приоткрыл глаза и так же безразлично сказал:

— Вы здесь... Я слышал.

Глаза закрылись и провалились в темных впадинах. Я спросил:

— Не нужно ли вам чего-нибудь? Махорки? Сахару?

Он молчал. Потом, не открывая глаз, ответил:

— Мне... ничего не надо.

Мы постояли еще и пошли обратно. Ринейский сказал:

— Тут много таких. В тюрьме голодали, на этапах голодали, потом мерзли в палатках, в тундре. Из них несло и несло. А кормили мороженым хлебом и разной трухой. Ну, теперь умирают.

Мы проходили с ним через приемник. Санитары раздели одного из прибывших, положили на скамью, чтобы мыть. Спиной вверх лежал скелет, обтянутый грязно-желтой кожей. Вместо ягодиц торчали две острых кости.

Ринейский указал рукой, а когда мы вышли, сказал:

— Чтобы заставить дистрофика жить, нужно, чтобы он сам хотел жить. Ну, и мог бы усваивать пищу. Кое-кто, попав на чистую постель, конечно, старается выкарабкаться. Но в большинстве случаев вместе с дистрофией быстро развивается туберкулез, и людям становится все равно. Да и организм у них не в состоянии принимать овсяную баланду. Нужна настоящая пища, витамины. А где взять? Спасти удается немногих.

Каждый месяц в лагере в то время умирало до трех процентов заключенных. За год могла вымереть целая треть. В один из вечеров, зайдя в кабинет Тарханова, я застал там всех его главных советников. Начальник санотдела только что доложил о болезнях и смертности. Все молчали. Наконец Тарханов обратился к присутствующим:

— Что же делать? Владимир Самойлович?

Фейтельсон, не поднимая головы, мрачно ответил:

— Что делать? Кормить людей.

— Вы иногда одаряете замечательными советами!

— А разве неверно?

— Я вас спрашиваю: чем?

Начальник снабжения пожал плечами:

— Я уже докладывал, что у нас есть.

— То есть что ничего нет?!

Капуцевский, который, несмотря на то, что его сын был на войне, а родственники голодали в Ленинграде, любил раздражаться режущими слух фальшивыми ура-патриотическими сентенциями, вдруг сорвался с места и с горячностью заявил:

— Товарищ начальник, во всем мире в военных трудностях не хотят участвовать только Турция и Воркута. Так нельзя. Надо потерпеть.

Тарханов огрызнулся:

— Посоветуйте это дистрофикам! — Помолчав, повысил голос и требовательно обратился к присутствующим: — Я спрашиваю: что делать?

Последовала пауза. Затем Фейтельсон сказал:

— Думаю, что никаких чудесных решений мы не изобретем. Надо немедленно командировать начснаба в главк. Надо доказать, что надвигается катастрофа, и добиться фондов.

Начальник снабжения усмехнулся:

— Разве у нас у одних такая катастрофа? Лесные лагеря прямо вымирают.

Фейтельсон настаивал:

— Надо суметь доказать!

Тарханов вздохнул. Он понимал, что если лагерь не сможет работать, то ему не только не дадут ордена, но прогонят, может быть, даже будут судить. А что делать — никто не знает. К тому же новый помощник сидит в углу и молчит. Это небезопасно. Он повернулся к начальнику санотдела:

— Товарищ Тепловский, вы уверены, что они не прикрывают саботажа?

Тепловский поехал и промычал что-то неопределенное.

— Завтра же в трех-четыре ближайших санчастях проверьте. Мобилизуйте всех врачей-коммунистов. Недопустимо, если мы окажемся благодушными дураками. И ваши проценты дайте проверить товарищу Зубчанинову.

На другой день, сразу после развода, к Ринейскому явилась жена Тарханова доктор Барская. Ее сопровождали начальник лагпункта и инспектор УРО. Они потребовали себе белые халаты и велели вызвать всех, кому Ринейский тем утром дал освобождение. Их оказалось пятнадцать человек. Барская каждого стала выслушивать, выстукивать и признала, что семеро из освобожденных могут работать. Горячий Ринейский, весь дрожа и еле сдерживая себя, заявил, что он, как врач, протестует.

Барская ответила:

— Я тоже врач.

— Тогда напишите. Одних ваших слов недостаточно, чтобы посылать людей на смерть.

— Мы составим акт.

В обед Ринейский и другие начальники санчастей были вызваны к Тарханову. Всем предложили сесть. Тарханов начал речь:

— Сейчас работа на угле — это такой же фронт, как на войне. Вы пользуетесь исключительным доверием: вам дано право при необходимости освобождать людей от этого фронта. Но... — он повысил голос, — вам никто не давал права покрывать саботажников и оголять фронт. — Он потянулся к бутылке с нарзаном, налил в стакан и выпил глоток. — Врач Ринейский здесь?

Сохранивший военную выправку, красивый, несмотря на свои пятьдесят лет и лагерную одежду, Ринейский встал.

— Вот этот Ринейский сегодня освободил от работы пятнадцать человек. Целую бригаду! Проверкой установлено, что семь из них здоровы. Как это называть? Я вас спрашиваю: как это называть?

Все напряженно молчали.

— Ринейский! Вы опытный врач и не могли сделать это по ошибке. И не думайте, — он постучал по столу, — не думайте, что у нас нет опыта и что мы не разбираемся в людях. Такие, как вы, будут только копать землю. — Он опять потянулся к нарзану. — Я при всех хочу вас спросить: вам известно, что идет война?

Быстрый, как ртуть, Ринейский сразу же ответил:

— Я несколько раз просил отправить меня на фронт. Меня не пускают. Но тем не менее я участвую в войне... кровью двух моих сыновей. — У него задрожали губы.

Хотя он ответил с горячей искренностью, но, по существу, это было хорошо нацеленным ударом: все знали, что Тарханов недавно привез на Воркуту своего сына, откормленного парня призывного возраста, чтоб уберечь его от отправки в армию. Тарханов действительно на какое-то мгновение смутился. Многие понимающе переглянулись.

В этот момент дверь приоткрылась, и в нее на носках осторожно протиснулся заключенный — помощник начальника санотдела, толстый, лысый, всегда слегка насмешливый доктор Тепси. Он пробрался между сидящими к своему начальнику, что-то зашептал ему на ухо и передал бумаги. Тепловский встrepенулся, намереваясь сразу броситься к Тарханову, но остановился, снял очки и стал вчитываться в принесенные бумаги. Тепси опять зашептал, и тогда он не очень решительно, бочком подошел к Тарханову и шепотом стал рассказывать, кивая на бумаги. Тарханов помрачнел.

Оказывается, из семи человек, признанных его женой здоровыми, двое на работе умерли, а третьего на носилках принесли в госпиталь. Тепси, чтобы спасти Ринейского, сразу же составил недвусмысленные акты, которые пошли теперь по установленным инстанциям. Все представление было испорчено. Тарханов, как от мухи, отмахнулся от начальника санотдела и стал заключать свою речь:

— Так вот учтите. Вам доверено самое ценное, что у нас есть, — люди. Вы отвечаете за их жизнь и здоровье. Вы не должны злоупотреблять доверием, но на вашей обязанности беречь людей. Люди истощены. Надо следить за их состоянием. Надеюсь, все меня поняли? Идите.

Лежавший у него на столе проект приказа о снятии Ринейского и отправке его на общие работы остался неподписанным.

А далекая война все приближалась. На Воркуте это проявлялось и в том, что к вольнонаемным, особенно из числа бывших заключенных, все больше и больше стало приезжать родственников, бегущих от нашествия немцев.

Фронт уже был под Москвой, в тех дачных местах, куда, бывало, мы по воскресеньям ездили на электричках и даже на трамваях. Уничтожалось бесчисленное количество людей, погибали города и села, разрушалось все, что с таким трудом и напряжением строилось почти двадцать лет!

Большинство из нас испытывало глухую досаду на беспомощное неумение организовать отпор немецкому нашествию, на безрукость, которая, очевидно, ничем не отличалась от безрукости орудовавших на наших глазах лагерных руководителей. По-видимому, в условиях бюрократической безответственности сверху донизу выработался единый стиль руководства: не думать, а только кричать и пугать в расчете на то, что люди при этом сами сообразят, что и как делать.

Приезжие рассказывали о гибели московского ополчения: собрали людей, никогда не державших оружия, не обучили, а сразу сунули в огонь в качестве живого заслона; они ничего не заслонили, но были перебиты почти все.

От приезжих же мы узнали подробности об октябрьских днях в Москве. Когда фронт подошел к самым заставам города, все органы безопасности, милиции и те, кто располагал машинами, кинулись бежать. Народ начал громить магазины. В течение трех суток брошенный город легко мог стать добычей врага. Но немцы этим не воспользовались. Только когда пришли сибирские воинские части, паника поулеглась.

Немцы появились и на севере, совсем недалеко от нас. Их подводные лодки курсировали в Баренцевом море. Одна всплыла у берегов Новой Земли и сожгла метеорологическую станцию. Другая на подходах к Печорской губе потопила наш транспорт, который вез заключенных. Над одним из северных районов Коми немецкий самолет сбросил разведывательный десант. В тундре забунтовали самоеды (ненцы). Многие из заключенных, особенно бывшие военные, такие, как Ордынский, просились на фронт. Но так называемых контрреволюционеров на войну по-прежнему не брали.

Досада и тревога, с которыми я жил с первых дней войны, усиленные чувством беспомощности, нарастали. В обеденные перерывы я старался уходить подальше в тундру. Снег в тундре, как песок в пустыне, спрессовывается ветрами, и, если он выпал давно, по нему можно идти без дороги. Но эти хождения по голой белой равнине не успокаивали. Я с тоской, как о безвозвратном прошлом, думал о крымских парках и зеленых берегах русских рек.

В одну из таких прогулок я наткнулся на незнакомую мне, хорошо наезженную дорогу. Она вводила куда-то в глубь тундры. Я пошел по ней. Скоро она привела меня к большому оврагу. На первый взгляд овраг был закидан не то дровами, не то рудничными стойками, запорошенными снегом. Но это были замерзшие человеческие руки и ноги. В овраг свозили мертвецов. Огромная

масса голых мерзлых тел была набросана в него с дороги. Поближе к обрыву выдавались две тощих ноги с грязными ступнями. В середине оврага, как бы выдираясь из-под других трупов, торчала запрокинутая голова с закрытыми глазами и отчаянно оскаленным ртом. Она была черноволосая и поэтому очень заметна.

Мне потом рассказывали, что этот овраг обнаружили мальчишки из ремесленного училища. Сначала они, наверное, испугались, а потом нашли возможность созоровать. По краю оврага они поставили шеренгу голых мертвецов. Когда лагерный возчик на рассвете подвозил очередную партию трупов и увидел их, то подумал, что мертвецы выходят из оврага, бросил свой воз и лошадей и в паническом страхе бежал.

В эту зиму трудно было думать о будущем. Поэтому, когда Тарханова, главного инженера, меня и других вызвали в главк для согласования плана на следующий год, это показалось удивительным и вместе с тем обрадовало. Сил для надежды еще хватало.

Главк для нас был чужой. Когда НКВД эвакуировался из Москвы, одно из его управлений — Главное управление лагерей железнодорожного строительства — переместилось в Киров. Оно вело строительство Печорской и Коношской железных дорог, но никогда не занималось горнодобывающим производством. Нас подчинили ему только потому, что из всех управлений оно оказалось самым близким к нам по расстоянию. Начальником этого главка был знаменитый Френкель.

Один из старых воркутинских лагерников, сидевший еще с соловецких времен, так рассказывал его биографию. В дореволюционное время Френкель был лесоторговцем. Он поставлял древесину в страны Ближнего Востока. Это был преуспевающий молодой делец, упорно стремившийся накопить миллионное состояние. Но случилась революция. Френкель успел перевести свои деньги в Грецию и эмигрировал туда сам. С провозглашением нэпа у него появились надежды на восстановление своих дел в России, и он одним из первых в капиталистическом мире повел с нею торговлю. По-видимому, при этом от него удавалось получать какие-то информационные услуги, потому что некоторые отделы ГПУ стали приглашать его к себе, беседовать и советоваться с ним.

Так ли все это было, я не знаю. Очень может быть, что никакой торговли с Советской Россией Френкель никогда не вел, а был просто одесским спекулянтом и занимался контрабандой. Но связи с ГПУ у него были, и, когда в конце 20-х годов началась выкачка золота, именно ему поручили скупку золота на черной бирже. Он мобилизовал целую сеть ловкачей-валютчиков и на каких-то, по-видимому, выгодных для себя условиях скупил для государства обращавшееся на черной бирже золото. А затем произошло то, что при таких взаимоотношениях с ГПУ происходило всегда. В один из приездов Френкеля в Москву его, как обычно, пригласили на Лубянку, но вместо кабинета начальника отвели в тюремную камеру.

Старостой в этой камере был как раз тот, кто рассказывал мне эту историю. Он картинно изображал, как к ним втокнули модно одетого франта и как этот франт пытался уверять их и себя, что произошло недоразумение. Ему объяснили, что такое недоразумение произошло со всеми.

Потом они встретились в Соловках. Мой рассказчик пользовался там еще действовавшим тогда дореволюционным режимом для политических заключенных: их не заставляли работать, они могли читать и писать. А Френкель должен был «мантулить». Сначала он старался ловчить, пытался болеть, потом примазывался к политическим, потом сумел ухватить работу, которую администрация Соловков считала тогда привилегией только пожилых архиепископов, — стал подметать двор. Можно было спокойно добывать свой срок. Но Френкель был не таков, чтобы отсиживаться в тепленьком болоте. Ему надо было выплыть. И он придумал, убедительно обосновал и во всех деталях разработал проект трудового использования заключенных. Он знал, кого в ГПУ можно заинтересовать таким проектом, и сумел отправить его точно по адресу. Вскоре пришло приказание — доставить Френкеля в Москву, а потом стало известно, что его назначили начальником работ по строительству Беломорканала. Тут и родилась его слава.

Надо сказать, что она досталась ему не зря. Про его организаторские таланты ходило потом множество рассказов и даже печатались книги. Правдой

во всем этом было то, что Френкель сумел использовать преимущества лагерной системы.

В его время лагерное население состояло в основном из крестьян. Их сажали за то, что они не шли в колхозы, или за то, что, как казалось властям, они не захотят идти. Не совершив никаких преступлений, они естественно считали, что их заключение, как плен во время войны, должно скоро кончиться. Но, чтобы выжить, надо было работать, потому что за работу кормили и одевали. Работы велись тогда вручную. Для крестьян они были привычными и посильными. Лопатами и тачками, как муравьи, они за пайку хлеба переваливали миллионы кубов грунта. Конечно, в лагере были и уголовники, которые не хотели и не могли работать. Но их было немного. Они в качестве «игрушки» были предоставлены чекистским помощникам Френкеля. Эта «игрушка» называлась тогда «перековкой преступников».

Кроме хорошего рабочего состава, лагерная система дала Френкелю квалифицированные руководящие кадры. В лагере в то время их скопилось больше, чем на воле. Орджоникидзе как-то сказал: «Если бы у меня было столько инженеров, сколько у Ягоды, я бы горы свернул». Посаженные ни за что ни про что, они весь смысл жизни видели в работе по своей специальности. И если в советском аппарате их с руководящих работ вытесняли партийные начальники, то в лагере для Френкеля не существовало ни партийности, ни номенклатуры ЦК. Анкет не было. Заключение инженеров назначали начальниками целых районов. От них требовалось лишь работать в полную меру всех сил и способностей. И это стимулировалось не какой-нибудь десятипроцентной премией, а сокращением сроков или даже полной свободой.

Френкель был безжалостно требовательным начальником. Но его требовательность была несколько иной, чем та, которая культивировалась в советском аппарате. Он не кричал и не матерился. Однако он знал, что требовать. Если его требования не выполнялись, то он мог с уничтожающим сарказмом проанализировать все причины невыполнения и вызвать у виновного такое чувство стыда, которого каждый старался избежать. А те, на кого это не действовало, удержаться в качестве руководителей или специалистов не могли и должны были копать землю.

Когда канал был построен, перед Френкелем возникла самая трудная задача — не дать присвоить свою славу другим. И это он сумел сделать.

По каналу решил проехать Сталин. Все заключенные по ту и по другую сторону канала были отведены на десяток километров. Сталин ехал по безлюдной пустыне. Его сопровождал Ягода. Рассказы Ягоды были, наверное, немногим интереснее стандартных газетных статей. Сталин скучал. Вдруг на одной из пристаней вопреки всем предосторожностям появился начальник работ. По замешательству и какому-то необычному оживлению Сталин понял, в чем дело, и велел спустить его на паром. И дальше Френкель, обладавший емкой памятью и хорошей, образной речью, рассказал Сталину о работах, о местности и произвел на него огромное впечатление. Сталин приказал дать ему орден Ленина и чин дивизионного инженера. Френкель из валютчика и спекулянта стал советским генералом. У него появились такие возможности и такая власть, каких в дореволюционное время он, даже накопив миллионы, не получил бы никогда.

По распоряжению Сталина его назначили начальником грандиозного строительства Байкало-Амурской магистрали. С Беломорканала он перевез на Дальний Восток все свои кадры и вместе с ними жил и работал, как в особом независимом государстве. Но пришли 1937—1938 годы, и на него нацелился ежовский аппарат. В 1938 году ревизовать строительство прибыл заместитель Ежова. Началась явная подготовка к аресту и ликвидации всех френкелевских работников. Френкель понимал, что та же участь ожидает и его. Он вылетел в Москву и попросил Сталина выслушать доклад о строительстве. После доклада он вернулся на Дальний Восток уже не с двумя, а с тремя ромбами, а ревизовавший его заместитель наркома со всеми оперработниками были увезены в арестантском вагоне. Вскоре не стало и Ежова. Вот так рассказывали тогда о Френкеле.

Тарханов и особенно Фейтельсон заметно волновались, ожидая его. Фейтельсон старался запастись всеми техническими данными. К этому времени в воркутинском техническом аппарате работало уже много вольнонаемных ин-

женеров, бежавших из Донбасса, Москвы и Ленинграда. Большинство из них было, конечно, слабее ранее работавших заключенных. Как нарочно, фамилии некоторых из них были Мудров, Умнов, Голованов и еще что-то в этом роде. Фейтельсон злился на их ученическую беспомощность и ворчал:

— Странное дело: сидел Дураков — и все было в порядке. Появились Умновы, Мудровы — и не добьешься толку.

Сергей Андреевич Дураков был талантливый инженер, заключенный, заведовавший у нас техническим отделом до войны.

Наконец подготовка окончилась. В начале декабря мы двинулись в Киров. Первыми уехали снабженцы, потом самолетами и все остальные. На Воркуте у нас тогда было два маленьких самолета.

В одном летели Тарханов с Фейтельсоном, во втором — Капущевский и я. Мы долетели до Ухты, а дальше уже можно было ехать поездом. Ухта была центром нефтедобывающего лагеря. В свое время она служила резиденцией Якова Моисеевича Мороза, который постарался сделать из нее благоустроенный город. Поэтому по мере приближения фронта к Москве сюда больше, чем на Воркуту, сбежалось москвичей. Почти все служащие нашего бывшего главка осели здесь, вытеснив прежних работников лагеря не только с должностей, но и из квартир.

От Ухты мы потащились по недостроенной дороге, сутки провели в голодном Котласе и на пятый или шестой день морозным вечером приехали в Киров. Здесь весь вокзал был забит эвакуированными. Обычного спокойного и светливого вокзального гомона слышно не было. Очевидно, толпа, разместившаяся на скамьях и на полу, жила в этих грязных, еле освещенных залах целыми неделями. Прибитые своим горем, голодные и никуда уже не торопившиеся люди потихоньку беседовали и ворчали, спали, приносили и пили кипяток. Слышны были только детский плач и надсадный, простудный кашель.

Мы, в своих чистых белых полушубках, здоровые и сытые, продирались через эту измученную, голодную и завшивленную толпу, стараясь скорее выбраться на улицу. Мимоходом я заметил спящую на полу женщину, закутанную в шубу, а поверх нее в одеяло, уставшую настолько, что не слышала, как рядом с ней маленький ребенок с завязанной шерстяным платком грудкой, с полными слез глазами кашлял так, как будто хотел вывернуть и выкашлянуть все свои внутренности. У самого выхода на деревянном сундуке сидела и в немом отчаянии раскачивалась пожилая женщина. Я с удивлением отметил, что рядом с ней стояло железное корыто, как будто именно его надо было везти в эвакуацию, а на полу у ее ног на спине спокойно лежал ничем не прикрытый старик. Он был мертв.

Киров не затемнялся, но фонари не горели. Народа на улицах было много. Город был переполнен. Гостиницы использовались под госпитали. Нам негде было устроиться. Тарханов и Фейтельсон что-то нашли, а мы стали ходить по частным домам. Но все они были битком набиты эвакуированными. По нашим белым полушубкам нас принимали за военных и относились к нам приветливо, но ночевки дать не могли. В одном домике старуха ввела нас и показала две комнатки, уставленные почти без проходов кроватями. Только на самой окраине в полудеревенском доме нам наконец удалось найти угол для ночлега.

Главк помещался в просторном здании старого губернского управления. Никакой эвакуационной тесноты и неудобств он не испытывал. Но аппарат главка был уже не тот, который создавался на Беломорканале. С тех времен сохранились только отдельные единицы, обросшие огромным числом обычных советских чиновников. В плановом отделе всю работу вел старый френкелевский плановик Куперман, но над ним, как Озеров надо мной, сидел майор Паников, которого Френкель никогда ни о чем не спрашивал и даже не вызывал. Сидели еще какие-то офицеры и жены эвакуированных из Москвы работников НКВД. Уже был отдел кадров, возглавляемый бывшим наркомом внутренних дел какой-то азиатской республики, были разные инспектора, обязательные первый и третий отделы — одним словом, как везде.

И все-таки центральной фигурой оставался совсем необычный для чиновничьего аппарата начальник снабжения. Фамилия его была, кажется, Бирман. Он работал с Френкелем чуть ли не со времен его валютных спекуляций, отличался невероятной ловкостью и энергией, был на «ты» со всеми, от кого хоть что-нибудь зависело, мог, прокричав целый день по телефонам, ночью выле-

тетя на какую-нибудь базу эвакуированного оборудования, а вечером следующего дня уже в своем кабинете его распределять. Френкель добился ему офицерского чина и никому не позволял его трогать.

Но нас в этом главке сначала расценили как поживу. В отделах главка считали, что наши шахты достались им временно, отвечать они должны только за железнодорожные стройки, поэтому воркутинские механические заводы, воркутинскую технику и специалистов можно растаскивать по дорожным стройкам.

Тарханов пошел к Френкелю, но оказалось, что он занят и принять не может. Обижаться было нельзя — в его приемной в тот день сидели и никак не могли дожидаться приема не только начальники строек, но и председатель Верховного Совета Коми Ветошкин. Однако всем было ясно, что Френкелю с Воркутой говорить не о чем.

Два дня мы, как паровоз, предназначенный к слому и загнанный на запасные пути, уныло высиживали в отделах. Вечерами по темным улицам переполненного голодного города понуро возвращались на ночлег. Мы хорошо представляли себе, как могло отразиться такое отношение на всей воркутинской жизни.

3

На третий день все изменилось. Накануне откуда-то прилетел Бирман и долго совещался с Френкелем. Утром Френкель велел разыскать Тарханова и пригласил его на обед к себе домой. За обедом он разъяснял и вдалбливал Тарханову то, с чем мы сами ехали в главк и что хотели вдалбливать Френкелю, а именно: что страна осталась без топлива, что Воркутинский бассейн становится чуть ли не главной топливной базой, что френкелевские дороги сооружаются специально для вывоза воркутинского угля и, если на Воркуте его не будет, не нужны будут и дороги, но если пойдет уголь, то на сооружение дорог не пожалеют ничего, лишь бы скорее он начал вывозиться. Вечером Фейтельсон был у Бирмана, а потом рассказывал:

— С этими людьми дело пойдет. Я ему говорю: Ленинград не сможет дать турбин, мы останемся без энергии. Он тут же предлагает: возьмите шведскую турбину, получена перед самой войной, еще не распаковывалась. Я заговорил о врубмашинах. Он спрашивает: сколько? Оказывается, можно взять сколько угодно из эвакуированных. Все сразу. Так работать можно.

Мы стали именинниками. Нам выделили массу всякой всячины, наши планы утвердили. И, как всегда, когда везет, начала улучшаться и общая обстановка. Сначала скромно, а потом все увереннее радио стало говорить о победе под Москвой. Какое колоссальное облегчение для всех несла эта победа! Вместо беспомощного состояния людей, загнанных и прижатых в угол, вместо затаенной досады и отчаяния у всех появилась радость. Это была очень боязливая радость, которую даже не проявляли или проявляли с оговорками, это была радость почти было утраченной надежды.

Все стали усиленно допытываться друг у друга, что слышно, что отняли у немцев. Вскоре появились приезжие, видевшие людей с освобожденных территорий. Мы жадно расспрашивали, стараясь уловить в их рассказах уверенность в том, что немцы не могут воевать в наших условиях, что они зарвались, что если еще напрячься, еще подналечь, то они добегут, как в свое время побежали французы.

В праздничном настроении мы поехали к себе на Воркуту. В Усть-Усе пересадка. Надо было ждать пассажирского поезда, который по неостроенной дороге ходил только раз в неделю. Мы пошли на Ретюнинский лагпункт. В комнате для приезжих оказались доктор Тепловский и двое инженеров. Они уже трое суток без отдыха играли в преферанс и были настолько поглощены этим, что еле поздоровались и ни о чем не стали расспрашивать. Наши тоже включились в игру. В комнате было накурено так, что дым стоял как от костра. Я лег спать, но постоянно просыпался от духоты и криков картежников. На другой день встал с головной болью и отправился в лагерьный стационар к своему старому приятелю доктору Крамову. Он обрадовался мне какой-то необычной радостью, дал пирамидон, показал стационар, а когда я собрался ухо-

доть, попросил разрешения проводить меня. Оставшись наедине со мной, он сказал:

— Владимир Васильевич, ваш приезд — это спасение! Добейтесь, чтобы меня перевели отсюда на Воркуту.

Я ответил:

— Здесь Тепловский. Вы говорили с ним?

— Он обещал. Но я не уверен. Добейтесь. Я очень прошу.

— Я постараюсь.

Он помолчал, но через десяток шагов заговорил опять:

— Очень прошу вас. Это дело жизни и смерти!

Я с удивлением посмотрел на него.

— Только вам одному можно об этом сказать. Оставаться здесь опасно...—

Он опять запнулся.— Они... ну, да скажу прямо: они готовят восстание.— И, оглянувшись, он наклонился ко мне и зашептал: — Лагпункт весь в руках бытовиков. Пятьдесят восьмью Ретюнин почти полностью отправил на Воркуту. Осталось несколько человек. Но из них некоторые тоже сблатовались. Вот Соломин, вы его знаете, он здесь прораб. Он у них совсем свой, на лагпункте он вроде политического комиссара. Они Бог знает что могут затеять.

— Наверное, все это несерьезно. Болтовня.

— Какая болтовня?! У них все готово. Ретюнин уже несколько месяцев выписывает с базы и создает запасы. У них даже знамя заготовлено. Ретюнин объявлен начальником и командиром, Соломин — комиссаром.

— Ну, Ретюнин — романтик...

— Да вы даже не представляете, насколько все это серьезно. Они уже собирались выступить седьмого ноября. Только бухгалтер отговорил. Очень порядочный человек, у него пятьдесят восьмая, но он пользуется у них большим авторитетом. Он уговорил не выступать.

Я начал верить. Крамов умоляюще шептал:

— Вызовьте меня отсюда! Здесь нельзя оставаться. И медлить нельзя!

Крамов, по-видимому, ничего не выдумывал. На лагпункте было собрано человек полтора так называемых бытовиков, среди которых имелось сколько угодно безрассудных голов, способных на любую авантюру. А уговорить Ретюнина с его романтической настроенностью сыграть в этой аванюре роль вождя было нетрудно. Подумать же, какую провокационную роль в жизни всего лагерного населения это могло сыграть, никто не хотел и, наверное, даже был не в состоянии. Что делать?

Возвратившись в нашу комнату, я растолкал Тепловского, отсыпавшегося после ночного преферанса. Он испуганно вскочил и сел на кровати.

— Что случилось?

— Пойдем позавтракаем.

— Да что-то не хочется. Я и вчера не ел.

— Пойдем. Хоть воздухом подышишь.

По дороге я сказал ему:

— Как не стыдно держать такого врача, как Крамов, на этом паршивом лагпункте?! Ведь он профессор. Для воркутинских больниц он был бы находкой.

Тепловский промямлил что-то неопределенное.

— Переведи его на Воркуту.

— Да я хотел. Но здесь тоже без врача нельзя.

— Как только приедем, я скажу Тарханову, чтобы всех людей отсюда перевели на Воркуту. Здесь делать нечего.

— Ну, вот тогда...

— Чего же ждать? Потребуй его немедленно.

— Да, пожалуй, надо попробовать...

Днем я решил сходить на железнодорожную станцию. Дорога шла лесом. Кругом стояли застывшие под снежным покровом ели. Тишина была такая, что каждый шорох был отчетливо слышен. Когда я возвращался, уже вечерело, начинались лиловые сумерки. Вдруг вдалеке послышался скрип шагов. Навстречу шли люди. Если идешь по лесу в одиночку, встречи всегда жутковаты. Но я считал, что поддаваться страху нельзя. Скоро из-за поворота на меня вышли трое. Это были Ретюнин с Соломиным и еще кто-то. Ретюнин в белом полушубке, подпоясанный офицерским ремнем, шел медведем, наклонившись впе-

ред. Он сразу узнал меня и приветливо поздоровался. Черноглазый красавец Соломын помрачнел, замолк и отчужденно глядел на меня, как будто, не задерживаясь, намеревался идти дальше, но поданную руку все-таки пожал. Третий, маленький, в очках с разбитым стеклом, в лагерном бушлате, сердито сжал рот и руки не подал.

Ретюнин обратился ко мне:

— Из главка едешь?

— Да.

— Что новенького везешь?

— Да ведь вы, наверное, слышали, что немцев наконец ударили?

— Это мы слышали. А нам от этого полегчает?

— Не знаю. Пока, кажется, нет.

— Вот и нам кажется, что нет. Когда дальше едешь?

— Поезд завтра.

— Ну, счастливо.

Мы попрощались. Очевидно, ему было неудобно за отчужденность, проявленную его спутниками. Отойдя на пару шагов, он обернулся, помахал рукой и крикнул:

— Ретюнина не забывай!

У меня осталось чувство, что он хотел что-то сказать, но при своих спутниках не мог этого сделать.

На следующий день мы поехали. Было 31 декабря 1941 года. Старый вагон третьего класса скрипел, дергаясь и покачиваясь по невыровненному полотну. Преферансисты под этот скрип старались выспаться после усть-усинских бессонных ночей. Я стоял у окна и смотрел на бесконечный еловый лес, в котором лагерники прорубили трассу железной дороги. В обед кое-кто начал просыпаться. Позевывая и протирая очки, ко мне подошел доктор Тепловский и прижался лбом к холодному стеклу. Он, кажется, единственный из всей нашей компании избрал работу на Воркуте по собственной охоте, в погоне за «длинным рублем». Остальных загнали или по партийной мобилизации, или по решениям Особого совещания. Тепловский объездил все отдаленные стройки, везде получая огромные подъемные и двойные оклады. Но теперь в связи с войной застрял.

Встал рябой Куров, начальник горного отдела. В это время вагон дернуло так, что он чуть было не упал. Он схватился за меня:

— Вот сволочи! Называется, построили дорогу.

Его по партийной мобилизации пригнали на Воркуту с московского метрополитена еще в конце 30-х годов, но он до сих пор продолжал злиться. Во всем, по его мнению, были виноваты евреи. Находившиеся в большом количестве на Воркуте, еврей-заключенные не вызывали у него раздражения: они, как и полагалось, были людьми низшего порядка. Однако в главке он то и дело с оглядкой ворчал на «засилье валютчиков».

— Как они на нас спервоначалу накнулись! Привыкли рябину из говна выбирать.

Через пару дней мы доехали до Ухты. Отсюда на самолетах в несколько рейсов нас доставили на Воркуту. В первый же день я стал убеждать Тарханова в нецелесообразности держать в Усть-Усе 150 здоровых, работоспособных людей.

— Это настоящие плотники, а на воркутинских стройках у нас народ, короткий и топора никогда не держал.

— Да, но ведь там эти люди потребуются в навигацию!

— До навигации еще пять месяцев. Вернем.

Тарханов, как всегда, не возражал и не решал. Я настаивал. Наконец он сказал, что даст указание второму отделу. Попутно я посоветовал взять Крамова. Оказалось, что Тарханов его знает и согласен перебросить на Воркуту.

Как будто всего, что было нужно, я добился. Но когда через пару дней я осведомился у начальника второго отдела, что делается, то оказалось, что никакого распоряжения он еще не получал. Это распоряжение пришло к нему только через неделю. Переброски людей в зимнее время были связаны для второго отдела с большой канителью. Поэтому, и получив распоряжение, он не топился.

И вот примерно через месяц один из заключенных работников моего отдела шепнул мне:

— В Усть-Усе восстание.

К вечеру об этом знали все. Часам к 12 ночи меня вызвал Тарханов. Как полагалось чекисту, он старался из всего сделать секрет. Он начал спрашивать о моих впечатлениях об усть-усинском рейде и о Ретюнине. Я, конечно, вынужден был отвечать, что, кроме комнаты приезжих, нигде не был и с Ретюниным не встречался. Но, чтобы не играть в прятки, спросил:

— А что, собственно, случилось в Усть-Усе?

Он потупился, а потом, подняв расстроенное лицо, сказал:

— Случилась страшная вещь, которая больно отзовется на всех: Ретюнин организовал массовый побег.

Восстановить историю Усть-Усинского восстания теперь почти невозможно. Живых его участников не осталось. Из тех, кто занимался его подавлением, наверное, никто ничего не расскажет. А следственное дело, которое вел НКВД, представляло собой, как и все дела того времени, сплошное вранье. По отрывочным слухам и кое-каким рассказам можно создать лишь более или менее вероятное представление о том, как все это происходило.

Ретюнин с наступлением осени стал выписывать и получать с базы лишнее продовольствие, фураж и обмундирование. Это не вызвало никаких подозрений, потому что на рейде обычно создавались аварийные запасы: с началом полевых сообщений с базой прерывалось. Никто не обратил внимания на то, что запасы начали создаваться чуть не за восемь-девять месяцев, что Ретюнин требовал концентратов, выписывал походные кухни, палатки, брал большое количество белых меховых полушубков. Никто не заметил и того, что в столлярных мастерских рейда вместо ремонта саней производилась их перестройка по проекту Соломина: на розвальнях сооружались такие же задники, как на тачанках, и устраивались сиденья. Бригадиры во всех бригадах были заменены людьми, имеющими военный опыт, близкими к Ретюнину и, по-видимому, знающими его намерения.

Все, кто руководил работами, очевидно, участвовали в разработке планов восстания, готовились к нему и готовили людей. Соломин вместе с бригадирами убеждал каждого в отдельности и даже целыми группами в том, что по мере продвижения немцев чекисты будут уничтожать заключенных так же, как в 1938 году. Единственное спасение — всем вместе подняться, уйти, поднять другие лагпункты и сформировать освободительную армию из заключенных. Тех, кто при этих разговорах высказывал сомнения, Ретюнин отправлял на Воркуту. Это была пятьдесят восьмая статья.

Несмотря на то, что подготовка охватывала сотни полторы человек, оперуполномоченный, который сидел в лагпункте и имел свою сеть доносчиков, ничего не видел и не знал. По-видимому, привычка заниматься только вымышленными делами лишила его способности видеть то, что происходило в действительности.

К 7 ноября все было готово. Но, как рассказывал Крамов, восстание удалось задержать. Однако в январе 1942 года оно все же совершилось.

Был выбран день, когда охрана должна была мыться. Половина вохровского отряда вечером отправилась в баню, солдаты разделись и пошли в парную. В это время все окна в бане снаружи заколотили заранее заготовленными щитами, из предбанника выбросили одежду парившихся солдат и заколотили двери. Человек пять удальцов, надев форменную одежду, полезли на сторожевые вышки и отобрали у опешивших караульных винтовки. Это было первое оружие, попавшее в руки восставших. С ним они напали на караул, охранявший цейхгауз, и завладели всеми винтовками, пулеметами и пистолетами. После этого была разоружена, связана и заперта остальная часть охраны. Все произошло очень быстро.

Ворота лагпункта открылись, и нарядчик побежал объявлять, чтобы все выходили. Некоторые, сразу догадавшись, с криками «ура» бросились за зону, за ними побежали любопытные. Но многие боялись и не выходили. Нарядчик, как на обычных разводах, ругался и вдруг, ко всеобщему удивлению, выхватил револьвер и, угрожая им, стал требовать, чтобы выходили все. За зоной народ столпился вокруг Ретюнина, стоявшего на ящике под фонарем. Он обратился к людям:

— Поздравляю с освобождением, товарищи!

Толпа закричала «ура». Потом выступил Соломин. Он сказал, что они уже не заключенные, а бойцы освободительной армии, что Ретюнин — командир, а он, Соломин, — комиссар и что прежние бригады — это роты, а бригадиры — ротные командиры. Затем Ретюнин приказал запрягать лошадей и грузить подводы. В страшном возбуждении, с криками люди стали выводить лошадей. Возбуждение передалось и им. Они ржали и нервно перебирали ногами. В этой суете и толкотне многие сбежали и спрятались в бараках. Когда к утру стали выдавать оружие и полушубки, то оказалось, что в армии насчитывается лишь около девяноста человек. Нарядчик хотел было выгонять остальных, но Ретюнин будто бы сказал: «Сами прибегут».

С рассветом все разместились по саням. Длиннейший обоз с одетыми в белые полушубки вооруженными людьми, с грузами, укрытыми брезентом, выехал на реку и направился к слиянию Усы с Печорой. Там на высоком берегу стояла Усть-Уса. По первоначальному плану обоз должен был, не вызывая в городе никаких подозрений, миновать его и пойти вверх по Усе, где через каждые сорок—пятьдесят километров были лагпункты, которые и предполагалось освобождать. Но люди, возбужденные всем происшедшим, хотели действия.

Они требовали взять город: «Не подумали бы, что мы беглецы какие-нибудь!» Ретюнин понимал, что это все усложнит, но противостоять общему настроению не мог да и сам находился в том возбуждении, которое разряжается только действием.

Он оставил груженую часть обоза на реке, а сам повел саней двадцать в гору. Город только что проснулся, на улицах появились люди, идущие на работу. Ретюнин со своими людьми разрезал территорию города на две части, занял окраинную часть, напал на милицию, убил начальника милиции, открыл тюрьму и разоружил милиционеров. Несмотря на этот успех, он почему-то прекратил наступление на город, снял оцепление и с захваченным оружием быстро спустился на реку.

План дальнейшего движения пришлось изменить. Было очевидно, что из Усть-Усы уже звонят по всем лагпунктам, а там собирают силы для встречи с Ретюниным. Поэтому идти решили не по Усе, а вниз по Печоре, с тем чтобы потом подняться на северо-западный берег и выйти на Усу из лесов.

Все в том же возбуждении, окрыленные легкими успехами, люди гнали обоз. К полудню он достиг большого села, через которое дорога вела в прибрежные леса и по ним к реке Усе. Шедшая в авангарде тройка вымахала на берег и понеслась по деревенской улице. Ехавшие на ней удалые ребята свистели разбойничьим посвистом и кричали, сгоняя встречных с дороги. За ними на рысях шел весь обоз.

Смеркалось тогда рано. Проехав по лесу не больше десяти километров, Ретюнин велел свернуть с дороги. С трудом продираясь по сугробам, обоз вышел на поляну, закрытую со всех сторон разлапистыми деревьями. Здесь устроили первую стоянку — поставили палатки, кухни, стали варить обед. Во все стороны были высланы караулы. Ночью их дважды сменяли. Третья смена пошла утром.

В эту смену обнаружилось происшествие, которого при общем увлечении первыми успехами никто не предвидел. Оказалось, что одна караульная группа, состоявшая из трех воров и одного местного колхозника-коми, ушла. Сначала подумали, что они отошли в сторону и заблудились, искали их, кричали, ждали, но скоро поняли, что они ушли совсем. Соломин решил, что мириться с этим нельзя. Необходимо было сразу же кого-нибудь наказать. Об этом можно догадываться по тому, что позднее, когда обследовалось место стоянки, там был обнаружен труп человека, убитого выстрелом из кольта. Это был командир того отделения, в котором числились дезертиры. Кольт носил Соломин.

Днем обоз выбрался на дорогу. Промерзшие, подавленные бегством караула и последовавшей расправой люди ехали уже без того подъема, который был у них накануне. Лес тянулся без конца и края. Дорога была очень плохо наезжена. Ясного представления у командования, куда она ведет, не было. К вечеру подъехали к месту, где она расходилась в разные стороны. Ретюнин решил устроить здесь стоянку, а вперед по дорогам послал двое саней с разведчиками. Под утро вернулись одни сани. Дорога, по которой они ездили, приводила опять к Печоре. Вторых саней, на которых уехало трое очень бойких пар-

ней, не было. Их ждали сутки, но они так и не вернулись. По-видимому, никакой новой расправы уже не предпринималось.

Плутание по лесу продолжалось несколько дней. Наконец примерно через неделю ранним, еще темным утром обоз вышел на Усу. Это всех обрадовало. Но, когда стало рассветать, послышался нарастающий гул самолета. Вскоре его увидели все. Он летел со стороны Усть-Усы. Долетев до обоза, он сделал круг и, очевидно, занялся рассматриванием того, что делалось на реке, потом снизился, сделал второй круг и, в чем-то убедившись, поднялся и улетел. Все забеспокоились, побежали к Ретюнину, начали требовать, чтобы он повернул в лес.

Вдруг неожиданно с оглушительным ревом самолет возник над обозом прямо из лесу и так низко, что казалось, заденет за головы. Лошади бросились в стороны, увязая в снегу, опрокидывая сани и ломая оглобли. Оглушенные ревом мотора, вышвырнутые из саней и утопающие в сугробах люди сначала не поняли, что самолет, пронесшийся над головами, обстрелял их из пулемета. Только когда он исчез, все увидели происшедшую катастрофу: две лошади были убиты, две искалечены, убито было пять человек и шесть тяжело ранено. Начали выволакивать лошадей и сани из сугробов, подбирать и заново грузить кладь, поправлять и заменять изломанные оглобли. До поздней ночи пришлось заниматься восстановлением разрушенного обоза. Наконец усталые и измученные люди кое-как устроились на ночевку в перелеске, не отъезжая далеко от берега.

Утром решили уйти с реки, но дороги в лес не было, и пришлось гнать по реке, чтобы найти ее. В это время опять на бреющем полете налетел самолет и снова обстрелял их из пулемета. Опять повторилась та же катастрофа. Перепуганные и подавленные люди кое-как восстановили обоз и погнали его назад к той дороге, по которой накануне вышли из леса. К ночи они прибыли на одну из своих прежних стоянок. Вся численность армии не превышала теперь шестидесяти человек.

Ретюнин, наверное, еще не отказывался от мысли выйти на Усу и двигаться к ближайшим лагпунктам. Оставшихся сил могло хватить, чтобы освободить какой-нибудь небольшой лагпункт и за его счет усилить повстанческую армию. Без этого начатое дело теряло свой смысл. Но многие стали настаивать на том, чтобы вернуться на Печору и двинуться к деревням спецпоселенцев. Соломин, проводивший в свое время коллективизацию, считал, что мужики, посланные в эти деревни, скорее, чем кто-либо, могли примкнуть к повстанцам. Многие другие, утратив уверенность в успехе затеянного предприятия, поддерживали его, рассчитывая, что по деревням легче будет растекаться и убегать. В течение трех дней обоз оставался на стоянке. По всей вероятности, люди спорили и не могли договориться.

Каждый день в небе появлялись самолеты. Они не могли обнаружить повстанцев под деревьями и тщательно рассматривали местность.

Решено было ехать по Печоре. Двигаться должны были только по ночам, а днем прятаться в лесах. Когда в лунную морозную ночь обоз потихоньку подъезжал к деревне, через которую со свистом и криками проносился две недели назад, то по первым двум саням началась стрельба, передняя лошадь упала, один седок был убит, другой, раненый, бросился во вторые сани, и они помчались назад. Из изб выбегали и строились солдаты. Очевидно, самолеты хотя и потеряли повстанцев, но определили район, в котором они находились. Этот район стали окружать войска. Поворачивать обоз обратно было нельзя. Это означало бы попасть в западню. Ретюнин решил прорваться сквозь воинскую заставу.

Опять, как и в первый раз, со свистом и гиканьем, стреляя по солдатам из пулеметов, повстанцы понеслись по деревне. Но и по ним открыли пулеметный огонь. Еще две лошади были выведены из строя, несколько человек убито и ранено, однако обоз все-таки вырвался на Печору и во весь опор помчался по хорошо наезженной речной дороге. Долго так скакать было нельзя. Перешли на рысь, потом на шаг. От уставших, мокрых лошадей шел пар. Они тяжело дышали и устало мотали головами. Люди стали перекидаться, выясняя, кто жив, кто ранен. Но вскоре все услышали, что вслед за ними идут грузовые машины. Снова помчались. Берега были крутые, съехать с реки и укрыться в лесу было невозможно. Уже светало. И вот в небе опять появился самолет. Он летел вы-

соко, однако должен был ясно видеть скачущий обоз и все время держался над ним. Наконец оказалось возможным свернуть на берег. Погнали усталых лошадей, взобрались на гору и двинулись к лесу. Самолет продолжал лететь над ними. Добравшись до леса, Ретюнин приказал рубить деревья и делать завалы. Надо было готовиться к обороне. На следующее утро караулы донесли, что с Печоры движется большой отряд пехоты. Немного позднее выяснилось, что со стороны леса местность тоже занята солдатами. Началась перестрелка.

Стоянка повстанцев оказалась под сильным перекрестным пулеметным огнем. Живых оставалось все меньше и меньше. По чьему-то распоряжению раненых стали добывать. Стрельба шла весь день. Ночью окружение не снималось. С рассветом стоянку снова начали обстреливать. В ответ следовали только отдельные редкие выстрелы. Окружение стало сжиматься.

К полудню повстанцы перестали отстреливаться. Из окружения кричали: «Сдавайся!» Никто не отвечал, но подходить к стоянке солдаты не решались. Они продолжали кричать: «Сдавайтесь, гады!» Прошла еще ночь. Наутро одну из рот все-таки заставили занять стоянку. Никого живых там не оказалось.

Тем временем оперативники арестовали всех, кто оставался на ретюнинском лагпункте, отказавшись участвовать в восстании.

Их увезли в Сыктывкар. В их числе были доктор Крамов, бухгалтер, ставшийся предотвратить восстание, и другие. Началось следствие. Его вел командированный из Москвы подполковник Карамышев. Всех заставили сознаться в том, что именно они организовали восстание, и расстреляли.

4

После ретюнинского восстания все ждали притеснений и репрессий. Лагерники всегда жили в ожидании неприятностей: то с обжитого места погонят в худший барак или перетасуют бригады и переведут к какому-нибудь негодю, то велют снять ватные брюки и заставят мерзнуть в летних штанах, а то обещут и отнимут пару собственного белья, или сунут в этап, или еще что-нибудь похуже... В этом проявлялись беспорядки заключенных и зависимость всей их жизни от усмотрения начальничков.

Но репрессии, связанные с подозрениями в повстанческих замыслах, не могли быть делом лагерного начальства. Этим занимались оперативно-чекистские власти, носившие алые петлицы. А они не действовали по собственной инициативе. Они ждали указаний и пока никого не трогали. Разговоров о ретюнинском восстании было немного, но велись они уже без утайки, так же, как о других далеких эпизодах воркутинской героики, хотя обычный повествовательный-насмешливый тон при этом иногда и не выдерживался.

Помню, у меня в управлении как-то вечером сидели Панин и Николай Иванович Прикшайтис. Мы закончили наши дела и почему-то вспомнили об Усть-Усинском восстании.

Прикшайтис сказал:

— Надо было с ума сойти, чтобы такое затеять!

— А бандитам-то что?

Это показалось мне несправедливым.

— Ретюнин был не такой уж отпетый бандит.

— Но с головой, которая могла во-о-от как вскружиться.— Панин закрутил пальцем вверх.

Прикшайтис вдруг загорячился:

— А кто кружил, кто кружил — у них-то были головы? Тут все мысли только на то направлены, чтобы как-нибудь выжить, а они затеяли войну — мышей с котом. Ну их!

Панин потупился, сделал сигарку, послунывил ее, набил махоркой и сказал:

— А ты ищешь, кто кружил? Не за свое дело взялся. Когда миллионы людей лишены всяких прав и надежд да еще поставлены под угрозу массового уничтожения, головы могут и сами собой кружиться. Это даже наши начальники стали понимать. Они очень испугались.

— Создали, подлецы, армию, а теперь боятся!

— А все-таки сколько в ней?

— Сколько? — переспросил Панин. — Это можно посчитать. Все лесозаготовки ведутся лагерями. Заготовляем мы двести семьдесят миллионов кубов, считай, по пятьсот кубов на человека — вот полмиллиона. Уголь на Печоре, в Караганде, в Кузнецке, Восточной Сибири — это тоже лагеря. Сто миллионов тонн, по тонне на человеко-день — вот еще около четырехсот тысяч. Все дорожное строительство, гидростроительство, промстроительство, кроме легкой промышленности; строительство городов Магадана, Норильска, Комсомольска, всех не перечить, тоже лагеря. Считай, три с половиной миллиона. Дальше. Вся цветная металлургия — джезказганская медь, все золото — не знаю сколько, но худо-бедно триста тысяч занято. Значит, только на главнейших, основных работах два миллиона семьсот тысяч. Чтоб вести основные работы, нужно, знаешь, какое вспомогательное хозяйство? Механические заводы, электростанции, свой транспорт, погрузо-разгрузочные работы, жилищное строительство и множество другой всякой всячины. Это кроме услуги. У нас все это занимает сколько? Столько же, сколько и основные работы. И везде так. Значит, уже не два миллиона семьсот, а пять с половиной. А для того, чтобы пять с половиной работало, надо иметь не меньше этого в службе, в больницах, в изоляторах и тюрьмах, в этапах, в инвалидных лагерях, в оздоровительных командах, в разных подсобных лагерях вроде Темников, где для богатых барынь занимаются вышивками, сельскохозяйственных, рыболовецких, оленеводческих лагерях и прочее. Вот и получается одиннадцать миллионов, а на них полтора миллиона вооруженной охраны. Если я и ошибся, то только в сторону уменьшения.

Пока Панин считал, Прикшайтис утвердительно кивал. Потом спросил:

— А куда же ЦСУ прячет эти двенадцать миллионов?

Мне пришлось объяснить:

— Никуда. Каждый квартал я отсылаю сводку по труду. В ней никаких лагерей нет. Просто работающие.

Открыто нельзя было ни говорить, ни писать о том, что в нашей стране есть это особое двенадцатимиллионное рабовладельческое государство. Все делали вид, будто его не существует. А оно существовало, жило обособленной жизнью, своими, никем не писанными законами, своими планами и неизбывным горем и никого не выпускало за свои пределы. Лагерь был полон людьми, отбывшими установленные им сроки. Никого из них не освобождали. Немногих, успевших освободиться до войны, держали на «вольнонаемном положении». Их права, как права вольноотпущенных в Древнем Риме, были немногим шире, чем у лагерников: жить и работать вне лагеря они практически не могли.

Выгодным ли было для народного хозяйства использование этой многомиллионной массы принудительного труда? Если весь его расход относить на конечную продукцию, которую можно учесть, то выгоды не было никакой. Наш воркутинский уголь обходился чуть ли не вдвое дороже, чем донецкий. Ведь в Донбассе и любом другом обжитом районе в стоимость угля не включался труд, который затрачивался в столовых, в больницах, труд на строительстве жилого фонда, труд домашних хозяек, милиционеров и т. п. Все это никакого отношения к производству не имело. А в лагере для того, чтобы добывать уголь, нужно было создавать все, что требовалось для существования, да еще в исключительно тяжелых условиях, да еще с оплатой охраны и чекистского аппарата. На Воркуте добычей угля фактически занималось не больше четверти общей численности загнанного туда народа, а три четверти осваивали дикий, совершенно необжитой район, в котором до того кочевало только несколько ненецких семей, еще не вышедших из условий каменного века.

Выгода принудительного труда заключалась в том, что он будто бы мог давать дешевую продукцию, а в том, что с его помощью можно было расширять освоение территории, в короткие сроки овладевать ее богатствами, делать ее доступной для дальнейшего нормального развития. На протяжении всей русской истории захваты территорий сопровождались насильственным перегоном людей, которых для этого лишали свободы и всех человеческих прав. Так происходила колонизация Сибири, так Петр строил свой Петербург, свои крепости и каналы, так создавались уральские заводы.

В этом отношении, как и во многих других, Сталин продолжал исторические традиции царской России. Но масштабы созданной им полицейской систе-

мы необычайно расширили возможности для насильственной колонизации, а она, в свою очередь, требовала расширения и укрепления полицейской диктатуры. Многие лагерники понимали, что их жизни навсегда отданы в жертву насильственному освоению необжитых территорий. Но смириться с мыслью, что жизнь отнята, не мог никто. Все мечтали. Всем казалось, что продолжаться без конца это не должно, что после войны режим станет мягче. Каждый хотел выжить и вернуться домой. Я старался не мечтать о возвращении домой, уверив себя, что дома у меня нет. Но я тоже создавал свой мир, не связанный с действительностью, и уходил в него.

Поздно вечером после напряженного рабочего дня я через крошечную темноту или сквозь пургу шел к Пантелееву. Он изо всех сил старался приблизить меня к художественному творчеству (именно об этом я мечтал в детстве). Освободившись перед войной, он теперь числился вольнонаемным художником. У него в самом скверном, в самом холодном вольном бараке была отдельная комната — мастерская. Он захламлил ее так же, как в свое время избушку на Воркуте-вом. И днем и ночью в ней горели две яркие лампы. Не выключая их, Пантелеев, как и прежде, без белья и не раздеваясь, спал, укрывшись своей старой шинелью.

По своей натуре он был не способен выполнять постоянные обязанности. И они отпадали от него как-то сами собой. Но это не значит, что он был бездельником. Ему то и дело что-нибудь поручалось, и он оформлял спектакли, рисовал почетные грамоты, копировал для какого-нибудь начальника «Трех богатырей», рисовал карикатуры, плакаты и к каждому случайному делу относился с увлечением. Если их не было, он резал индейских богов, красил их ярко-желтой и красной краской и обрамлял ими спинку своей койки.

Делать из меня художника было для него тоже страстным увлечением. Он разыскал на шахте и натаскал в свою комнату целую бочку серой, очень пластичной глины. Столяры по его заказу сделали скульптурный верстак с кругом. Я приходил к нему, как в студию. Раз в неделю часов до двух, до трех ночи я лепил. Сколько радости было в этом нелегком труде...

Так жили мы в нашей резервации. Вдруг из далекого от нас мира Пантелееву пришло коротенькое извещение: его второго мальчика раздавила грузовая машина. Кто-то из близких писал, что, когда ребенок играл под аркой ворот, грузовик, пятясь задом, наехал на него. Тот даже не вскрикнул. А старший мальчик убежал на фронт. Позднее я узнал, что все это было выдуманно: семья, по-видимому, хотела, чтобы у Пантелеева не осталось никакого повода для возвращения домой. Но что с ним случилось!

Он перестал спать. Регулярного сна у него и так никогда не было. Ночами он работал, но днем обычно урывками спал. Теперь он не спал ни днем, ни ночью, все время ходил голодный, смертельно усталый, с всплохоченной бородой, помятым лицом, устратившим свое настороженное ястребиное выражение. Приятели-врачи давали ему в больших дозах люминал, однако он все равно не мог заснуть. Его пытались кормить, но и есть он не мог. Оставаться в комнате он был не в состоянии, ходил, уже еле передвигая ноги, но все-таки ходил и ходил. Так продолжалось почти три недели. Наконец он заперся в своей комнате, а через пару суток пришел ко мне и вынул из-под обшлага своей шинели синюю ученическую тетрадь.

— Слушайте.

Это было очень сильное литературное произведение. В нем один за другим шли эпизоды маленькой, только что начавшейся, глупенькой, но яркой и свежей, как распускающийся цветок, радостной жизни. Вот ребенок своими ясными, удивленно-внимательными глазками смотрит на невиданную им муху, вот он с пыhtением старательно размазывает по полу сделанную им лужу, вот выжит от непонятого восторга, и... вот этой жизни не стало! Всю силу пережитого горя Пантелеев вложил в эту маленькую повесть. И горе получило самостоятельную жизнь. Оно оставило Пантелеева. Целые сутки он отсыпался.

Как ни странно, жить в нашем лагере в конце 1942 года стало легче.

В стране свирепствовал голод. Лагерь перестал получать и ржаную муку, и даже овес. Но воркутинский уголь становился все нужнее и нужнее. Потому, как только начали поступать продукты по американскому ленд-лизу, они потекли на Воркуту. Бывали периоды, когда из-за отсутствия черного хлеба весь лагерь кормили пышным американским белым хлебом. Знаменитой американ-

ской тушенки поступало столько, что всю металлическую посуду для лагеря — плошки, кружки, всю осветительную арматуру, а местами и крыши стали делать из банок. Целыми вагонами привозили красиво упакованное, хотя и прогорклое, залежавшееся американское масло. Тоннами завозили аскорбиновую кислоту и почти выжили цингу. Наряжали заключенных в какие-то спортивные американские костюмы и желтые башмаки с подошвами в два пальца толщиной.

Жить в нашем лагере стало, пожалуй, лучше, чем на воле. В конце 1942-го или в начале 1943 года к нам привезли эшелон ленинградских детей. Только тут мы воочию увидели, что происходило в стране. Но чем были виноваты эти младенцы?! Это были маленькие скелетики, обтянутые кожей. Они не смеялись и не плакали, а упорно, не по-детски смотрели темными, глубоко запавшими глазами. Их отправили в наш ближайший совхоз.

Однако лучше у нас стало не только снабжение. Изменились представления об опасности разных категорий заключенных. На Воркуту привезли немцев Поволжья. Они не считались заключенными: партийные оставались партийными, комсомольцы — комсомольцами, — но их было приказано считать самыми опасными. Несмотря на их номинальную вольность, они были загнаны на самые отдаленные лагпункты под строжайшую охрану. А про разных террористов, троцкистов и шпионов, которых раньше было велено бояться больше всех остальных, забыли. Ордынский стал работать в управлении.

Немного погодя начальнику лагеря предоставили право «пересидчиков» за «особые трудовые отличия» переводить на вольнонаемное положение. Тарханов сначала, конечно, боялся, как бы чего не сказали и как бы не заподозрили его в притуплении бдительности. Он говорил:

— Освобождать буду аптекарскими дозами. Как по рецептам.

Первыми он освободил известных на всю Воркуту горных мастеров. Это было событие, о котором кричали лагерное радио и писались плакаты. Но вскоре Фейтельсон настоял, чтобы освободили и ведущих инженеров. Потом пересидчиков-горняков стали освобождать подряд. За ними пошли строители, механики, железнодорожники и другие. Вскоре крупнейший лагпункт пришлось разгородить и в бараках расселить новых вольнонаемных.

Среди экономистов скопилось тоже человек двадцать пересидчиков. К этому времени я опять был начальником, потому что Озерова вынуждены были убрать за пьянство. Со списком моих пересидчиков я пошел к Тарханову. Он испугался:

— Политотдел и так кричит, что я освобождаю всех троцкистов. А ведь ваши угля не дают! Не могу. Только по аптекарским рецептам.

Началась торговля. После долгих уговоров он согласился на десять человек. Кого же включить в их число? Любому обидно оставаться под конвоем, когда других освобождают! Но один из наших пересидчиков велел передать мне, что он не желает освобождаться.

Это был Малеев — один из самых ярких и талантливых наших экономистов. В прошлом он работал в «Комсомольской правде», но еще в 1935 году как троцкист был отправлен в ссылку, а оттуда в лагерь. На первых порах в лагере он пытался отмежеваться от таких же, как он, троцкистов. Он думал, что это ему поможет, но, конечно, вызвал только настороженное к себе отношение. Он долго не мог устроиться на какую-нибудь работу по специальности, так как его подозревали в связях с оперотделом. А теперь ему хотелось продемонстрировать свою солидарность с теми, кто оставался в лагере. Я не стал его отговаривать. У двух или трех экономистов сроки только что закончились, и по сравнению с другими, которые пересиживали больше года, они могли подождать. Что же касается остальных, то выбора не было — кого-то надо было обижать. Посоветовавшись со своими помощниками, я решил включить в список прежде всего начальников плановых частей, рассчитывая, что в дальнейшем сумею добиться освобождения и для остальных.

Когда оформление и согласование прошли все инстанции и документы об освобождении были готовы, всех пригласили в кабинет к Тарханову. Он сказал небольшую речь и стал вручать документы, подчеркнуто называя каждого товарищем.

— Товарищ Папава Александр Иванович, поздравляю! — Следовало рукопожатие.

— Товарищ Прикшайтис Николай Иванович...

По окончании этой процедуры все, выйдя из кабинета, столпились в приемной. Кто-то подошел ко мне:

— Куда же теперь деваться? Ведь жить-то негде!

— И одеяло пришлось сдать. А где теперь возьмешь?

Но кое-как большинство все-таки устроилось. Некоторые оказались очень настойчивыми в делах собственного устройства, особенно Николай Иванович Прикшайтис. Вообще характеры, которые в заключении были сглажены общей подавленностью, начали теперь проявляться с непредвиденной резкостью. Все человеческие страсти вырвались наружу, как джинн из раскупоренной бутылки. Александр Иванович Папава быстро обзавелся любовницами из числа скучающих жен вохровских офицеров и повел веселую жизнь с кутежами и карточной игрой. Кое-кто, наоборот, оказался прижимисто-скупым и стал всячески отгораживаться от товарищей. Некоторые проявили неудержимую страсть к хотя бы небольшому господству над людьми; они считали, что родились начальниками. Многие старались, преодолевая наши скудные возможности, устраивать свою жизнь, «как у людей», обзаводиться обстановкой, скупать краденые вещи и заводить временные семьи. Николай Иванович Прикшайтис решил оставить довольно-таки постную жизнь экономиста и стал заведовать бытовым комбинатом, то есть пошивочными и сапожными мастерскими, представлявшими собой жирный пирог, к которому рвалось множество охотников.

Все экономисты у нас были людьми незаурядными и, во всяком случае, образованными и умными. Почему же так заурядны оказались те страсти, которыми они начали жить? В этом хотелось разобраться и написать. Я даже придумал не совсем обычную литературную форму для этого — писать не своими серыми словами, а меткими и отточенными фразами такого общепризнанного знатока человеческих страстей, каким считался Шекспир. Я начал перечитывать его пьесы. К моему удивлению, не только меткого, но вообще ни одного веского, сколько-нибудь правдивого слова в них не оказалось. Толстой был прав: Шекспир готовил для театра лишь грубые схемы, которые актерам и режиссерам приходилось наполнять жизненным содержанием. Я рассказал об этом Пантелееву. Он засмеялся:

— Да в этом-то и заключается его гениальность! Шекспир, как кубисты в живописи, давал голую конструкцию вещей, а заполнять ее предоставлял зрителю. Поэтому он и живет столько столетий: каждое поколение заполняет его своим содержанием. Вы бы лучше взяли Достоевского. Все страсти и страстишки разобраны у него в их полной реальности.

— А вы давно читали Достоевского?

— Давно. А что?

— Попробуйте почитать теперь. Вы увидите, что все страсти он списал с наших урок. Посидел с уголовной шпаной и все свое творчество посвятил ей! Его рогожины, митенки, грушеньки, настасьи филипповны — все у нас здесь на глазах. Можете наблюдать их в натуре, с их надрывами, с пресловутой полярностью — с бесчеловечным хамством и отчаянным благородством. Вы поговорите с кем-нибудь из наших воров или бандитов, только с настоящими, а не выдуманными, они сразу начнут вам изливать свою «слишком широкую» и противоречивую душу, начнут надрывно рассказывать о своих подлостях и обязательно о своем благородстве, начнут играть с Богом и будут накручивать истерию, а потом вдруг набросятся на вас, заподозрив, что вы смеетесь над ними или осуждаете их. И все это языком, каким говорят герои Достоевского, хотя его не читали и даже о нем не слыхали.

Самое поразительное, что этот специфический типаж во всем мире приняли за русский характер! А ведь русский человек отличается удивительной сдержанностью. Это европейцы и американцы по болтливости обогнали сорок. А среди русских к истерическим излияниям склонна только уголовная шпана, утратившая всякие национальные особенности. Она совершенно одинакова во всех странах. Это международная порода, или, вернее, международные отбросы. Судить о человеческих страстях по их страсти — все равно что изучать свойства лесных материалов по гнилушкам.

Так у меня ничего и не вышло. К тому же и времени не было: меня опять вызвали в главк.

После того как немцы от московского фронта откатились, главк вернулся в Москву. В нашей резервации меня собирали туда, как за границу. Мне заказали новый костюм, выдали белый полушубок и белые фетровые бурки, снабдили большим запасом американской тушенки и спальным мешком. В начале октября, очень морозным утром, я и другие работники поехали на аэродром. Подняв заиндевшие воротники, поскрипывая новыми бурками по плотному снегу, мы подошли к самолетам, погрузили наши тяжелые чемоданы и полетели.

В Москве стоял солнечный осенний день. Деревья на бульварах были покрыты еще не опавшими, хотя уже желтыми листьями. Люди, как летом, ходили раздевшись. Ехать к себе я не мог: пустая квартира стояла запертой. Мне и начальнику горного отдела дали адрес одного из наших сослуживцев. В своих белых полушубках и бурках мы по залитым солнцем бульварам потащились на Маросейку. Я снял с мокрой головы шапку-ушанку, распахнул полушубок, но на мне были еще меховая безрукавка, шерстяной свитер, толстая шерстяная гимнастерка. Не только белье, но и свитер и гимнастерка промокли от пота.

Наконец мы дотащились до нужного нам дома. Квартира оказалась на пятом этаже, а лифт, конечно, не работал. Сняв полушубки, мы в изнеможении уселись во дворе на свои чемоданы. Мимо проходили какие-то старухи и с любопытством смотрели на нас. Одна спросила:

— Вы к кому?

Мы сказали.

— А у них квартиру разбомбили. Вон угол отвалился.

В полной растерянности мы беспомощно поглядели друг на друга. Надевать полушубки и тащить еще куда-нибудь чемоданы у нас не было сил. Оставалось только сидеть. Когда мы пообсохли и отдохнули, мой товарищ полез на пятый этаж. Оказалось, что из семьи, в которую нас направили, в Москве продолжала жить только одна старуха, оставленная караулить имущество. В квартире действительно обвалился угол, но, так как соседние квартиры пустовали, а ключи от них хранились у нее, она перебралась в одну из них и, немного поколебавшись, поселила в ней и нас.

Утром, надев свои полушубки внакидку, мы пошли в главк. По пустынным улицам девушки в военной форме вели за поводки плывущие над ними огромные колбасы воздушных ограждений.

В качестве милиционеров на постах стояли также только женщины. Во многих окнах вместо стекол была вставлена фанера. На уцелевших стеклах всюду красовались кресты из бумажных полос. То там, то тут, нарушая порядок домов, зияли свежие пустыри. Местами проезды были загорожены надолбами из накрест врытых рельсов. Подходя к Ильинским воротам, мы поразились, увидев, что часть главного здания ЦК разбомблена, а дома напротив частично обвалились и сильно потрескались от удара взрывной волны. Недалеко от Лубянки нам впервые встретились пленные немцы. Небольшую партию их вывели из какого-то здания и усаживали в грузовик. Они были изранены, в белых окровавленных повязках, худые, заросшие, в жалких, измятых шинельках и обмотках.

Наверное, москвичам такие картины давно примелькались, но мы, не пропуская ничего, всматривались в каждую мелочь — в них отражалась война, о которой хотелось знать побольше и поточней, а знали мы только понаслышке. Пропуска в главк выдали нам только по предъявлению справок о том, что нам сделали полную санобработку в санпропускнике. Наши шапки и полушубки вызвали массу шуток, но, так как очень скоро наступили холода и москвичи стали дрожать в своих нетопленых помещениях, нам стали завидовать.

В этот приезд воркутинские планы я докладывал первому заместителю Берии — Чернышеву. Пропуск к нему заказали за три дня. Он был опечатан Гознаком и выглядел не хуже облигаций государственного займа. По пути к кабинету Чернышева его четыре раза проверяли и сверяли с моим паспортом. Наконец меня пустили в приемную, а из нее через дверь, замаскированную под книжный шкаф, я попал к Чернышеву. Это был головастый человек с внимательным взглядом и тихим, спокойным голосом. В течение того часа, который мне пришлось провести в его кабинете, ему то и дело звонили по какому-нибудь из пяти стоявших на столе телефонов. Из ответов Чернышева можно было понять, что все разговоры сводились к просьбам дать людей. НКВД оказался главным поставщиком рабочей силы.

В наших планах его интересовал только уголь — сколько и когда. Людей он обещал дать, но не сразу. Очевидно, ждал новых поступлений.

В Москве я пробыл три месяца. Московские улицы занесло снегом. Снег нигде не убирался. По сугробам вились только узкие тропинки.

На Воркуте я получил коротенькое письмо от жены из Краснокамска. Она писала: «Сегодня я похоронила свою Ляльку (это была ее дочь, родившаяся без меня от второго мужа). Она погибла за два дня от диспепсии. Трудно рассказать, что пережила я, держа в руках маленькое безжизненное тельце с навсегда закрытыми глазками, а потом копая могилу и засыпая мою девочку землей...» Очевидно, я был единственным близким человеком, с которым она могла поделиться этим горем. Я не мог оставлять ее одну и решил звать вместе с Катькой к себе на Воркуту.

5

Во время одной из очередных поездок в главк я узнал, что начальником Воркутинского комбината вместо Тарханова назначен Мальцев. Вскоре там же, в главке, я с ним встретился. Это был почти лысый, рыжеватый, очень плотный мужчина лет сорока, с крепко сжатым ртом (что должно было означать решительность). Хотя все военные уже надели тогда погоны, у него оставались прежние петлицы с ромбами.

Я сидел с ним в какой-то свободной комнате, когда вдруг к нам вбежал начальник сельхозотдела главка и с ходу стал кричать на меня:

— Где вы прячетесь? Вас никак не найдешь! Ваш сельхозплан еще не рассмотрен, а надо сдавать! Давайте скорее рассмотрим!

В главке к тому времени начальники отделов были произведены в офицеры. Вбежавший к нам носил капитанские погоны. Мальцев вдруг покраснел:

— Вы кто?

— Я? Я заведу сельхозотделом...

— Руки вон из карманов! Встать как следует! Почему не спросили разрешения обратиться?! Офицер называется. Кругом! Марш!

На Воркуту Мальцев попал за то, что его решительность даже на фронте показалась чрезмерной. Он командовал одной из так называемых строительных армий. В двух его полках задержалась выдача хлеба. Он сразу нашел виновных, выстроил полки в каре и на глазах у всех расстрелял двух интендантских майоров. По-видимому, все это было проделано так, что и в фронтовых условиях получилось неловко. Его сняли, и, очевидно, в связи с этим задержалось и утверждение в генеральском чине.

На Воркуте для его решительности было сколько угодно простора. Для заключенных был установлен двенадцатичасовой рабочий день без выходных, для вольнонаемных — десятичасовой. Что же касается его ближайшего окружения, то оно должно было «руководить боем» и днем, и ночью. По окончании суток Мальцев проводил диспетчерский отчет. Все начальники шахт по селектору должны были докладывать, как прошли сутки, чего не хватает, как готовились к следующему дню. Это тянулось до двух-трех, иногда до четырех часов ночи. Начальники шахт боялись диспетчерских отчетов, как школьники контрольных работ. Если график не выполнялся, они пытались врать, но так как у Мальцева лежал почасовой отчет, то из такого вранья обычно ничего не выходило. Тогда начинались разные выдумки — то людей недодали, то план записали без учета подготовленной линии забоя или еще что-нибудь. Мне тут же приходилось подсчитывать и доказывать, что все это вздор. С моих слов Мальцев кричал:

— Не выдумывайте! Все есть!

Не видя, что я присутствую при отчете, начальник шахты, конечно, заявлял, что Зубчанинов не в курсе дела. Мальцев, не колеблясь, резал:

— Раз начальник планового отдела говорит — значит, это так, будьте уверены! Объясняй по существу.

Работа с Мальцевым требовала невероятного напряжения. Сам он был покулачки вынослив и здоров, а кроме того, подбадривал себя спиртом. Он всегда был полупьян, часто прямо с утра. Однажды я вошел к нему в кабинет, как только он появился. Даже не скинув полушубка, он уже стоял у несгораемого шкафа и из спрятанной там бутылки наливал себе стакан спирта. По его мне-

нию, работать без этого было невозможно. Он и заключенным горнякам стал выдавать по кружке спирта.

По своему характеру Мальцев был прирожденный крепостник. Для него естественно было миловать и карать, а главное — жать, изо всех сил жать и выжимать из людей все до последней капли пота. Как-то утром он мне сказал:

— Всю ночь не спал. Как засел вчера читать про Демидова, так до утра не мог оторваться. Вы читали? Почитайте. Вот человек! В наше время он обязательно был бы коммунистом.

Речь шла о книге Федорова, где наглядно изображалась звериная натура основателя уральских заводов.

Как настоящий владделец «душ», Мальцев хотел, чтобы у него были и свои собственные таланты. А талантов в лагере сидело множество. И вот на Воркуте был создан великолепный крепостной театр. Художественным руководителем в нем оказался главный режиссер большого московского театра Борис Аркадьевич Мордвинов. Но Мальцев, конечно, и сам активно руководил художественной частью. Он велел сочинить марш горняков. Были состряпаны браваурная музыка и песня, в которой несколько раз повторялось: «Проходчики, откатчики, вперед, вперед, вперед!»

Когда все это прорепетировали перед Мальцевым, он остался доволен, но вдруг сообразил:

— Нет! Ведущая профессия — врубмашинисты. Надо вставить врубмашинистов.

— Врубмашинисты не подходят по размеру.

— По какому размеру?

— По размеру стиха.

— Расширить размеры!

Когда с большим трудом в песню втиснули врубмашинистов, Мальцев вспомнил:

— А ведь без электрослесарей нельзя. Электрослесарей обязательно вставить!

При всех сложностях мальцевского характера все же при нем в лагере стали появляться признаки кое-какой либерализации. Было разрешено даже на очень ответственные должности назначать самых страшных заключенных. Вместо Фейтельсона, который, не выдержав мальцевского режима, уехал, главным инженером был назначен «троцкист», только что переведенный на вольнонаемное положение. Мальцев выхлопотал ему даже звание майора. Начальником шахтостроительного управления стал заключенный со сроком 15 лет. Начальником железных дорог сделали тоже заключенного со сроком 15 лет. Главными инженерами шахт стали назначать даже каторжников с 25-летними и 15-летними сроками. Очевидно, наверху решили: пусть работают! Мальцев получил право не только переводить пересидчиков на вольнонаемное положение, но за хорошую работу и сокращать сроки. Ведь и по окончании срока никто за пределы лагеря не уходил! Своим правом Мальцев широко пользовался, верно, применяя иногда и другое право, которым Тарханов до него никогда не пользовался: за провинности или за плохую работу сажать освобожденных обратно в лагерь.

Но лично мне жить стало хуже. Не говоря о том, что не хватало времени для сна, пришлось бросить все, в чем заключалось содержание моей жизни, — и искусство, и книги, и интересные беседы. Я ощутил на себе правоту Маркса, сказавшего, что богатство человека в его свободном времени. Недаром всегда человечество боролось за сокращение рабочего дня. Наказание трудом придумали, по-видимому, тоже не зря.

К тому же наряду с некоторой либерализацией в лагере стали наблюдаться тревожные признаки. Начались аресты. Очевидно, в центре закончили изучение усть-усинского дела, и чекисты получили указания. Они начали действовать. На крупнейшей шахте № 1 была арестована группа заключенных инженерно-технических работников. Так как секреты быстро становились достоянием замысла: она готовилась взорвать шахту и поднять вооруженное восстание. Немного погодя на другой шахте тоже арестовали группу контрреволюционеров, в том числе и недавно переведенного на вольное положение плановика. И эти начали сознаваться примерно по той же схеме. Аресты «повстанче-

ских групп» происходили по всему лагерю. На всех лагпунктах, под носом у каждого оперуполномоченного, оказывается, формировались повстанческие организации, о которых никто не знал, но которые теперь чекисты обнаружили и вылавливали. То же происходило и в соседних лагерях — на Печоре и на Ухте.

Чекисты зря не сажали — все арестованные сознавались. Если бы мы не знали, как это делается, то могли бы думать, что во всех лагерях давно орудует разветвленная сеть какой-то мощной политической партии, которая готовит государственный переворот. Любопытно, что арестовывали и зачисляли в повстанческие группы совсем не тот контингент, который фактически участвовал в усть-усинском восстании. Брели исключительно интеллигенцию с контрреволюционными статьями, а уголовников не трогали. Таковы были указания.

Мальцев оперчекистской работы не знал. Он был военный инженер и не то боялся, не то принимал оперчекистскую деятельность всерьез, но в нее не совался. А никем не сдерживаемый оперотдел выполнял и перевыполнял планы. Обстановка начинала напоминать времена кирпичного завода. Каждого могли схватить и заставить признаться в несовершенно преступлении.

Такой информированный и дальновидный человек, как Капущевский, стал хлопотать о переводе в другое место. Он представлял это в полусмешном виде:

— Я, как тот еврей: когда ташкентский губернатор велел кастрировать верблюдов, он бжегал, резонно говоря: «Отрежут яйца, потом доказывай, что ты не верблюд».

Очень болезненно переживал создавшуюся обстановку Николай Иванович Ордынский. Он говорил:

— Я понимаю, что никто из арестованных никаких восстаний не готовил. Но если во всей этой версии есть хотя бы крупица правды, если кто-нибудь хотя бы дал повод подозревать повстанческие настроения, то я бы его расстрелял. Это я говорю совершенно серьезно. Вам это, может быть, непонятно. Вы выросли до таких высот, — он, как обычно, покашлял и сбоку посмотрел на меня, — что до вас даже оперчекистской рукой не достать. А для нас, обыкновенных зеков, повстанческие замыслы — это провокация, грозящая повторением кирпичного завода. А мне, да, наверное, и всем прочим, не хотелось бы свой труп оставлять в тундре.

У Ордынского кончался срок, и все его помыслы были направлены на то, чтобы, перейдя на вольное положение, выписать жену, голодавшую в блокадном Ленинграде. Однако, когда срок кончился, несмотря на согласие Мальцева, его не освободили. Я начал добиваться его освобождения, но ничего не вышло; оперотдел возражал. Пришлось обратиться туда. Заместитель начальника этого отдела сказал мне:

— Уж очень одиозная фигура. Ведь он из князей.

— Да нет!

— У нас такие данные. Ну, мы подумаем.

Это значило, что они решили и передумать не будут. Ордынский нервничал. По своей натуре он не был способен замыкаться и таить свое горе. Он со всеми делился своими неудачами и искал сочувствия. Вообще, несмотря на свою военную специальность, он был мягкий и женственный человек. Я посоветовал ему самому поговорить с Мальцевым. Мальцеву импонировали военные, а такой, как Ордынский, герой гражданской войны, видный деятель военного флота, морской профессор, должен был, безусловно, произвести впечатление. Так и получилось. Мальцев после беседы с Ордынским говорил мне, что он обязательно освободит его и использует на большой работе. Однако оперотдел отказал и Мальцеву. Ордынский дошел до такого состояния, что его хотели положить в больницу. Но как-то утром на работу он не явился. Мы узнали, что ночью его посадили в тюрьму. Прощаясь в барак, он сказал:

— Не хотят выпускать ни живым, ни мертвым.

Арест Ордынского был тяжелым ударом для меня. Мы давно были друзьями, я любил его и не меньше, чем он сам, хотел избавить его от навалившихся на него несчастий. Потеря Ордынского была для меня потерей очень близкого мне человека. А кроме того, я понимал, что когда там начнут тянуть из него жилы, то, конечно, свяжут с ним и близких ему людей. А я собрался привозить семью!

В тюрьме Ордынского держали в строгой изоляции, и долгое время ничего нельзя было о нем узнать. Только значительно позднее, месяцев через во-

семь, стало известно, что он готовил вооруженное восстание и руководил многими повстанческими группами, собравшимися свергнуть советскую власть.

Вслед за арестом Ордынского на меня надвинулось еще одно тяжелое событие: умер другой близкий мне человек — Иван Агапыч Панин. Он недомогал всю зиму 1943/44 года. Чувствовал он себя все хуже и хуже, работал через силу, иногда, сидя за столом, весь покрывался крупными каплями пота. Начал терять свою активность и ядовитую строптивость. Если раньше он пускался в непримиримые споры с противниками, то теперь уступал и как-то виновато соглашался. У него и походка стала неуверенной. После работы у себя в комнате он стал часто напиваться. Наконец приятели-врачи все-таки осмотрели его и велели немедленно лечь в больницу. Он не сопротивлялся.

Когда я в последний раз был у него в больнице, он уже не вставал. Про него нельзя было сказать, что он похудел: у него и раньше все кости выступали из-под сухой темной кожи. Но его живые, иронически прищуренные глаза всегда искрились за очками, а теперь все время, пока я занимал его рассказами, он смотрел на меня тусклым, отсутствующим взглядом. Уходя, я, конечно, произнес обычное в данном случае лживое пожелание:

— Поправляйтесь скорее, приходите работать.

Он пропустил это мимо ушей и сказал:

— Прощай. Не знаю, что бы тебе дать на память? Возьми там у меня в комнате мою книгу о поездке в Монголию. Нет ведь больше ничего!..

Через пару дней мы вместе с Ераковым пошли прощаться с покойным. Когда выходили из землянки, которая служила моргом, Ераков, вдвое согнувшись в маленьких дверях землянки, пробурчал:

— Умер бедняга в больнице тюремной.

Вот в это-то тяжелое для меня время на Воркуту приехал Френкель. Его приезде предшествовал налет по крайней мере дюжины его работников. Я должен был знакомить с хозяйством Якова Мироновича Купермана.

Это был совершенно лысый, с остатками ярко-рыжих волос, до слепоты близорукий человек средних лет с быстрой речью. Он слыл одним из самых умных и развитых людей, обслуживающих Френкеля, но, конечно, шахт не видел и горного дела не знал.

Наша работа с ним началась с того, что я вынужден был рассказывать, что такое главный ствол, вентиляционный ствол, штрек, забой, лава и т. д. и т. п. Сначала он крупными корявыми буквами быстро записывал новые слова, потом, отчаявшись усвоить и запомнить их, перестал записывать и слушал уже без надежды понять эту премудрость.

Надо сказать, что горное дело — в том объеме, в каком его нужно знать для планово-экономической работы, — не представляет особой сложности. Во всяком случае, такой пытливый человек, как Куперман, мог бы во всем разобраться. Но он приехал с другой задачей. Френкель посылал своих работников для того, чтобы они к его приезду нашли слабые стороны в организации производства, обнаружили неправильное использование рабочей силы и т. п., чтобы он, слушая доклад начальника работ, мог ткнуть его носом: «Вы мне рассказываете, что нужны люди, а у вас там-то и там-то благодаря неправильно составленному графику простаивает столько-то и столько. А сколько они могли бы дать? Сколько?»

Куперман понимал, что, если он даже все три дня, которые оставались до приезда Френкеля, посвятит изучению горной науки, все равно не выловит того, что обычно вылавливалось на привычных ему земляных работах. А с чем тогда идти к Френкелю? С новой терминологией?

Я понимал его затруднительное положение и предложил спуститься в шахту, чтобы посмотреть, как ведется работа. Этого он испугался. Мы продолжали ковыряться в цифрах. Но за ночь он, по-видимому, подумал, что Френкель может спросить, видел ли он, как добывается уголь, и поэтому с утра стал настаивать на экскурсии в шахту.

Купермана одели в горняцкую робу, он получил шахтерскую лампу и смущенно улыбался. Я попросил инженера, который повел нас, показать гостю «специфику нашей работы». Инженер привел нас в мокрую лаву. Куперман попал в настоящий ад. Сверху шел сплошной ливень, с кровли валились мелкие куски породы, по наклонной почве неся поток воды; за грохотом рештаков ничего нельзя было слышать. При слабом освещении шахтерских лампочек

люди, стоявшие тесно друг к другу, что-то колотили, кидали, при этом кричали и матерились. Инженер взял оторопевшего Купермана за руку и подвел к какой-то дыре. Он заставил его лезть по выработке, которую горняки называют гадючником. По ней текла вода, а высота ее позволяла пробираться только на четвереньках. Куперман вылез еле живой и тяжело дышал. Дальше ему показали посадку лавы. Когда он, услышав страшный треск, заглянул за органку и увидел оседающую кровлю, мы поняли, что пора подниматься на поверхность.

Через день приехал Френкель. Куперман пришел от него очень расстроенный:

— Он опять доказал мое ничтожество! По его мнению, шахта — это подземный карьер. Не разобраться в таком деле — смешно.

— А вы рассказали ему о своих впечатлениях об этом подземном карьере?

— Вот когда вы будете у него, попробуйте его перебить и рассказать.

Мальцев предупредил меня, чтоб я подготовился докладывать Френкелю наш план. В назначенное число, в полночь, Мальцев, главный инженер, которым тогда был еще Фейтельсон, и я явились в предоставленный Френкелю особняк. Он уже выпался, побрился и, сидя в генеральской форме, ожидал нас в кабинете. С ним был Куперман. Несмотря на то, что Френкелю тогда было уже за пятьдесят, он выглядел красивым, стройным мужчиной с густой черной шевелюрой, без малейших признаков седины. Он спросил: «Кто будет докладывать?» Мальцев указал на меня. Я разложил свои бумаги и спросил:

— Можно сидеть?

Френкель посмотрел на меня, пару секунд помолчал, потом начал:

— Почему, собственно, вам хочется докладывать сидя? Может быть, вам кажется, что, сидя со мной за одним столом, вы уравниваете свое звание с моим? Если вы так думаете, то ошибаетесь. Я по своему званию выше вас. Это вы знаете. Или вы думаете, что возможность ближе наклониться к бумагам поможет вам? Не поможет. Если вы приготовились обмануть меня, то, будете ли вы сидеть или стоять, я все равно разберусь.

Он еще и еще говорил все о том же, показывая, каким нелепым был мой вопрос и какой мелюзгой я выгляжу. Наконец он закончил:

— Мне, конечно, безразлично — будете вы сидеть или стоять, и дело от этого не изменится, но у нас принято, чтобы начальнику главка докладывали стоя. Докладывайте.

Я встал. Передо мной сидел генерал, который отхлестал меня по физиономии. Но надо было докладывать.

Начал я с того, что добыча угля переходит на новые горизонты и нужны работы в таких-то объемах для подготовки такой-то линии очистных забоев... Френкель на первой же фразе прервал меня:

— Вам, конечно, известно, что я не горный инженер, и вы хотите этим воспользоваться. Но мне известно, что премудрость горного дела не Бог весть какая. Не думайте, что я не в состоянии в ней разобраться. В конце концов что такое — ваша добыча угля? То же, что разработка карьера, но под землей. У меня достаточный опыт по организации таких работ. Я без лишней скромности могу сказать, что вам есть чему поучиться у меня...

Говорил он очень хорошо. У него была образная, правильно построенная русская речь. Каждую мысль он развивал во всех направлениях, чтобы не было недомолвок или неправильного понимания.

Но в тот вечер весь смысл его бесконечного красноречия сводился к тому, чтобы доказать несостоятельность наших претензий на какую-то особенность угледобывающего производства, показать, какими глупыми и ничтожными мы выйдем, как мы неграмотны и как отчетливо он понимает все наши потуги его обмануть.

Я стоял и кусал губы.

— Вы не умеете использовать выделенные вам ресурсы. Что сказали бы мне, если бы строительными работами в железнодорожных лагерях занималось только двадцать процентов людского контингента?! Ваша задача — добывать уголь, а не разводить племенной скот и ловить рыбу...

Я попытался его прервать:

— Разрешите доложить, чем заняты...

— Чего вам разрешать? Я по часам заметил: вы сорок минут стоите передо мной и за это время сказали два слова. А ведь плановый работник...

Потянулись рассуждения о том, каким должен быть плановый работник. Через добрых полтора часа непрерывных нравоучений Френкель обратился к Мальцеву:

— Вот так-то, товарищ Мальцев. Я вижу, что нам придется еще раз встретиться по этому вопросу. А пока я вас не задерживаю.

Мы вышли. За моей спиной Фейтельсон тихонько, но так, чтобы я слышал, сказал:

— Блестящий доклад сделал наш плановый отдел.

Из этой насмешки благожелательно относившегося ко мне человека я понял, что Френкель добился своего. Он загнал меня в угол и представил ничтожеством и дураком. Почему я позволил это сделать?

В свое время Мороз мог меня расстрелять и, вероятно, расстрелял бы, если б не сел сам. Но тогда я не испугался. Френкель никого не расстреливал и не сажал. Я думал даже, что с ним можно на равных правах сесть за стол. Но он сумел скомкать и смять меня. Это был его метод, которым, между прочим, пользовались и ежовские следователи. Они плевали своим подследственным в лицо, чтобы заглушить в них всякое человеческое достоинство. Один из моих друзей в ответ на такой плевком набрал слюны и харкнул следователю в его рожу. Так поступил Константин Маркович Табакмахер. А я с Френкем поступить так не сумел. Я был разбит и растерян.

Вот в таком состоянии приходилось готовиться к приезду семьи. Но дело заключалось не только в том, что силы мои были надорваны. Мои трудности заключались еще и в том, что в течение многих лет у меня не было никаких личных забот. Живя один, я не добивался для себя ничего, кроме того, что выдавали. Теперь нужна была квартира, для квартиры — обстановка, нужны были продукты и пр. Это не давалось само собой. Надо было изощряться, искать и добиваться. Пришлось обратиться к Мальцеву, и тот распорядился дать мне квартиру в доме, который строился для работников снабжения. Я поблагодарил. Как полагалось «отцу-командиру», он ответил:

— Нечего благодарить! Моя обязанность — заботиться о людях.

Однако цена его заботы оказалась небольшой. Как только стало известно, что одна из квартир у снабженцев изымается для меня, работы стали вестись во всех квартирах, кроме моей. В ней они прекратились совсем. Обращаться я мог только к относительно большим начальникам, с прорабами и десятниками я по работе встречался редко. Но при первом же разговоре с начальником строительного управления я пожаловался ему. Он позвонил на участок, накричал и велел, чтобы прорабу приказали заняться моей квартирой. Не помогло и это. Несмотря на свой лагерьный опыт, я не хотел понять того, что в таких делах надо было «давать». За всю свою жизнь сам я никогда не брал взяток и никому ни в какой форме их не давал. Если бы я кормил и поил десятника, все шло бы как по маслу, но я злился, жаловался большим начальникам и никак не мог получить квартиру, выделенную мне «самим Мальцевым».

Наконец с большой провололочкой ее кое-как отделали. Началась новая работа — доставать мебель. На Воркуте у нас тогда был целый столярно-мебельный комбинат. Лагерные начальники за его счет обставляли даже свои московские квартиры. Но для меня опять не оказалось ничего. Звонил Мальцев, кричали разные начальники, на комбинате обещали, но давать не давали. На помощь пришел Пантелеев. Ему на комбинате делали рамы и подрамники, и он со всеми был знаком. За три литра спирта ему удалось достать столы, стулья и кровати.

Потом пошла такая же канитель с посудой, с арматурой, с электрическими лампочками и всякой другой всячиной. Когда наконец все самое главное достали, я поехал в Москву. Жена с Катькой и мама уже вернулись туда. Москва осенью 1944 года еще продолжала жить впроголодь, в темноте, в нетопленых домах, но народу было уже полным-полно. По темным, три года не подметавшимся улицам, по которым почти не ходил транспорт, гуляли толпы людей. Все ждали очередных салютов. Чуть не через день объявлялись приказы Верховного Главнокомандующего об освобождении то того, то другого города. В пыльной вечерней темноте над Москвой распускались яркие букеты огненных фейерверков. У всех это вызывало праздничное настроение. И мои мрачные мысли отступали.

Вечером, когда в нашей старой квартире я улегся в холодную постель, ко мне из своей комнаты пришла жена. Я смутился и испугался: смогу ли быть ласковым, как прежде? Я старался быть ласковым теплом тех чувств, которые припоминались по нашим прошлым отношениям. Но, когда она ушла, я понял, что ничего не вышло. Осталось ощущение ненужности этой встречи.

Вскоре в Москву прибыл наш воркутинский самодельный вагон-салон. Мальцев разрешил мне ехать в нем на Воркуту. Пришлось на рынках по невероятным ценам, которых я, сидя на Воркуте, даже не представлял, закупать хлеб, ворованные американские консервы и концентраты. В ноябре мы поехали.

После Котласа пошли наши каторжные места. Солнце в это время здесь уже не всходило. Было мрачно, наш вагон продувало, а на душе у меня и, по-видимому, у жены накапливалась тревога... Но, приехав на Воркуту и устроившись в новой большой и теплой квартире, мы начали как-то отогреваться. Жена и Катенька из голода и холода попали в нормальные человеческие условия. Их жизнь пошла в среде умных и интересных людей, какие в Москве встречались им редко и никогда не склонны были к сближению. Жена была рада моим товарищам, сдружилась с Пантелеевым и старалась «вписаться» в обстановку, в которой я жил. Ничуть не подделываясь, она прониклась моими интересами, искренне превращала их в свои, устанавливала добрые отношения с моими друзьями. Она хотела любить меня!

А я продолжал ощущать ненужность этой семейной жизни. Мне больше всего хотелось быть наедине с собой, думать и говорить не с женой и Катюшкой, не с товарищами, которые теперь постоянно собирались у нас, а только с собой. Но надо было привыкать к новой жизни.

Вдруг меня опять вызвали в Москву. Как это было некстати! Впервые я торопился скорее вернуться на Воркуту. Под конец моего пребывания в Москве от Мальцева пришел список воркутян, представляемых к орденам и медалям. С удивлением и обидой я узнал, что на этот раз меня в списке нет. Значит, что-то случилось! Из всех, кого собирались награждать, были исключены я и Капущевский. Что же случилось? Я стал еще сильнее торопиться домой. Поезд тащился, как никогда.

Вагон, в котором было мое место, выбыл из строя. Еле нашлось место в другом вагоне. Продукты у меня кончились, нигде ничего не продавалось, последние сутки я ничего не ел. На станцию за мной был прислан Мальцевым его личный экипаж. Это необычное внимание настораживало. Кучер сказал, что Мальцев велел ехать прямо к нему. Но я поехал домой. Не успел раздеться, как позвонил Мальцев:

— Здравствуйте. Почему не заехали? Личных писем мне не привезли?

— Нет.

— А каких-нибудь личных записок?

— Нет.

— Ничего?

— Ничего. Только официальные письма от Завенягина и от Захарова.

— Это я знаю. А личных, значит, нет?! Ну, заходите.

Только я положил трубку, позвонила жена мальцевского заместителя Мартовичко:

— С приездом, Владимир Васильевич. Вы нам что-нибудь личное привезли?

— Я привез вам нитки.

— Какие нитки?

— Вы же заказывали.

— Я и забыла. А личных писем не привезли?

Они о чем-то беспокоились. Переодевшись и позавтракав, я пошел к Мальцеву. Он встретил меня приветливо, но опять спросил о личных письмах. Я рассказал ему о новых планах и о беседе с Завенягиным. Наконец спросил:

— Что же вы вычеркнули меня из списка награжденных?

Он как-то смутился, пошел к несгораемому шкафу, достал список:

— Вот смотрите. Я вас включил. Велели вычеркнуть. Обком.

— А вы не могли настоять?

— Знаете, велели побольше ударников...

Было очевидно, что что-то случилось. Случиться могло только одно...

Утром на другой день Мальцев сказал:

— Сегодня же мы соберем совещание и вы доложите новый план.

— Мне необходимо по меньшей мере два дня на доработку.

— Нет, доложить надо сегодня.

Он сказал, как всегда, таким тоном, каким отдают команду, но я не почувствовал его обычной непреклонности. Было похоже, что это чужое распоряжение, с которым он сам не совсем согласен.

— Дайте хотя бы день.

— Нельзя...— Он замылся.— Вы же знаете, что год уже идет...

— День ничего не изменит.

Он смотрел в сторону.

— Нет. Надо сегодня.

— Я не могу. Мне надо подумать и разбросать задания.

Мальцев зашагал по кабинету.

— Ну, хорошо. Через полчаса я вам позвоню.

Действительно, немного погодя по телефону он сказал, что дает мне сутки на подготовку.

После обсуждения моего доклада нависшая надо мной лавина стала стремительно надвигаться. Когда я после совещания вернулся в свой кабинет, мне позвонила жена: из второго района приехал Ринейский и предложил вместе сходить в театр на «Жрицу огня». Я по телефону попросил директора театра оставить билеты. Он обещал и назвал наши места. Но вечером, войдя в зрительный зал, мы увидели, что на этих местах сидят люди. У них были наши билеты. В моей голове мелькнуло: «Вот, не только опасаются, что не успеют заслушать моего доклада, но и мои места уже отдают другим!»

Несмотря на то, что директор все уладил, внутренняя тревога не оставляла меня. Во время представления я хохотал вместе со всеми, но никакого веселого возбуждения, которое вызывала у всех мордвинская постановка, полная остроумных и талантливых выдумок, у меня не было. Я ведь все эти дни старался не верить в возможность нового несчастья. Но, как ни разуверял я себя, в глубине сознания неотвратимость беды становилась для меня все несомненной. Хотя спектакль кончился поздно, мы потащили Ринейского к себе пить чай.

Пока кипятился чайник, в дверь кто-то постучал. Я открыл. Вошел Заболоцкий с вооруженным солдатом. Заболоцкого я хорошо знал. Он был из числа тех украинцев, которые заполняли оперчекистские отделы. Когда я исполнил обязанности начальника в Усть-Усе, он служил там оперуполномоченным и следил за ретюниским лагпунктом. Это был стройный красавец, вроде одного из сыновей Тараса Бульбы, при этом глупый, как баран. Сейчас он в оперотделе заведовал следственной частью, то есть оформлял аресты, отвечал за тюрьму и подшивал следственные дела. Он показал мне ордер на арест.

Итак, опять все оборвалось! Насколько досадней было это, чем в первый раз. Тогда я кое-чего еще не понимал, у меня были даже небольшие иллюзии— могут, мол, разобраться и выпустить. Главное же заключалось в том, что я не имел тогда представлений о свободе и несвободе, не имел ясного понимания, что я теряю. Теперь все это было известно. А что сделают с семьей, которую я завез сюда?!

У меня начался нервный озноб. Я сидел под охраной солдата и дрожал, не в силах справиться с собой. Заболоцкий, не торопясь, копался в вещах, часа в два стал писать протокол, заставил Ринейского расписаться в качестве понятого и велел мне одеваться. Мы вышли. Было около сорока градусов мороза. Почему-то не по улице, а тропинкой между сугробами меня по застывшей тишине повели в оперотдел. Сверху, не мигая, смотрели остановившиеся звезды.

Оперотдел занимал здание, в котором раньше была моя комната. Она граничила с входной дверью, у которой теперь помещался дежурный. Поэтому ее превратили в камеру предварительного заключения. Меня заперли. Оставшись один, я, уже не сдерживаясь, предался своему отчаянию. Сидя на нарах, я ни о чем не думал, ничего не перебирал в памяти, а только тихонько мычал и мотал опущенной головой. Так бывает при страшной боли. Я не чувствовал и не видел ничего, кроме этой тупой, невыносимой, подавившей меня боли.

К концу ночи меня отвели к заместителю начальника оперотдела. Его звали Мокеев. Он велел мне сесть на табурет у стены. Сам он стоял за своим письменным столом.

— Ну, Зубчанинов... — Он взглянул на меня и тут же спрятал глаза, уткнувшись в стол. Вообще этот человек избегал встречаться с людьми глазами, прикрывал их или шурил. — Вы, конечно, знаете, за что вас арестовали?

Я опять затрясся в нервном ознобе и сразу же оказался в проигрыше: мои противники могли спокойно наблюдать за мной, выждать, а я выходил из себя и терял силы.

— За что? Понятия не имею.

— Вот как? А по-моему, в ваших же интересах сразу сознаться. Ведь если вы у нас, значит, вы виноваты и выйти отсюда вам не удастся. Невиновных мы не арестовываем. Но чистосердечным признанием вы могли бы облегчить свою судьбу.

— В чем признаться?

— В чем? А в том, что вы совершили.

— А что я совершил?

Наступило молчание. Он сел и принялся ковыряться в пепельнице, очищая ее от нагара. Я дрожал и злился. После первого своего ареста я много раз думал, что если бы это повторилось, то я сумел бы вести себя иначе. Я не позволил бы таким дурацким способом тянуть из себя жилы. Но вот это повторилось. Передо мной сидел такой же полицейский, как тогда, и точно так же собирался заставить меня сознаться во всем, что предписывали ему его циркуляры. В них ясно указывалось, в чем я должен был сознаться, и никакие попытки что-то расследовать и выяснять он не собирался да, по-видимому, и не должен был. Минут через пятнадцать я спросил:

— Все-таки что вы мне инкриминируете?

— Мы не инкриминируем, а обвиняем.

— Но что я сделал?

— Многое. Очень многое.

— Что?

— В ваших интересах рассказать об этом самому.

— Мне нечего рассказывать.

Опять наступило молчание. Он продолжал чистить пепельницу. Прошло еще около получаса. Наконец он поднял глаза:

— Ну как?

— Я уже сказал.

Помолчали еще. Но, по-видимому, Мокеев решил, что его трудовая ночь должна кончаться. Он опять обратился ко мне:

— Я не советую упорствовать. Я отошлю вас в камеру. Подумайте.

— Мне не о чем думать.

— Ну, смотрите.

Но, прежде чем нажать кнопку и вызвать дежурного, он подозвал меня к столу:

— Распишитесь.

Это был акт о моем аресте. В нем было сказано, что я обвиняюсь в подготовке вооруженного восстания с целью свержения советской власти.

Оказавшись снова наедине с самим собой, я не мог ни спать, ни лежать на нарах, ни даже сидеть. Я, как волк в зоопарке, бегал по камере — три шага туда, три обратно — и потихоньку, чтобы никто не слышал, стонал, словно от зубной боли. Мне нечего было обдумывать. Ведь если бы я попал в какую-нибудь случайную катастрофу, ну, отрезало бы мне трамваем ноги, я, конечно, перебирал бы в памяти шаг за шагом и думал: вот не сойди я с тротуара, или не поскользнулся, или не толкни меня тот прохожий, ничего не произошло бы. Ах, надо бы быть поосторожней! Теперь же, сколько я ни перебирал бы в памяти свои шаги и поступки, все равно нельзя было найти ни одного, который можно было бы считать причиной моего ареста. То, что произошло со мной, было похоже или на расстрел каждого десятого, когда десятым оказался вдруг я, или на раковую болезнь: неизвестно, почему заболел, но раз заболел, значит, пропал.

Каждую ночь я сидел теперь против Мокеева, изредка препираясь с ним. Он убеждал меня:

— Если вы думаете пересидеть нас, то из этого ничего не выйдет. Мы можем ждать, вы же скоро поймете, что вам это делать труднее.

Я опять выходил из себя:

— Но это же пытка!

— Какая пытка? Это допрос.

— На допросе спрашивают, а вы не даете спать, и больше ничего.

— Я все время спрашиваю: собираетесь вы сознаться?

— Я отвечал и вновь отвечаю, что сознаться мне не в чем. Но вы даже протоколов не пишете.

— А что писать, если вы ничего не говорите?

Дней через десять он начал понемногу разъяснять, чего от меня хотят:

— Видите ли... Мы раскрыли много повстанческих групп. Но из центра нам правильно указали на то, что повстанческое движение в лагере не могло получить такого развития без организующего его руководства.

— Так вы хотите, чтоб я назвал себя в качестве главного руководителя?

— Ну, может быть, не главного, но все-таки...

Несмотря на всю опасность своего положения, я засмеялся. Мокеев недоброльно посмотрел на меня:

— Разве это так весело?

— Это настолько невероятно, что приходится только смеяться.

— Вот как?

— Неужто вы серьезно думаете, что прямо у вас на глазах могла действовать мощная организация со своим руководством, множеством отделений, четкими поставленными задачами?

— А почему бы и нет? Могли же декабристы сформировать свою организацию!

Я усмехнулся:

— Значит, вы думаете, что я должен быть кем-то вроде Пестеля?

— Ну, конечно, с другими задачами...

— Но если серьезно говорить, то неужели вам не кажется, что Ретюнин и тому подобные могли замыслить восстание и без руководства из центра?

— Сколько мы ни брали повстанцев, все показывали по одной схеме. Кто-то ее давал!

— Это вы допрашивали всех по одной схеме.

Он мельком, исподтишка, взглянул на меня, но промолчал.

Меня всегда занимал вопрос: где чекисты кончают врать и где сами оказываются в плену своего вранья? Такие, как Мокеев, заставляли людей сознаться в том, что предписывалось так называемыми разработками, присылаемыми сверху. Из этих мокеевых только самые глупые могли не понимать, что под видом следственных данных они записывают чистейшее вранье. Но наверху, когда начинались анализ и обработка получаемых материалов, при составлении по ним сводов, отчетов и докладов уже не задумывались над тем, насколько они правдивы. Считалось, что это фактические данные, а из них отчетливо вырисовывалось, что деятельность всей огромной сети «повстанцев», приведенных «в сознание» мокеевыми, кем-то организовывалась. Надо найти — кем! Найти поручалось тем же мокеевым. Раз начальство требовало найти центр, организующий выдуманную ими повстанческую деятельность, надо было выдумать и этот центр. По циркулярам, которыми руководствовался оперотдел, я вполне подходил для руководства таким центром.

Но, чтобы арестовать меня, оперотдел, как обычно, сначала арестовал близких мне людей и заставил их оговорить меня. Вопреки распространенному мнению о том, что аресты производились по доносам, все шло в обратном порядке: сначала решали арестовать, а уж для осуществления этого набирали доносы и оговоры. Если не удавалось выбить их у одного, то брали другого, третьего и т. д., пока не выбивали нужных «оснований».

Я понимал, что мой арест был, конечно, таким способом уже обоснован. Теперь надо было воздействовать на меня бессонницей, говорить с известной долей откровенности, почти как с равным, располагая к себе и зная наперед, что по окончании дела все умрет вместе со мной. В одну из ночей Мокеев безо всяких обиняков сказал:

— Мы рассчитываем на вашу помощь.

Я посмотрел на него.

— Нам надо выполнить задание: найти повстанческий центр. На этом закроемся наша борьба с повстанческими организациями.

— Чем же я могу помочь?

— Помочь раскрыть этот центр.

— А что я о нем знаю?

Оставив мой вопрос без ответа, он сказал:

— Вы, наверное, слышали, как у нас расценивается помощь, оказываемая следствию. Вон Рамзин. Он теперь академик. Награжден орденом Ленина.

— Карьера Рамзина меня не привлекает.

Он улыбнулся и продолжать не стал. По-видимому, он считал, что времени у него достаточно. В одну из следующих ночей он опять спросил:

— Ну, так как?

Я пожал плечами.

— Послушайте, что показывает Ордынский.

И он зачитал отрывок из показаний Ордынского, в котором говорилось о повстанческой деятельности и моем руководящем значении в ней.

— Ведь Ордынский — ваш друг. Он не стал бы ложно вас оговаривать.

Я попытался посмотреть Мокееву в глаза, но это мне, конечно, не удалось. Глядя на маску с прикрытыми глазами, я сказал:

— Если, лишая меня сна, вы будете принуждать под видом сознаний давать невесть какие показания, я, наверное, тоже начну подписывать все, что хотите. Но, пока вы еще не довели меня до этого, я буду говорить правду. Поэтому я прошу протоколировать мои показания сейчас.

— Протоколы мы напишем. Это успеется.

Наступило обычное молчание. А через некоторое время он вынул из стола телеграмму и сказал:

— Вот пришло разрешение на въезд вашей семьи в Москву. Что вы по этому поводу думаете?

— Что? Пусть едут.

— Конечно. Но это зависит от вашего поведения.— Он посмотрел на меня сощуренными глазами.— А пока пусть телеграмма полегит у меня.

Что я мог?! Несмотря на бессонные ночи, силы и упрямство у меня еще сохранились. Я считал, что выдумывать и сочинять историю о повстанческом центре ни за что не буду. Судьба семьи не могла стать легче от того, что я признал бы себя организатором восстания. Оставалось только тянуть. Тянуть, пока не кончится война. Не может быть, чтобы и после войны все это продолжалось. Надо их пересидеть! Но Мокеев был прав: сидеть для меня становилось все труднее и труднее. Он видел это и все усиленной учил меня тому, в чем надо было сознаваться.

— Мы ведь понимаем, что вы лично не бросились бы с топором. Для этого нашелся бы кто-нибудь и помельче. Мы и разговорчиков вам никаких не предъявляем. Не для этого вас посадили. Но возглавить организацию вы могли.

— Где у вас факты? Кроме оговоров? Предъявите факты, и вы увидите, что я сумею их опровергнуть!

— И вы хотите, чтоб я помог вам оправдаться?

Надо было понимать и его. Запротоколенный вымысел превращался в документ. Если оставить документ без внимания или дезавуировать, его всегда могли обвинить, что он проглядел вражескую деятельность или скрыл ее от расследования. Ради чего подставлять себя под такой удар? Куда вернее на вымысел громоздить новый вымысел, раскрывать новых «врагов», расширять и углублять впечатление опасности, впечатление бдительности.

Однажды ночью дверь в кабинет Мокеева без стука распахнулась. Вошел начальник оперотдела Рудоминский. Мокеев поднялся и скомандовал:

— Встать!

Я встал. Рудоминский сказал:

— Садитесь.— И, обратившись к Мокееву, спросил: — Как идут дела?

— Все по-прежнему. Упорствует.

— На что же вы надеетесь, Зубчанинов?

— Я надеюсь, что вместо пыток начнется следствие. Тогда станет ясным, что обвинять меня не в чем.

— Какие пытки? Разве вас бьют? Говорят, вы жалуетесь, что работать приходится по ночам. Но ведь по ночам работают многие. Товарищ Сталин работает по ночам.

— Я прошу обосновать предъявляемое мне обвинение. Каковы факты?

— Факты будут вам предъявлены. Но сначала вы должны отказаться от своего враждебного отношения к следствию. Вы должны сознаться.

— Мне не в чем сознаться.

— Вы продолжаете вести с нами борьбу. А следовательно либеральничает. Он до сих пор даже не посадил вас на настоящий тюремный режим. Имейте в виду, что пока вы будете вести борьбу, мы тоже будем бороться. Думаю, что шансов на победу у вас меньше.

После ухода Рудоминского Мокеев сказал:

— Вот, слышали? Мы не собираемся с вами шутить. С людьми, которые во время войны готовились оказать помощь врагу...

— Помощь фашистам?! Все-таки вы должны бы знать, что у меня и у всех моих друзей и товарищей они вызвали только ненависть!

— Не знаю. Вы со своими друзьями и товарищами стремились восстановить капитализм в Советском Союзе!

— Слушайте. Капитализма я почти не помню. Неужто три десятка лет сознательной жизни в советских условиях должны были заставить думать о возвращении капитализма?

— Такова действительность. Чем ближе мы подходим к социализму, тем шире и ожесточенней становится сопротивление.

— Странно.

— Что же тут странного? Так учит товарищ Сталин.

Но переходить к общим разговорам у Мокеева не было склонности. Он вернулся к тому, о чем заговорил после ухода начальника:

— Так вот, хватит. Действительно, мы создали вам какое-то особое положение. Теперь будете сидеть в тюрьме.

По телефону он вызвал дежурного:

— Пришлите выводного. Я направлю арестованного. В пятнадцатую. По-нятно? Чтобы никаких контактов!

На рассвете меня через метущую пургу отвели в так называемую «тридцатку». Почему тюрьма так называлась, я не знаю. В ней было не тридцать, а только пятнадцать камер. Она находилась за высоким забором, на краю воркутинского поселка. Выводной постучал в проходную и ввел меня на просторный пустой двор, в глубине которого одиноко стоял длинный барак с крохотными окошками, закрытыми козырьками. Это и была тюрьма.

Нигде не было ни души. Стояла безмолвная тишина. Выводной тихонько постучал в обитую железом дверь. В ней открылось окошечко, изнутри кто-то убедился, что можно впустить, и послышалось лязганье отдвигаемых засовов и крючков. За дверями нас встретили долговязый дежурный и два угрюмых надзирателя.

Несмотря на холод, дежурный велел мне раздеться догола. Надзиратели молча перешупали мои вещи, отобрали ложку, мыльницу и ремень. Потом один из них взял связку ключей и отпер дверь в решетке, отделяющей сени от коридора. Впустив меня и пройдя следом, он первым делом опять запер решетчатую дверь, и мы направились в самый конец коридора. По обе стороны шли обшитые железом двери. В каждой из них были закрытое железными засовами оконце («кормушка») и круглый глазок. Рядом с дверями находились печные топки. В них шуровали двое дневальных, очевидно, из числа доверенных арестантов-бытовиков. Чувствовался налаженный порядок.

Пятнадцатая камера отделялась от всех остальных небольшим боковым коридором, который вел к запасному выходу из тюрьмы и был так же, как главный коридор, перекрыт решеткой. Другой своей стороной пятнадцатая камера примыкала к карцеру. Никаких соседей у нее не было. Надзиратель отпер замок, отодвинул засов и раскрыл дверь. На меня пахнуло застоявшимся удушьем и вонью параши.

Камера представляла собой чулан шириной меньше полутора метров и длиной в два с половиною метра. В полшаге от двери в ней были установлены трехэтажные нары, с левой стороны от которых имелся узкий полуметровый проход к окошку. По размеру это окошко было не больше тех маленьких фор-

точек, которые делались в уборных. Снаружи его закрывал козырек, поэтому дневной свет через него не проходил. На потолке в камере все время горела небольшая электрическая лампочка. В этом темном, вонючем чулане мне пришлось прожить почти два с половиной года.

Лязг отпирающейся двери разбудил уже сидевших в камере двух арестантов. В тюремной обстановке люди всегда на первый взгляд кажутся такими же жуткими и опасными, как волки в клетках. С третьей полки из-под самого потолка на меня уставились черные пристальные глаза. На второй полке зашевелилась куча тряпья, и из него выпросталась большая лысая голова. Она смотрела на меня тяжелыми, чужими и полными недоверия глазами.

Надзиратель запер дверь. В это время в конце коридора раздалась команда «Подъем!». Начинался тюремный день, было шесть часов утра.

С третьего этажа соскочил молодой черноглазый парень с наголо остриженной головой, с каторжными номерами на телогрейке и штанах.

— Пополнение! Здравствуйте.

Большой лысый мужчина на второй полке потянулся, сбросил бушлат и телогрейку, которыми был укрыт, спустил ноги и стал отчаянно зевать. После того как оба мои соседа поразмялись, попользовались парашей, мы все уселись на нижней полке перед дверью. Каторжанин сказал:

— День здесь начинается с кипятка. У нас три миски. Сейчас откроют кормушку и дадут на всех. Потом — хлебушек.

Потянулся длинный тюремный день. Черноглазый каторжанин забрался к себе на третий этаж и лег. В двери тотчас же приоткрылся глазок, потом открылась кормушка, и надзиратель сердито зашипел:

— Чего разлегся? Разве отбой был? Слазь сейчас же! А не то...

Парень соскочил и сел рядом с нами. Но он не хотел зря терять время. Прислонившись к лысому, он закрыл глаза. Опять лязгнули засовы, открылась кормушка.

— Поспи у меня. Сейчас выведу!

Сидя в оперотделе, я днем все-таки мог подремать. Здесь, оказывается, и это было невозможно. Я спросил:

— Неужели тут так следят? Даже сидя не дают подремать!

— Да нет. До сих пор не обращали внимания. Вот только сейчас почему-то начали.

Значит, этот режим стали налаживать специально для меня.

Мы потихоньку начали знакомиться. Мой лысый сосед оказался командиром дивизии. Сидел он за то, что при отступлении не сжег складов с продовольствием, а захватил продовольствие с собой и кормил солдат по повышенной норме. Военная прокуратура усмотрела в этом какие-то корыстные цели. Сейчас его опять посадили и, по-видимому, начали новое дело.

Черноглазый был летчиком-истребителем. В лагере его уже дважды судили за побег. Теперь он имел 25 лет каторги и опять подозревался в подготовке к побегу. Узнав, в чем обвиняют меня, он стал убеждать:

— Ну, тут ничего не поделаешь. Надо соглашаться. А то расстреляют.

Наконец утомительный день кончился, дежурный закричал: «Отбой!»

Было десять часов вечера. Мы полезли по своим полкам.

Но не успел я улечься, как открылась кормушка, надзиратель поманил меня пальцем и шепотом приказал:

— Одевайся.

Меня снова повели в оперотдел.

Произошло то, чего я больше всего боялся: меня взяли на конвейер. Это была такая система допросов — следователи дежурили посменно, а арестованного держали день и ночь без сна. пытку бессонницей изобрела еще инквизиция. Было обнаружено, что самые упорные люди, которые выдерживали страшнейшие истязания, от которых ничего нельзя было добиться даже тогда, когда их резали на части, слабели и лишались воли при длительной бессоннице.

Не знаю, сами ли работники НКВД вновь изобрели эту систему выматывать признания или их методисты где-нибудь вычитали о ней, но они стали ши-

роко ею пользоваться. Я слышал об этом и знал, что сломать таким способом можно было любого человека.

Итак, меня, как обычно, приводят в кабинет Мокеева. Но вместо Мокеева за столом сидит один из рядовых уполномоченных, который, наверное, дежурит и все равно эту ночь должен где-то отсиживаться. Меня сажают на табуретку у стены. Уполномоченный читает газету, никаких вопросов не задает, только время от времени посматривает на меня и, если ему кажется, что я начинаю дремать, покрикивает: «Не спать! Не спать!»

Ну что делать?! Я чувствую себя так, как перед атакой неприятеля должен чувствовать себя безоружный солдат: лишенный возможности и сопротивляться, и бежать. Я чувствую, что пропал. Томительное сидение тянется почти всю ночь. Под утро приходит выспавшийся и отдохнувший Мокеев и сменяет уполномоченного.

— Ну, как в тюрьме?

— Спасибо, ничего.

Он усмехается:

— Я думаю, что физическая готовность к признанию наступит теперь скорей.

В шесть часов утра, когда в тюрьме командуют подъем, меня отводят обратно в камеру.

Черноглазый летчик начинает уговаривать:

— Соглашайтесь. Если не вы, так другие согласятся. А вас замучают и расстреляют. Я все это знаю, видел.

Мы сидим на нижних нарах перед дверью, и я в тоске и полном отчаянии закрываю глаза. Сразу же лязгает кормушка, и надзиратель, указывая на меня пальцем, шипит:

— А ну выходи!

— Почему?

— А вот поспишь у меня еще! Выходи!

Меня переводят в карцер. Это чулан таких же размеров, как и наша камера, но совершенно пустой: ни нар, ни скамеек, ничего. Сидеть можно только на полу, но на нем так же холодно, как на улице. В кормушку надзиратель подает миску с кипятком. Я хожу, чтобы согреться, хожу полчаса, час. Я устал. Хочется есть. Беру миску, но кипяток в ней замерз и превратился в кусок льда. Что делать, что делать?!

Может быть, кончить все сразу — повеситься или перерезать вены? Я начинаю продумывать, как это сделать. Это не просто. Веревку можно бы скрутить — нарвать полосок из белья и скрутить. Но как повеситься? Ведь все время наблюдают, увидят. Пристроиться так, чтобы провисеть хотя бы десять минут, негде. Про кого-то мне рассказывали, что он удушил себя собственной рукой — сдавил сонные артерии и не отпуская пальцы. Вряд ли это правда. Конечно, можно зажать артерии, сознание очень скоро потеряется, но ведь рука тогда разожмется и кровообращение восстановится. Нет, ничего не выйдет, надо резать. Чем? Можно без особого шума разбить стекло. Осколком прорезать артерию сразу за скулой. Легко сказать! Сначала процарапать кожный покров, потом еще какие-то покровы, потом мышцы, потом стенки сосуда... Разве хватит сил скоблить и скоблить осколком по живому? Верно, как ни больно, но после этого — конец. Можно потерпеть. Я щупаю свои артерии. Они упругие и, наверное, очень прочные. Проще то, что делали десятки раз: перерезать вены на руках. Но сразу тогда не умрешь, кровь будет вытекать часами. Все-таки это верный способ.

Обдумав его, я успокаиваюсь. Если понадобится, я знаю, как сделать. Конечно, я обманываю себя. Никто не готовит самоубийство про запас. Раз я откладываю его, значит, я еще не собираюсь кончать счеты с жизнью.

После отбоя меня опять отводят в кабинет Мокеева. И так каждую ночь.

В карцере бывать приходится, конечно, не всегда. Надзиратели разные. Особенно усердствует старик коми. Он потихоньку подкрадывается к двери, еле заметно сдвигает крышку глазка и подкарауливает, как зверя на охоте. Если я закрываю глаза, он сразу же открывает кормушку и гонит в карцер. Такой же усердный украинец. Этот не ловит, но, открыв глазок, кричит в другой конец коридора дежурному:

— Опять сплят! Опять сплят! Ну что за люди! Я прямо не знаю.

Дежурный шипит: «Тише!» — и подходит к нашей двери сам. В зависимости от настроения он или грозит, или выводит из камеры и сажает в карцер.

Но есть надзиратель Степан. Он время от времени тихонько открывает кормушку и убеждает:

— Только не спите. Нельзя.

Есть грузин. Его слышно издали — он идет и мурлычет песню, а подойдя, ударяет кулаком в дверь и рычит: «Не спать!» В глазок заглядывать ему лень. Некоторым другим тоже наплевать. Но так как дежурят они по двое и один из них всегда может быть старательный, то дремать опасно.

А в моей голове уже кипит, как в котле. Скоро две недели, как я на конвейере. Если бы только две недели! Ведь и до этого Мокеев держал меня в своем кабинете все ночи подряд.

Все уполномоченные уже передежурили со мной. Это все гоголевские фамилии: Лисица, Яровой, Стражник, Горобец. Сегодня сидит Стражник. Эх, если бы иметь силищу, как у Поддубного! Всю жизнь я завидовал силачам. Я бы раздвинул железные прутья в окне, разбил стекло и выскочил. А пока этот оболтус ищет кнопку звонка или бежит за револьвером — меня уже нет. В каком-то кино это было.

А в голове кипит. Я зажмуриваюсь. В темноте перед глазами начинают вертеться радужные круги. Стражник стучит по столу: «Не спать!» Откуда такая фамилия? Бывают же Луначарский, Рудоминский... Луна-Чарский...

Собаки у Павлова без сна подыхали на пятнадцатые сутки. Человек очень вынослив. А неплохо бы умереть в кабинете у Мокеева. Устроить этому сукину сыну такой брак! Но надо выжить! Как умереть — я знаю. Тоже не просто. Но это не требует такого длительного труда и упорства. Каждый урка способен в истерике бросить шапку об пол, разорвать рубаху и подставить грудь под винтовку: стреляй, гад! Выжить куда трудней... Стражник! Ведь надо ж было так удачно обозвать человека!

Но как кипит в голове! Что случится раньше: разорвется голова или кончится война? И все-таки я еще был я. Я не хотел умирать в руках у этих мошенников.

В пятнадцатой камере в это время мы жили уже только вдвоем с Соколовым. Черноглазого летчика на второй же день взяли и больше к нам не возвращали. Позднее я узнал, что Заболоцкий подсаживал его не только ко мне, но и к некоторым другим моим так называемым однодельцам — уговаривать, чтоб не сопротивлялись. Летчик рассказывал им, что Зубчанинов уже сознается.

А Соколова так же, как и меня, взяли на конвейер. Из особых отделов приехали следователи и начали шить ему измену родине. Чтобы правильно представить себе, насколько это походило на правду, надо знать, кто такой был Соколов. Он происходил из обеспеченной интеллигентной семьи и, как многие из его среды, в 1917 году сразу же записался в коммунистическую партию и добровольцем пошел на фронт. Он воевал с белогвардейцами, с поляками, потом в Средней Азии с басмачами, охранял наши азиатские границы, окончил академию и с самого начала войны командовал дивизией.

Это был командир с огромным боевым опытом, храбрый и к тому же получивший хорошее военное образование.

Вся жизнь его заключалась в том, чтобы как можно лучше делать свое военное дело. Но в конце 1943 года его дивизию передали в армию, которой командовал Масленников. Раньше Масленников был заместителем министра внутренних дел и, по-видимому, военный опыт получил в этом учреждении. Свою армию он засадил в кубанские плавни и старался по болотам и по самой реке выйти на противоположный высокий берег, занятый немцами, и взять его. Соколов рассказывал, что из месяца в месяц каждую ночь дивизии ползли по болотам, строили понтоны, пытались переплыть реку и буквально сносились артиллерийским огнем с нависшего над рекой высокого берега. За короткое время у Соколова были выбиты и заменены целых два состава его дивизии. Он понимал, что так воевать нельзя, стал сдерживать бессмысленную растрату людей, начал готовить свои полки к удару, который можно было бы нанести сразу после налета нашей авиации на позиции немцев. Это было расценено как измена.

Я не сомневаюсь, что Соколов умел воевать. Но он не сладил с Масленниковым и так же не смог сладить с особистам. В конце второй недели он сдался.

Теперь он целыми днями писал показания, а по ночам ему давали спать. Поэтому видется с ним нам почти не приходилось. Когда же на короткое время нам удавалось оставаться вдвоем, он говорил:

— Вы выбрали, пожалуй, неправильную линию. Уж сейчас вы ни на что не похожи. Вас домучают и добьются своего. Я ведь еще мог сопротивляться, но сдался в расчете на то, чтобы сохранить силы и в своих признаниях не заходить далеко, сдерживать их аппетиты.

Может быть, он и был прав. На победу мне уже не приходилось рассчитывать. Я просто не решался на подлость в угоду негодяям. Только к этому сводилась моя борьба. Но если я еще держался, то Мокееву это уже начинало надоедать. Он стал срываться с принятого в отношении меня приличного тона. Когда я как-то огрызнулся, он вышел из себя, ударил кулаком по столу и закричал:

— Хвост подымаешь, сволочь! Встать!

Теперь я уже не сидел, а стоял перед ним, мою табуретку убрали. Возвращаясь в тюрьму, я с трудом стягивал валенки. Отекшие ноги были, как лиловые бревна. По дороге в оперотдел и обратно я задыхался так, будто подымался в гору.

Мокеев понимал, что «физическая готовность к признанию» приближает. Как-то, когда я пришел в кабинет, он велел мне сесть.

— Все еще сопротивляетесь? А вот послушайте, что показывает Прикшайтис.

— Какой Прикшайтис?

— Как какой? Будто не знаете! Ваш. Николай. Вот: «Зубчанинов согласился возглавить центр, а я взялся написать программу: действуйте, сказал мне Владимир Васильевич». Ну?! Чего же вы мучаете и себя, и нас?

Так я узнал, что моим однодельцем стал, кроме Ордынского, еще Николай Иванович Прикшайтис. А будет ли еще кто-нибудь? Конечно, будет. Посадить полдюжины человек и заставить хотя бы трех из них показывать то, что намечено, не так уж трудно. Нужно только время. Мокеев из-под припущенных век внимательно смотрел, разгадывая то впечатление, которые произвели на меня показания Прикшайтиса. Я сказал:

— Очевидно, вы делали с ним то же, что делаете со мной.

— Что делали? Допрашивали.

— Такие допросы являются прямым нарушением конституции.

Мокеев опять не сдержался:

— На хрена мне ваша конституция! Можете быть уверены — наших инструкций мы не нарушаем.

А по этим инструкциям можно было делать, по-видимому, все, что угодно. Но я все-таки попытался обратиться к закону. В тюрьме я попросил дежурного дать бумагу для заявления прокурору. Дежурный ответил:

— Хорошо, спрошу.

К вечеру он открыл кормушку и сказал:

— Бумаги давать не велели.

— Тогда вызовите прокурора.

— Он будет обходить тюрьму, вы и обратитесь!

Кормушка закрылась. Прокурор, как правило, каждый месяц обходил все камеры. Но пока меня мучили, он ко мне не заходил. Да я всерьез и не думал о его защите.

Подшли майские праздники. Как всегда бывало на Воркуте, накануне задула пурга. Нашу камеру продувало так, что мы все время топтались, крутили и махали руками, залезали на самый верх, чтобы хоть как-то согреться. Весь козырек нашего оконца забило снегом. Кончился день, скомандовали отбой, надо было отправляться в оперотдел. Я сел на нижние нары и стал ожидать выводного. Он задерживался. Наконец открылась кормушка, но злой старик коми, вместо того чтобы сказать «одевайся», вдруг зашипел:

— Чего не ложишься? Отбой не слышал?

Я лег. Надо бы спать, ведь каким счастьем только что представлялась возможность прилечь и хоть ненадолго заснуть! Но голова продолжала кипеть, я напряженно ждал опоздавшего выводного и спать не мог. Выводной не приходил. Надзиратель несколько раз подкрадывался к нашей двери, заглядывал в глазок. Выводного все не было и не было. Я лежал, но заснуть не мог. Ночь тянулась без конца. Хоть на минутку бы заснуть! Надзиратель открыл дверь ра-

бочей камеры и выпустил дневальных мыть пол в коридоре. В каких-то камерах надсадно храпели. Ну хоть задремать бы! И вдруг — я бегу вниз по горе. Это Воробьевы горы под Москвой. Вот маленькие прудики, заросшие зеленой ряской. Нет, это Вязники, высокий берег над Клязьмой и стройные черные ели, а дальше, через кружево листвы, — синий лес, и я бегу вниз по густой сочной траве, но справа солдат с винтовкой, он останавливает меня, и внизу солдат. Дальше идти нельзя.

— Подъем! — кричат в коридоре.

В ночь под 1 мая и весь первомайский праздничный день оперотдел отдыхал. Если бы я смог по-настоящему уснуть, а не только вздремнуть под самое утро, мне тоже достался бы отдых. Но эта ночь еще больше подорвала меня.

Уж теперь я был не я. Неоднократно мне рассказывали, что бессонница приводит к беспамятству и люди делают, сами не зная что. Никакого беспамятства у меня не было, хотя на конвейере меня держали второй месяц. Но терпеть напряжение, при котором голова готова была разорваться, уже не хватало сил. Этот гул в голове вызывал непреодолимое раздражение. Состояние было такое, будто с меня содрали всю кожу.

Я больше не мог управлять собой.

Через неделю после майских праздников Мокеев удовлетворенно посмотрел на меня и спросил:

— Ну, что будем делать, Зубчанинов?

Это подействовало на меня так, будто всей своей пятерней он провел по моей оголенной ране. Я взвился:

— Все, что хотите! Мне все равно.

Он с недоверием и вместе с тем с плохо скрываемой радостью произнес:

— Вот давно бы так. Для начала напишите, что прекращаете запирательство и будете давать искренние показания.

— Давайте бумагу.

Я написал: «Чтобы избежать бессмысленной гибели, я прекращаю свою борьбу со следственными властями и согласен давать требуемые следствием показания».

Мокеев несколько раз перечитал, очевидно, он ожидал не этого, что-то хотел сказать, но передумал, вызвал дежурного, а сам, взяв мое заявление, убежал, наверное, к начальнику оперотдела. Через полчаса он вернулся:

— Вы, конечно, все еще финтите. Но ничего, начнем работать. Только, пожалуй, вам сначала надо отдохнуть.

Он позвонил в тюрьму, чтобы мне разрешили спать, сколько я хочу и когда хочу, и велел отвести. Я шел, как сдавшийся солдат. Грохот стрельбы и смерть остались позади, и все-таки получилось нехорошо, страшно нехорошо.

Но Соколов сказал мне:

— Вы правильно поступили. Выхода не было. Вон мои капитаны говорят, что позавчера какой-то художник умер в кабинете Мокеева.

— Художник? А вы не знаете его фамилию?

— Не знаю.

По-видимому, это был Пантелеев.

Ночью я прилагал все силы, чтобы уснуть, но то и дело с ужасом начинал думать о том, как это я, которого все считали честным человеком, который сам не сомневался в своей честности, вошел в разговор с Мокеевым. Меня не оставляла мысль, что на гибель за мной уже потянулась вереница людей — умер Пантелеев, а теперь я потяну еще и еще. Сколько сил было потрачено, чтобы сберечь свое человеческое достоинство, и такой срыв! Как невыносимо стыдно перед самим собой! Проворочавшись на нарах до утра, я решил отказаться от написанного мною заявления.

Мокеев прислал за мной выводного днем, после обеда. В кабинете перед моим табуретом был поставлен небольшой столик.

— Ну, садитесь, будем работать. Начинайте писать.

— Что писать?

— Как что? Все. Кто входил в вашу группу, какие цели ставили.

— Да я ничего не знаю.

— Ведь вы написали, что прекращаете запирательство и будете чистосердечно сознаваться!

— Вы видели, в каком я тогда был состоянии.

— Никакого состояния я не видел.

— Не видели? Так я отказываюсь от того заявления. Дайте бумагу, я напишу, что отказываюсь. Мне не в чем сознаваться.

— Ах, вот как! Вот какие шутки ты решил шутить! Провоцировать нас затеял, сволочь!

Он нажал кнопку звонка и, когда дежурный вошел, быстро куда-то выбежал. Вернувшись, он позвонил в тюрьму, чтобы прислали выводного. Ожидая его прихода, он нервно барабанил пальцами по столу. Мы оба молчали. Наконец, когда выводной пришел, Мокеев сказал:

— Отведите прямо в карцер. Не заводя в камеру.

Теперь к бессоннице прибавились мороз и голод. Миску баланды давали один раз на третьи сутки. Хлеба я получал двести граммов в день. Как-то, сидя на полу, я перебирал сметенный в угол мусор и нашел обглоданный хвост солевой рыбы. С каким наслаждением я его разжевывал! По ночам меня отводили в оперотдел, но Мокеев не появлялся. Водили только для того, чтобы я не спал. Через неделю опять состоялась встреча с Мокеевым. Он сказал:

— До вас, я вижу, ничего не доходит. Но, может быть, вас убедит встреча с Ордынским? Сейчас я устрою вам очную ставку с ним.

Он отвел меня в другой кабинет. Там за письменным столом сидел дежурный уполномоченный, а сбоку от него — Николай Иванович Ордынский. Меня посадили с другой стороны.

После формальных вопросов — давно ли мы знаем друг друга, узнаем ли, нет ли у нас личных счетов и прочее — Ордынский попросил разрешения обратиться ко мне. Он настолько волновался, что голос его дрожал. Не было даже признаков его обычной умной и спокойной насмешливости. Смысл его речи заключался в том, что он будто бы глубоко продумал и осознал всю беспочвенность своих повстанческих надежд, счел нужным чистосердечно сознаться в преступных замыслах против советской власти и призывает меня сделать то же самое.

Кровь бросилась мне в голову. Не сдерживая голоса, то и дело срываясь и кашляя, я стал говорить, что знаю все мысли Ордынского, знаю, что он считал преступным даже думать о каком бы то ни было восстании, что с юношеских лет он воевал за советскую власть, что даже в лагере упорно просился отправить его хотя бы солдатом на фронт, что все, о чем он говорит сейчас, не его слова и что, по-видимому, он прошел такую же страшную пытку, как и я...

Ордынский сидел, опустив голову. Мокеев терпеливо слушал. Когда я прокричал свою тираду, он спросил:

— Все? — Я молчал. — Тогда вопрос к Ордынскому. Подтверждаете ли вы свои показания о том, что Зубчанинов совместно с вами участвовал в контрреволюционной организации, готовившей вооруженное восстание с целью свержения советской власти?

Ордынский ответил:

— Подтверждаю.

— Вопрос к Зубчанинову: соответствует ли это действительности?

— Не соответствует. Ни я, ни он ни в какой контрреволюционной организации не участвовали...

Дальше шли такие же вопросы. Ордынский подтверждал, я отрицал. Мокеев все это записывал и дал подписать ему и мне. После подписания протокола Ордынского увели, а мне Мокеев сказал:

— А вам придется идти опять на свое место: в карцер.

На другой день меня снова вызвали. Вместо Мокеева в его кабинете сидел заместитель наркома внутренних дел Коми Республики Фальшин. Я как-то ехал с ним в его вагон-салоне, и он развлекал меня игрой в «козла». Это был угрюмый, черноглазый, похожий на куперовских индейцев человек со сломанным носом. Наверное, такими же были испанские доминиканцы, считавшие, что они самим Господом Богом уполномочены решать — кому можно жить, а кого следует сжигать. Он спросил меня:

— Почему вы не сознаетесь? Закрылись и думаете, что у нас средств не найдется открыть вам рот?

Я ничего не ответил.

— Вы, может, считаете, что мы вас по злобе задержали? Напрасно. Мы давно про вас все знаем. И о вашем участии в усть-усинском деле, и о здешней

организации. Да разве только это! А что под видом созыва плановиков вы съезд троцкистов устраивали?! Думаете, мы не знаем? А что вы разные книги читали? Я ведь ваши книги смотрел, там даже иностранные есть. Ему своих не хватало! Мы все знаем! — Он смотрел на меня непримиримыми глазами инквизитора. — Здесь, видишь, не хватило опыта до конца разобраться с вами. Думаю переправить вас в Сыктывкар. Так-то, однако, лучше будет.

Меня охватил панический ужас. Я имел представление о том, что делали в Сыктывкаре. А сил у меня уже не оставалось. Мысль о новых попытках оказалась страшной самих пыток. Не раздумывая, я сказал Фальшину:

— Ведь я заявил следователю, что готов сознаться.

— Надо это на деле доказать. Подумаешь, заявил! Это только слова. Вот давай напишем протокол о вашем участии в усть-усинском восстании. Ведь знал о его подготовке?

Он накарябал протокол, в котором я признавал, что будто бы не только знал о подготовке усть-усинского восстания, но и способствовал его осуществлению. Я уже не спорил и подписал. Если б я действительно должен был что-то скрывать, может быть, я и выстоял бы. Но мне нечего было скрывать и не за что было вести эту отчаянную борьбу. Я сдался окончательно.

В ту же ночь была устроена повторная очная ставка с Ордынским в присутствии Фальшина. Вопросы задавались те же самые, что и на первой очной ставке, но теперь я со всем соглашался. Мокеев спешно писал и второпях испортил одну страницу. Фальшин сказал:

— Ну, завтра перепишешь, тогда и подпишут.

— Нет, откладывать нельзя. Такой опыт у меня был. Вон Пантелеев не подписал, а кто теперь за него подпишет?

Когда меня после этого вели обратно в тюрьму, я чувствовал себя настолько разбитым и обессиленным, что даже не мог ни о чем думать, даже не испытывал стыда перед самим собой. День я провалялся в полусне, а ночью начал «работать» с Мокеевым.

В следующем протоколе я признавал себя одним из руководящих участников повстанческого центра. Но надо было записать и других участников. Я попытался ограничиться Ордынским и двумя покойниками — Паниным и Пантелеевым. Но Мокеев сказал:

— Нет. С них ничего не спросишь. Вы ведь знаете, что Николай Прикшайтис участвовал. Я же зачитывал вам его показания.

Пришлось пополнить центр Прикшайтисом. Но и этого оказалось недостаточно. Мокеев настаивал, чтобы я назвал еще кого-то, но кого — не сказал. Отгадывать я был не в состоянии. Тогда он попытался намеками заставить меня понять. Ему очень хотелось, чтобы я догадался и все-таки сам назвал фамилию.

— Из вашей же компании. Немалую роль играл в управлении лагеря. Попытался сбежать. Но вот мы его привезли.

Кого же они могли привезти? Откуда? Я ломал себе голову и не мог сообразить. Наконец Мокеев не выдержал:

— Да Капуцевский. Уж чего скрывать! Сидит, как и вы сидите. Только еще ничего понять не может.

Оказывается, Капуцевский вскоре после моего ареста сумел добиться перевода с Воркуты в какое-то другое место, но на него уже были подготовлены показания, его привезли и посадили.

В ту ночь Мокеев не хотел засиживаться. Он дал мне подписать протокол и сказал:

— Остальных мы запишем потом.

Через несколько дней, сидя в своей камере, я услышал, что по боковому входу, примыкавшему к нашей стенке, кого-то привели. Это был доктор Ринейский. Он поставил вещи и своим четким голосом спросил:

— Это и есть ваша фабрика по изготовлению чистосердечных признаний?

Надзиратель зашипел, и он замолк.

Вскоре Мокеев вызвал меня, чтобы продолжать комплектование повстанческой организации. Он предложил включить Ринейского и Папаву. Относительно Ринейского я мог уже не спрашивать. Но кандидатура Папавы вызвала у меня недоумение. Дело в том, что еще до моего ареста он был посажен за мо-

шенничество. Это как бы исключало его из числа контрреволюционеров. Но Мокеев сказал:

— Он заодно признался в своем участии в вашей организации.

Несколько позднее Мокеев добавил Кобрин, работавшего помощником Капушевского, и горного инженера Кляченко.

Так сформировался Воркутинский повстанческий центр. Его создание было закреплено моей очной ставкой с Прикшайтисом. Прикшайтис все признал, но оказалось, что со своим следователем он расширил организацию и, кроме покойников и уже арестованных, назвал еще пару человек. Это не входило в планы Мокеева.

О названных Прикшайтисом людях он поставил вопрос передо мной. Я сказал, что ничего не знаю об их участии. Мокеев накинулся на Прикшайтиса:

— Чего же вы выдумываете?

На этой очной ставке я познакомился с нашей программой, якобы написанной Прикшайтисом. Это была непродуманно и наспех набранная всякая всячина: описание проекта членского билета с портретами Герцена, Плеханова и Ленина на обложке; организация управления страной по западному образцу; сдача госпредприятий в аренду с контролем за ними через государственные банки; консервация воркутинского строительства и т. д.

Я все подтвердил.

8

Бессовестный поступок нуждается в оправдании. Благодаря сделке с Мокеевым я продолжал жить. Но довольствоваться этим я не мог и должен был убеждать себя, что поступил правильно. Рассуждал я так: мне необходимо было выжить для того, чтобы рассказать о совершенной над нами подлости и разоблачить ее. Кто узнал бы о ней, если бы я дал умерить себя! Я понимал, что мне готовят высшую меру наказания. Но в неизбежность расстрела мне не хотелось верить, и я не верил. Ведь война должна была кончиться!

А пока я отдыхал. Мокеев, по-видимому, считал, что меня «отработал», и занимался другими. Недели шли за неделями, меня не вызывали. В камере я сидел вдвоем с Семеном Петровичем Соколовым. Мы договорились не пережевывать наших дел и не говорили о них. Как ни сложились наши жизни, надо было жить, а значит, думать и работать. Соколов был старше меня и много видел. Он был из тех людей, которые никогда «не проходят мимо», все замечают и смотрят «думающими глазами». И рассказывал он так же, как переживал: стараясь объяснить и вместе с тем весь отдаваясь своим воспоминаниям и переживаниям.

Вот — гимназические годы в Москве. Брат Семена Петровича, будущий художник Соколов-Скаля, ничего не хочет знать, кроме живописи, работает где-то высоко над прокопченными московскими крышами в большой стеклянной мастерской у Машкова и еле тащится через частную гимназию. А Семен — первый ученик, он ходит и ходит по Москве и смотрит улицы, рынки и толкучки, трактиры и чайные для извозчиков, церкви и монастыри.

Потом война. Крестные ходы, хоругви, царские портреты и иконы, людская толпа, которую, оказывается, можно натравливать на что угодно: после молитвенных песнопений она громит магазины с немецкими фамилиями на вывесках и топчет шоколадные конфеты у Эйнема.

Потом революция. Семен записывается в большевики и уходит в Красную Армию, а его брат идет к белым и обзаводится французским паспортом на имя Скаля.

— Всю жизнь меня оттирали из-за брата-белогвардейца. А ведь его записали теперь в партию, сказали: стоит ли вспоминать? Сделали академиком...

Гражданская война и первое ранение. Они бежали в атаку и кричали «ура», и вдруг у Семена соскочил лапоть, он споткнулся и кувырком полетел с косогора, а очнувшись, увидел, что рядом лежит и смотрит на него такой же перепуганный солдат, и они никак не могут понять — враги они или нет. И вот, оказавшийся белым, этот солдат бросается бежать и кричит отчаянно: «Не стреляй, не стреляй, а то убью!» И тут между ними разрывается снаряд, который убивает солдата и ранит Семена.

Дальше — кавалерийская школа и служба в Туркмении. Сколько интересного увидел и узнал там Соколов! Ему в подробностях рассказывали, как в шестнадцатом году Хиву захватили кочевые племена, свергли хана и как хивинским ханом стал джигит в рваном халате — знаменитый Джунаид-хан, раздавший все байское имущество беднякам, какой популярностью пользовался этот народный вождь, как при советской власти его сделали членом ЦИКа, но не сумели удержать, и он со своими племенами ушел в Афганистан.

Соколов был свидетелем не одного такого переселения народов. При нем, прослышав о новых порядках в нашей стране, из Индии пришло большое племя белуджей под предводительством Керим-хана, осело и как будто прижилось, но, когда началась коллективизация, бросило дома, посева и пастбища и все целиком ушло обратно.

Соколов владел туркменским языком, и я решил выучить его тоже. Каждый день до обеда мы трудились над этим. До сих пор я восхищаюсь тем, с каким умением он объяснял мне туркменскую грамматику. Он сумел показать, как, словно из детских кубиков, могут из простейших элементов строиться любые предложения.

Но в один из весенних дней Мокеев вызвал меня и прервал наши занятия. Было очень солнечно, с крыш весело капало, а мой выводной имел какой-то праздничный вид. У меня вырвался вопрос:

— Уж не кончилась ли война?

— Иди, иди. Кончилась.

У Мокеева на мундире была приколата новая медаль на георгиевской ленте. Я решил спросить:

— Я слышал, что война кончилась?

— Да, немцы капитулировали. Но законы военного времени остались.

— Надолго?

— Не знаю. Пока не отменят.

Он уткнулся в бумаги, очевидно, восстанавливая что-то в памяти, потом сказал:

— Ну, будем продолжать. Кто же должен был возглавить ваше правительство?

— Наше правительство?

— Я думаю, вы не собирались после свержения советской власти оставлять теперешний Совет министров?

Я подавил усмешку. И тут же у меня мелькнула мысль: «А ведь это великолепно. Чем невероятнее и глупее будут мои признания, тем проще потом доказать, что ничего подобного не было и быть не могло». Но придумать премьер-министра сходу я не мог. Мокеев, не отрывая глаз от своих бумаг, стал помогать:

— Ну, наверное, вам подошел бы кто-то из зарекомендовавших себя прежней борьбой с советской властью?

— Кто же? Разве кто-нибудь из вождей оппозиции?

— Нет. При чем тут оппозиция! Вы же вели не внутрипартийную борьбу.

— Не могу сообразить.

— Соображать нечего. Надо говорить то, что было. О Рамзине вы думали?

— Рамзин? Пожалуй, подошел бы.

— Хорошо. Насколько я знаю, военным министром намечался Рокоссовский? — Он поглядел на меня. Я согласился. — И пару портфелей должны были получить представители вашей воркутинской организации.

Опять подавив усмешку, я сказал:

— Мне хотелось бы получить портфель министра иностранных дел.

Мокеев вдруг взглянул на меня широко открытыми глазами. Я подумал, что он заорет и накажет меня за озорство, но он подумал и сказал:

— Нет. В этой области у вас нет опыта. Министром промышленности вы могли бы быть.

— Но почему не министром иностранных дел? Я всегда мечтал...

— Нет. Министром промышленности. Капущевский — министром финансов.

— Он и с воркутинскими финансами не справлялся.

— Ничего. Он известен как финансовый делец.

Поскольку все приобретало анекдотически-глупый характер, я решился еще на одну выходку:

— А министром транспорта мог бы быть Френкель.

— Какой Френкель?

— Начальник нашего главного управления лагерей.

Мокеев задумался, затем, что-то сообразив, сказал:

— Да. Давайте запишем.

Через несколько дней меня опять привели к Мокееву. Очевидно, за это время он успел показать свои протоколы начальству. Не поднимая глаз, он сказал:

— Вот прошлый раз вы не совсем ясно высказались относительно Френкеля. Наверное, вы основывались на непроверенных слухах. Ведь сами вы с ним переговоров не вели?

— Не вел.

— Так давайте вычеркнем то, что записано о нем.

— Вычеркивайте.

Мне говорили потом, что относительно Рокоссовского были какие-то указания. По крайней мере показывать на него вынуждали очень многих. О Френкеле указаний не было, выдумывать на него не требовалось и даже могло оказаться опасным. Поэтому начальство, видимо, одернуло Мокеева.

После этого меня опять оставили в покое. Мы с Соколовым снова занялись туркменским языком. Но летом начались новые неприятности. Первая их серия заключалась в очных ставках. Большинство из нас понимало, что после вымученных из нас показаний устраивать представления перед следователем и мучить друг друга было бессмысленно, надо было кончать комедию. Но два-три человека относились к этому иначе. В их числе был Капущевский.

Когда меня привели на очную ставку с ним, он отвернулся и даже не кивнул головой. Все показания, которые я и другие подписали у Мокеева, он, не смотря на то, что сам «сознался», категорически отрицал. Он кричал:

— Ложь. Клевета!

Мокеев прервал очную ставку. Меня увели. Я был подавлен. Я не хуже Капущевского знал, что все это ложь, но я лучше его понимал, что противостоять этой лжи не хватает человеческих сил. То, что он именно во мне видел источник этой лжи, было для меня очень тяжело. Да и разоблачать ее надо было не криками в кабинете следователя, а совсем по-другому.

Через сутки очную ставку возобновили. На этот раз Капущевский соглашался со всем. Он кратко говорил:

— Да. Подтверждаю.

Вдруг, сорвавшись, он со слезами в голосе истерически выкрикнул:

— Гражданин следователь! После того, что вы со мной делали, я не могу не подтвердить!

Ни прокурор, присутствовавший при этом, ни следователь не обратили на это внимания.

Но тут же Капущевский обрушил злость на меня. Ему задали вопрос о пресловутой программе. Он подтвердил, что знал о ней. Его спросили: где она? И вот он неожиданно выдумал очень опасную ситуацию:

— Зубчанинов отвез ее в Москву.

Эта новая выдумка должна была вызвать расспросы: кому отвез, кто знакомился с программой в Москве, что с ней делали и так далее. Поэтому я горячо настаивал на том, что ничего подобного не было. Опять спросили Капущевского, он подтвердил свои показания и, повернувшись в мою сторону, сказал:

— Вам понадобилась эта программа, вот и кушайте на здоровье.

Он считал, что во всем виноват я и я должен за это платить.

По-другому, но так же непримиримо вел себя Кляченко. Это был человек, далекий от всех от нас и неизвестно почему пристегнутый к нашей группе. Его арестовали значительно позднее, с ним очень мало занимались и никаких признаний от него не получили.

На очных ставках Кляченко, не вдаваясь ни в какие разговоры, кратко и односложно все отрицал. Но от него и не добивались признаний. В каждом деле полезно было иметь хотя бы одного несознавшегося. В случае разговоров о том, что сознаться заставляли, можно было сказать: хотел — сознавался, а не хотел — его воля. Вон Кляченко: не хотел, и никто его не заставлял. Сам Кля-

ченко этой своей роли не понимал, считал себя лучше всех и презирал остальных.

Для меня тяжелым наказанием было это презрение и осуждение. Ведь до чего глупо получилось! Я перенес и вытерпел гораздо больше Капущевского и уж во много раз больше, чем Кляченко, а в их представлении оказался подлецом! Но еще более тяжелые последствия моей сделки с Мокеевым выявились позднее.

В одну из темных осенних ночей я был вызван в оперотдел. Вместо мокеевского кабинета меня провели в большой, устланный коврами кабинет начальника оперотдела. За столом сидел невысокий, свежий, подвижный генерал с длинными, как у зайца, очень белыми передними зубами. Это был Буянов, новый министр внутренних дел Коми. Рудоминский сидел сбоку. Когда меня ввели, Буянов вышел из-за стола, быстро приблизился ко мне, как бы желая получше рассмотреть, оскалил свои заячьи зубы и сказал:

— Садитесь.

У стены для меня была приготовлена табуретка. Буянов огорошил меня вопросом:

— Почему вы не сознаетесь?

— Как не сознаюсь? Следователь даже все оформил...

— Полупризнание — это еще не признание. Рассказав кое-что, вы пытаетесь скрыть самое главное. Я уже давно слежу за вами. Вы думаете, мы не видели, что тут затевается? Мы давно могли вас обезвредить. Рудоминский почему-то медлил...

Я молчал. Он сел за стол.

— Вот первый вопрос: через кого шли ваши связи с Москвой?

— Я не знаю об этих связях.

— А кто знает? Ну, следователь этим займется. А здесь? Вы назвали фамилии четырех-пяти человек. Половина из них покойники. Вы хотите за полупризнанием скрыть состав организации.

Он опять вскочил с кресла. Больше одной минуты ему не сиделось. Повернувшись к Рудоминскому, он сказал:

— И этот человек ездил у вас в Москву!

Рудоминский виновато улыбался.

Со следующей ночи Мокеев приступил к выполнению указаний министра. Мне кажется, он понимал, что создавать какие-то московские связи для него опасно. Этими связями должен был заняться центральный аппарат, и воркутинская стряпня могла провалиться. Но не выполнять указаний начальства он не мог. Буянов, который раньше работал в главке, наверное, даже назвал ему фамилии тех, кого следует подозревать в Москве, и не подтвердить подозрений министра было еще опасней.

Когда я повторил, что никаких связей не знаю, Мокеев досадливо хмыкнул.

— Вы слышали, что говорил министр? Приезжали же люди из Москвы. Кто приезжал?

— Френкель.

— Френкеля вы оставьте. С Френкелем кто приезжал? По вашей линии?

Я молчал и ждал, когда он сам назовет, кого ему нужно. Спустя некоторое время он действительно назвал две фамилии:

— Куперман и Михайлов к вам приезжали? Нам ведь известны разговорчики, которые вы с ними вели.

Никаких «разговорчиков» не было, и, значит, ничего знать он не мог. Но, очевидно, на этих двух людей ему указал Буянов. Несколько ночей подряд Мокеев выламывал из меня признание о том, что будто бы Куперман и Михайлов осуществляли наши связи с Москвой. Я старался устоять. Я понимал, что подтверждать вымыслы на людей, которые ни о чем даже не подозревали, и ставить их под удар куда страшнее, чем на тех, которые уже сидели и сами подтверждали эти вымыслы. Но Мокеев должен был выполнять указания министра, и канителиться ему со мной было некогда. На третью или четвертую ночь, придравшись к какому-то моему дерзкому ответу, он отправил меня в карцер. Я промерз там целый день, а на ночь опять был приведен к Мокееву.

— Вам, я вижу, хочется повторения всего, что было?! Только предупреждаю: дневное время на этот раз вы будете проводить в карцере.

Я знал, что такого повторения не выдержу. К утру я сдался и подписал протокол о московских связях и другой, в котором Мокеев перечислил чуть ли не всех специалистов — бывших заключенных, на которых якобы рассчитывала наша повстанческая организация.

Это была не только новая уступка негодяям. Это было страшное падение, которое увлекало и других людей. На первых порах я решил, что жить больше нельзя, и так как я уже не жалел себя и был невыносимо противен сам себе, а к тому же боялся теперь встречи с людьми, то, может быть, и покончил бы с собой, если бы вовремя не подумал, что именно теперь необходимость разоблачить ложь моих показаний стала для меня такой обязанностью, не выполнив которую, я не имею права умереть. Но как ее выполнить?

Думать об этом я мог целыми днями. Соколов с утра до вечера отсутствовал: приехали его особисты, и он сочинял с ними протоколы про свою измену. Забившись в угол, я во всех подробностях формулировал про себя заявление. Но как и на чем его написать? Решилось это самым неожиданным образом.

Шел уже второй год моего тюремного заключения. Меня давно не допрашивали, следствие, по-видимому, считалось законченным и надо было ждать постановления Особого совещания. Вдруг в середине зимы меня опять вызвали. За столом Мокеева сидел мрачный, незнакомый мне подполковник. Оказалось, что это какой-то начальник из центра, Карамышев. Он сказал:

— Вы запутали здесь следователей, наговорили всякой ерунды. Надо разобратся.

Я даже задрожал от радости.

— Следователь вынуждал говорить неправду. Все показания — сплошной вымысел. Заявляю официально!

— Вот и разберемся.

Он начал с нашей программы. Я сразу же заявил, что никто ее не видел, никто не писал и вообще ее не было и быть не могло, потому что не было и организации. Он спокойно все это выслушал и стал писать протокол. Записал он почти так, как я говорил, но мое заявление о том, что не было и организации, опустил. На мой вопрос: «Почему?» — он ответил:

— Это потом.

После он заставил меня отказаться от программы Прикшайтиса и Капущевского, устроил нам очные ставки и таким образом весь этот вопрос из нашего дела исключил.

Затем он точно так же в течение пары недель разделался с формированием правительства и с московскими связями. Самое страшное отпало. Я думал, что он будет разбираться и дальше, но, к моему удивлению, вышло вот как: когда я с последнего его допроса вернулся в тюрьму, меня отвели не в камеру, а в карцер. Я спросил: за что? Дежурный оглянулся и прошептал:

— По распоряжению подполковника.

На следующий день я попросил вызвать подполковника или отвести к нему. Но оказалось, что он уехал. Очевидно, ему, как следившему за работниками главка, важно было доказать, что он ничего не проглядел и что так называемые московские связи — это просто наговор; все остальное в нашем деле его не интересовало.

В карцере я промучился десять суток. С Мокеевым после этого я уже не встречался, следствие не возобновлялось. Но жить взаперти в нашем чулане пришлось еще долго. Несмотря на то, что мучения, связанные со следствием и допросами, теперь приостановились, тюремная жизнь становилась все тяжелей. Уж не говоря о нервном переутомлении, избавиться от которого на тюремном пайке и без воздуха было невозможно, нас стала мучить еще цинга. Начали катастрофически разрушаться зубы, распухать суставы, а кости болели так, что, лежа на гольях досках, мы вставали, как избитые.

У нас было очень мало пространства, но мы все-таки старались побольше двигаться — махали руками, шагали на месте, нагибались, вертели туловищем, но главным для нас было — не оставаться без дела, не мириться с гибелью. Рабочий день у нас теперь делился на две половины: в первой мы учили язык, во второй стали заниматься историей. Учили мы уже не туркменский язык, а английский. Во времена моей капитуляции Мокеев разрешил передать мне Фенимора Купера на английском языке, и теперь мы учили наизусть его «Следопыта». Так шла вторая зима нашего тюремного заключения. Мы жили в своей ка-

мере, как будто поселились в ней навсегда. Неожиданно произошло событие, по которому можно было догадаться, почему мое дело тянется так долго.

В карцер, который примыкал к нашей камере, никого, кроме нас, не сажали. Но однажды из какой-то общей камеры, которую освободили для побелки, в него заперли человек десять. Сразу же один из них стал стучать мне в стенку и звать меня по фамилии. Это был механик Острога, которого я раньше немного знал. Откуда ему стало известно, что я оказался рядом, непонятно. Но ему известно было и то, что приезжал Карамышев и что я отказался от своих показаний. Не стесняясь сидевших вместе с ним других людей, Острога стал довольно громко, чтобы было слышно через стенку, уговаривать меня отказаться и от всего полностью. Надзиратели не мешали ему вести этот разговор. Я сначала молчал, потом спросил:

— Не можете ли говорить по-английски?

Он повторил все по-английски. Я ответил:

— Good.

Острога говорил что-то еще, но я отошел от стенки. Слишком подозрительны были его откровенность в присутствии десятка свидетелей и знание наших дел, с которыми он связан не был.

Через пару дней меня вызвал Заболоцкий и потребовал:

— Расскажите, о чем вы говорили с Острогой.

— Я не говорил.

— Как же не говорили, когда имеются показания трех свидетелей, которые слышали то, что говорил Острога и что отвечали ему вы!

Я решил, что уже смогу заявить о ложности всех показаний.

— Острога спросил, буду ли я отказываться от своих ложных показаний. Я сказал, что обязательно от них откажусь.

Заболоцкий предложил подробно изложить это в письменной форме.

Подумав потом вместе с Соколовым, я пришел к такому выводу: очевидно, после ревизии Карамышева в аппарате Особого совещания к нашему делу относились недоверчиво, его вернули и, может быть, даже потребовали следования. Чтобы не попасть впросак, воркутинский оперотдел придумал, будто у нас состоялся сговор с целью отказа от показаний. Всякое следствие или преследование при этом, естественно, не могло состояться, разговор Острога, организованный Заболоцким, подтверждал это. Наверное, так оно и было. Больше меня не вызывали.

Прошло два года тюремного сидения, начался третий. Все острее и острее стала ощущаться утрата настоящей жизни. Я с тоской вспоминал зеленую траву, и синие перелески, и васильки во ржи; я закрывал глаза и представлял себе липовые аллеи московских бульваров, заживавшиеся в сумерках электрические фонари; вспоминал книги в Ленинской библиотеке. Да не только книги — цыпленка под белым соусом, и сочные, душистые яблоки с черными зернышками, и сливы, покрытые голубой пылью, и женщин, ласковых, теплых женщин, которых так мало успел я узнать.

Как бы вырваться ко всему этому!

В нашей нарастающей тоске по отнятой жизни хотелось оставаться наедине только с собой, хотелось мечтать, и поэтому постоянное присутствие соседа начинало раздражать. Мы давно знали недостатки друг друга, но в течение двух с лишним лет терпеливо переносили их. Теперь же то и дело мы переставали сдерживаться и позволяли себе изливать друг на друга свое раздражение. У Соколова не было зубов, протез испортился, он жевал его и как-то щелкал им; это выводило меня из равновесия, и я уже не пытался это скрывать. В своих рассказах он был иногда многословен и не находил правдивых образов и слов, соответствующих переживаниям. Я насмехался над ним, язвил, говорил «не может быть», «вранье». Он сердился и, в свою очередь, срывал досаду на мне. Каждая моя плохо доказанная мысль или необоснованное утверждение вызывали у него поток насмешек, которые обижали меня.

Нам стало понятно, почему на царской каторге, если хотели особенно страшно наказать, сковывали людей по двое.

Я уходил в дальний угол и старался жить какой-нибудь несбыточной выдумкой. Мечтать о реальном было невыносимо больно. Я представлял себе, как жил бы, скажем, в двадцать пятом веке. Как изменилась бы природа, которую портили и уничтожали в двадцатом веке. Как всю промышленность перемести-

ли в неудобные для человеческой жизни районы, где она работает автоматически. А в местах с теплым, ровным климатом выросли леса, текут полноводные, чистые реки, и сколько всюду цветов, которые раньше разводили только в садах!..

Соколов сидит перед дверью один. Он тяжелей меня переносит наш разрыв. Через несколько часов он говорит:

— Давайте не будем ссориться. Ведь вместе мы можем многое продумать и понять.

Мы начинаем опять наши исторические занятия.

Так прошло еще почти полгода.

Но вот весной меня вызывают в дежурку и предъявляют выписку из протокола Особого совещания. За подготовку к восстанию против советской власти меня заключили в лагерь на десять лет.

Человек,
Которого ударили,
Человек, которого дубасили,
Купоросили и скипидарили,
Человек, которого отбросили,
Человек, к которому приставили
С четырех сторон по неприятелю,
Но в конце концов не обезглавили,—
Вот кто чувствует ко мне симпатию.

Леонид Мартынов

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

После объявления приговора меня отправили в Соликамские лагеря. Там я стал писать свою жалобу генеральному прокурору. Подавать жалобы разрешалось два раза в год. В течение ряда лет я повторял свою жалобу каждые полгода. О том, какое это имело значение, можно судить по следующей бывшей при мне истории.

Один заключенный вынужден был при аресте сдать свои золотые часы. Ему выдали сохранную записку. Но при перебросках из лагеря в лагерь часы пропали. Как их ни разыскивали при помощи местных прокуроров — найти не могли. Тогда их владелец послал жалобу генеральному прокурору. Через полгода пришел ответ. На печатном бланке, за подписью и печатью генерального прокурора, было написано: «Рассмотрев вашу жалобу, никаких оснований для пересмотра вашего дела не найдено. Вы осуждены правильно».



Нонна МОРДЮКОВА

Записки актрисы

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ

Телефон сегодня раскричался не на шутку. Бывают дни спокойные, а бывают и, наоборот, такие, что, когда стелишь на ночь постель, с надеждой думаешь, что, может, завтра потише будет.

— Нонна! Ты хорошо меня слышишь?— Это Зея, моя подружка из Тбилиси.— Здравствуй, это я.

— Здравствуй, Зеечка дорогая!

— Завтра подойди к шестому вагону, я послала сулугуни, зелени, винца и пышек.

— Ну зачем? Мы живем нормально. Приспособились. И какая может быть зимою зелень?

— Что?

— Приспособились, говорю. А вы как там? Говорят, у вас с продуктами плохо?

— Да, но мы тоже перестроились, то есть приспособились, и вообще не твое это дело.

Она бросила трубку, а может быть, разъединили. Ох, грузины! Что за люди!

Вспомнилось, как выступала я у них во Дворце культуры. Зал плотно набит зрителями. Концерт идет академически-торжественно. И вдруг объявляют меня. Я выхожу и чуть не сбиваюсь с намеченного пути к микрофону. Весь зал встал — стулья затрещали, как грома обвал,— заплодировал. Это получилось быстро и неожиданно. Я стояла в растерянности, сдерживая слезы. Ведь грузин, я заметила, так просто со стула не встанет. Только если перед стариком, перед отцом, матерью. А здесь стояли все — и пожилые, и совсем молодые. Елеле остановила зал. Такая теплота шла от зрителей, такой восторг! Это значит, что вожди будут разделять Россию и Грузию, а мы — простые люди — никогда не смиримся с отчуждением, всегда будем родными друг другу.

Потом пошли, положили цветы на могилу Бори Андроникашвили — Пильняка. Его сынок Сандрик — точный портрет отца.

— Я не Сандрик, я уже Сандро!

Действительно, ведь он уже закончил киноинститут в Тбилиси. Красивый и по-особенному, по-грузински, добрый.

Не успела погрустить о Грузии и грузинах, как снова звонок телефона.

— Нонночка Викторовна! Здравствуйте! Это Иветта Федоровна.

— Здравствуйте, Иветта!

— Только не отказывайтесь, умоляю!

— Что такое? — бурчу недовольно.

Конечно, мы попали впросак с этой перестройкой. Были какие-то деньги — вырвали из рук, облапошили без спросу. Приходится подрабатывать. Несмотря ни на что, ведь давление мое уже не всегда бывает «на месте», как прежде. Я и сверстники мои стали зависеть от разных атмосферных явлений, магнитных

бурь... Бывает и так, что валидол под язык — и на сцену. Смотришь, раздухарилась, разогрелась и будто здорова — отпустило. Чувствуешь себя семнадцатилетней. Скорей, скорей домой! Там таблетку коринфара — и в койку, чтоб эта нахлынувшая молодость не обернулась чем-то совсем уж плохим. Сколько раз бывало и так — наутро после подобного омоложения совсем скверно себя чувствуешь. «Последний раз, последний раз,— говорю себе,— больше не поеду, хоть убейте!»

— Вы меня слышите?

— Слышу, слышу! Что там?

— Тут такое! Соревнования!

— Соревнования? А я-то при чем? Соревнования...— Ох, не на ком зло соврать! Не хочу ничего.— Да я у вас уже была.

— Ой, ой, Нонночка Викторовна, общественность города и слышать не хочет о другой кандидатуре.

— А что надо?

— Как обычно, творческий вечер.

— Для кого?

— Для всех. Молодежь съехалась со всего Советского Союза, то есть Эс-Эн-Гэ. Со всех республик до одной...

— Мне только спорта не хватает!

— Да все будет хорошо, все путем.

Обе замолчали, и она поняла, что я начинаю склоняться к согласию.

— У меня завтра поезд из Грузии, посылку послали, понимаете?

— Утром?

— Да.

— Отлично! Я пошлю нашего водителя в Москву, он переночует там, утром съездите на вокзал. Саша. Вы его знаете. Что ему семьдесят кэмэ!

— Да нет... Зачем так уж?.. Я сама утром съезжу на вокзал.

— Прекрасно. Он подрулит к вам в три. Начало в пять.

— Ладно.

— Миленькая Нонночка Викторовна! Целую вас! До встречи. Тут есть одно предложение... Но — на месте...

— Нет, нет! Хватит, Иветта.

В сердцах положила трубку на рычаг: навыступались мы все бесплатно за всю свою жизнь. А теперь, когда стали платить, сил не всегда хватает.

Утром поплелась на вокзал. Поезд опаздывал. Я нервничала. Но вот он подплывает к перрону, я увидела взмах флажка, будто матрос сигнал «SOS» подавал с корабля. «Шестой вагон», — догадалась.

— Нонна, Нонна! — зычно кричала грузинка.

— Иду, иду! — смеялась я.

— Не суетитесь, — приказала она напирющим пассажирам и встречающим. — Нонна, вот видишь?

Она кряхтя выставила тот еще баул, коробку с нешутейным весом. Хорошо я с коляской пришла — знаю эти «небольшие посылочки» из Грузии.

Поцеловала в щеку проводницу, подарила фотографию с автографом, и мы с нею прикрепили посылку к коляске веревкой. Спасибо тем, кто придумал эти каталки — никакой тяжести не чувствуешь, хоть мизинцем вези. Прикрылась темными очками, косынкой во избежание взглядов сочувствующих: «Как, без мужика и без «мерседеса»?!»

Бывало и такое: из больницы выпишусь и поглядываю — с кем бы выйти. Никогда не сообщала никому о своей выписке. Люди на работе. У братьев и сестер — дети, семья, заботы. Однако очень важно, как выйти. Все поглядывают: что да как, кто встречает, в чем одета. Один раз пристроилась к молодой паре. Муж приехал за любимой женой на машине, с большим букетом цветов. Я «под

чужим флагом» шикарно подкатила к Театру киноактера и взяла на проходной ключ от квартиры, оставленный сыном, который уехал на гастроли. «Мордукова явилась с красивым мужчиной и охапкой цветов», — так говорили потом.

...И вот приезжаю с посылкой домой. Саша уже подпирает подъезд.

— Ох, Саша, еще и двух нет! Шустрый ты!

Он закрывает машину и берет мой груз.

— Ого! — крикнул. — Кто-то постарался неслабо.

— Из Тбилиси. Ты раскурочивай посылку, а я соберусь, и кофейку выпьем.

Вскоре помчались мы по Подмосковью. Дороги неплохие, а где так и очень хорошие. Все в инее.

— Ох, Нонна Викторовна! Не отпустят вас сегодня.

— Не пугай! Что за намеки? Знаешь, что лошадь мечтает о конюшне, а актер об уединении?.. Понял?

Люблю ездить на легкой машине, люблю дорогу — нервы успокаиваются. Я смирилась с неизбежным. По накату пошел творческий вечер. За кулисами поймала Иветту.

— Иветта, говори, что надумала?

— Потом, потом! Я побегу насчет стола.

Слышу — знакомая музыка из фильма «Председатель». Зал загудел — это я в задранной ночной рубашке слезаю с печки. А чего? Кругом секс, свобода нравов. Шучу, конечно. Не гожусь я для порнографии. Колхозная коровушка да и только. Все равно аплодисменты. И фильм хороший, да и я там сыграла неплохо. Встык идет фрагмент из «Женитьбы Бальзамина». Там богатая тенька сильно любви хочет и мнет у забора бедного Мишеньку — Вицина.

— Мне бы домой, — мяукает он.

Но куда там! Попался!

За эту небольшую роль я была удостоена престижной премии — братьев Васильевых. Вместе показывать фрагменты из разных фильмов — это наша хитрость: дескать, видите, какие разные роли играю. Еще немаловажный сюрприз — мой выход на сцену. Аплодируя, жадно разглядывают и меня, и одежду мою, и лицо — ведь видят впервые. Мы умеем себя приукрасить для сцены, чтоб не быть похожими на то, что показано с экрана.

Вижу — несколько рядов занято спортсменами. Теперь пусть хоть съедят меня с солью — мне стало хорошо, тепло. Недовольства, раздражительности как не бывало. Сцена — наш лекарь и друг: я стала добрая, веселая, заводная и простодушная. Приятно думать, что трудилась на съемках на совесть, и теперь хоть какой фрагмент выбирай — не стыдно.

— Банкет, Нонна Викторовна.

— С этими пацанами — «иностранцами», спортсменами?

— Боже упаси! С ними вы познакомитесь завтра.

«Так, — думаю, — арестовали, как хотели!»

Иветта холодными пальцами жмет мой локоть и ведет на этаж выше. Тут представители города. Рассаживаемся вокруг стола. Хочется есть, еда красочная и разнообразная. Ткацкой фабрике исполнилось аж восемьдесят лет. Рюмочку выпила. И сцена, и банкет вернули мне бодрость. Как на сцене ни старайся, второе отделение, застолье тоже на мне. Все ждут, что и как скажу, ждут каких-то особенных рассказов об особой, по их мнению, столичной жизни. Глянешь на какую-нибудь хорошенькую «курочку» и позавидуешь: как ей легко — отдыхает в полном смысле этого слова — ест, пьет, кокетничает. Грянула танцевальная музыка. Вот хорошо, потанцуйте, дорогие, а я отдохну, расслаблюсь. Что это? Иветта уже стоит в шубе и держит в руках мою.

— Господа хорошие! Гуляйте до утра, а Нонна Викторовна устала. Тем более ей завтра рано вставать.

Не успела оглянуться, как я у Иветты в гостях. На кухне за столом нас трое — хозяйка, ее сын Витя и я. Парень высокий, крепкий, с доброй улыбкой. Оказывается, у Иветты дело ко мне. Вернее, дело не у Иветты, а у Виктора.

— Ну пусть он сам скажет.

— Он не только скажет, но и покатает на буере.

— На буере?

— Не пугайтесь. Послезавтра международные соревнования.

— А я при чем?

— Витя обещал пацанам покатасть вас, чтобы все увидели кинозвезду на буере. Сфотографируйтесь с ними.

— Какой позор!

— Нонночка Викторовна, это честь, а не позор. Я вам все расскажу об этом виде спорта.

— Я в сто раз больше вам расскажу. У нас на Азовском море еще не такие буера.

— Они одинаковые,— вставил Витя.

— Почему тетка должна с пацанами кататься?!

Кончилось дело тем, что меня все же уговорили. Завели будильник. А для меня раннее вставание во все времена было высшей мерой наказания: коленки дрожат, в глазах «песок», все идет наперекосяк. Напяливаю спортивное, буерное, обмундирование, Витя помогает, Иветта тоже. Я хохочу, и они за мной. Смех — мой спаситель, я приободрилась, повеселела, и мы почапали.

Идем, идем — никаких буеров и никакого льда.

— Ну и что же дальше?

— Сейчас, сейчас... Давайте, я вас возьму на руки,— предлагает Виктор.

— Еще чего, ты совсем уж того!

И вдруг неожиданно за углом амбара открывается огромная театральная сцена: бесконечный, уходящий к горизонту лед, и на нем подковообразно застыли паруса и их капитаны. Все напоминало визит вежливости — молодежь улыбается и торжественно ждет. Я видела этих ребят вчера со сцены. Подтянулась, спину выпрямила. Витин буер стоял у берега в центре. Он предложил мне «засунуться» или «встаться» так, чтоб только голова торчала. Бесцеремонно дергает меня за плечи, поправляет что-то на мне, укрывает как следует, закрывает шалью лоб.

— Голову не поднимать!— с улыбкой командует и демонстрирует, как от движения паруса перекладина может сильно ударить.

— Может быть, не надо? Ну его к черту, Витя! Я боюсь.

— Все будет о'кей!

Смотрю, остальные паруса как корова слизала — мы одни. Он что-то сделал, и мы полетели, как в самолете. Скорость очень большая. Сердце замерло сперва от страха, а потом от наслаждения. Вдруг откуда-то брызги с шумом.

— Это полынья,— пояснил Витя.

Парус, а значит, и перекладина мотались перед моим лицом влево, вправо...

— Не холодно?

— Нет, хорошо, Витя! Хорошо! А другие где?

— Они за нами.

— Едут?

— Идут... Как надоест — скажите.

— Гоняй, Витя, сколько влезет. Хорошо!

Он хохотнул, мы замолчали, как-то дружно, ладно замолчали, каждый думал, конечно, о своем. И все же мы были рядом. Капитан правил, а я наслаждалась неопишуемым полетом. Размечталась, стала философствовать. То всплакнать хотелось, то радоваться. Вспомнился чеховский рассказ о том, как вез дед

на телеге свою бабу в больницу и стало ему жаль ее, потому что жили они плохо, неласково. Решил, что, если даст Бог и она поправится, все будет по-другому, и он готов был купить ей даже новый гребешок. Пока он мечтал, погоняя лошадь, бабу умерла, и голова ее билась о перекладину телеги. Я перекинула на себя эту историю. Такая уже немолодая тетя, умученная работой, ответственной за все, не умеющая отдыхать, заботиться о себе, лежу в этом летящем по льду сооружении... Романтика! А голова моя, хоть и мягко, периодически касается стенок буера...

Однако, глядя в синее небо, решительно подумала: надо взяться за себя. Буду ездить отдыхать, бывать на природе. Буду жить и жить...

Морозец накалил мое лицо. Щеки огнем загорелись. Спасибо, Витя, Иветта...

Спасибо зрителям, что не дают мне сиднем сидеть. Зрители — это моя жизнь.

ТУДА, СЮДА И ОБРАТНО

Лежим на дне баркаса и помалкиваем — подозрительная тучка появилась. Не жди от нее добра, если комочком она висит в небе перед закатом солнца, такая хорошенькая, но пугающая всех тучка...

К третьему курсу института стала я печалиться, тосковать по своему хутору, по маме, скучать в чужой Москве по дому. Что делать? Уже и фильм «Молодая гвардия» снимали вовсю, и хвалят всех, и мысли нет бросить начатое дело. Боже сохрани! Ко мне будто какой-то датчик подключили — киноактриса навек. Но по дому, по хутору крепко тоскую, все вспоминаю, как в детстве за sneшь на теплой земле и сквозь сон слышишь: купальщики в реке плещутся. А тут и мама проведет ладонью по плечам: «Это кто на закате солнца спит? Нельзя, голова будет болеть. Вставай, дочка, пойдем вареничков с вишнями поедим».

Мысли в институте высокие, втягиваемся в неведомое доселе, но неудобно в Москве приедем человеку. Война недавно кончилась, голодно, холодно было. Все никак не согреешься нигде, полное отсутствие отопления в общежитии, в тех комнатах, где ютились студенты. Отогревались только в институте. Решали стратегическую задачу: как остаться здесь ночевать? Выйти в буран на ледяную платформу к электричке было наказанием Господним. В начале лета теплело, но голодно было всегда, хужоба наша пугала родителей, когда мы приезжали домой отогреться, отъесться и выспаться вдоволь.

Институт захватил, вобрал в себя. Учиться было интересно, а жилось в тогдашней Москве очень тяжело. И лет десять моталась я по разрушенному, голодному маршруту Москва — хутор — Ейск. Насколько хутор был теплее и добрее, вот уж точно — «север вреден для меня».

Послали нас как-то осенью капусту рубить. Сыро, ботинки протекают, ноги мерзнут. Бригадир постучал по моей спине и поставил рядом валенки с галошами. Приметил, видно, мое обмундирование. Валенки отстоялись на припечке, прямо горячие стали. Какое счастье! Впервые север обогрел мои ноги. Ведь невыносимо вытаскиваться из теплоты в подсушенные, но дырявые ботинки. Они выжаривались, однако воду на мокрой улице впускали сразу... Тяжко было иногородцу. Судьба и время не щадили. Так казалось мне тогда, казалось, что я никогда не отогреюсь.

А в институте — блаженство. Предмет «мастерство киноактера», конечно, волшебный, открывающий неторопливо мир литературы, искусства, истории. Скорее в Москву — в институт! — вопила душа в конце августа. А потом еще один зов: в Краснодар, на съемки фильма «Молодая гвардия»!

Когда человек уезжает, то всю дорогу живет еще той жизнью, которая осталась позади. Нам обычно задавали на лето прочитать какое-нибудь произведение из классики и запомнить интересные случаи из жизни. На особых занятиях мы рассказывали их всему курсу. Меня же всегда тянуло встать и поведать о своем с мизансценой, то есть с помощью жестов и мимики. Летом, бывало, лежу, смотрю в небо и смеюсь, как представляю, что рассказываю студентам и педагогу обо всем, что произошло. Много чего было за лето!

К примеру, такое. Мама ведет собрание, за окном летний дождь льет, как из ведра. Вдруг она видит, как входит белобрысая толстенная Дурка, а следом — незнакомец. И он, и Дурка промокли до нитки. Дурка ставит табуретку углом и садится, незнакомец — рядом, положив руку Дурке на плечо. В зале смятение... Дурка подмигивает президиуму, а мама делает выразительную паузу, призывая к тишине.

Собрание шло долго, и, как только дождь перестал, Дурка, согнувшись, вышла за дверь, незнакомец — за нею. Оказывается, он подводник, приехал из Москвы подводные лодки проверять, но почему-то ни разу никуда не отлучался, кроме как ночью в дом отдыха. Приезжий — новый человек, из чужих краев, из иной среды, даже выговор другой, а это всегда пленяет.

Маме чуть обидно стало рано ложиться спать, ей хотелось в хату к Дурке, где еще две-три товарки гуляли да рюмочку-другую пропускали. Какая-то новизна летала вечерами — незнакомец появился. Позже стали гулять впятером.

— Эх, Петровны нету! — накрывая на стол, сначала говорила Дурка. — Вот бы попели с нею — отпад!

— Да, Петровна у нас дюже гарно поет, хором руководит, — вторят товарки. — Она еще в детстве в церкви на клиросе спивала. Батюшка хвалил ее...

Мама не сразу согласилась прийти на вечеринку и нагрнула без предупреждения. В руках она всегда держала папку — скоросшиватель.

— Вечер добрый, — сказала мама.

Лучше бы ей не появляться, притягивала она к себе людей, в любой компании становилась лидером. Рассказчица была талантливая, вела себя естественно, чем и располагала неизменно всех к себе...

Побыв немного, собралась уходить.

— Пойду. А то дети и муж погонят из дому.

— Иди, иди, коммунистка! Все дела партийные у тебя.

— Да хоть бы и не партийные. Петровна есть Петровна. Надо будет — и до утра просидит, распоеется, рассмешит всех, — заступилась за маму Дурка.

— Ну, ничего, кадась мы ее заграбастаем.

Мама вмиг оценила Дуркиного кавалера: и форму рук и затылка заметила, и тембр голоса ей понравился. Да и одет опрятно.

— Ничего, чистенький, аккуратный, — ответила она Дурке, когда та спросила: «Ну как он тебе?» Мама с ее пронизательностью не раз отмечала подходящего мужчину, но это, как правило, ни во что не выливалось. Она была самолюбива, строга к себе и тем сильнее, чем больше осознавала свою нелюбовь к мужу.

Они там гуляют, но мама знала, что тот, Дуркин, ждет лишь ее.

— Может, пойдём, пройдемся? — сказала она как-то мужу. — А то все работа, работа... Посевную закончили — чего теперь?

— Вот еще! — Он скривил лицо, будто ему касторку предложили. — Иди одна. К Дурке зайдешь, частушки споешь.

Мама никогда не пела частушек, она пела, как богиня, красивым контрастно-задушевные народные песни. Сам Алексей Денисович Дикий спрашивал меня: «Мама не скоро приедет?» Он слышал, как она поет, — в ВТО отмечали мы какую-то премьеру. Спрашивали о маме и другие режиссеры. «Как приедет — сообщу», — смеялась я. А рассказчицей, равной ей, была только я.

— Молодец, дочка! — хвалила она меня, когда я, бывало, подхватывала ее рассказы.

Дурка торжествовала. Привела такого мужика... Да еще москвича. Отличался он от колхозников. Почему-то особенно поразил всех его несессер.

Как-то приходит Дурка в слезах. Мама ну ее утешать:

— Не плачь, Дурка. Чует мое сердце — прохвост он. Никакой он не подводник. Брешет. Скорей всего надводник: поверху, сама знаешь, чего плавает. Це такой, шо шукае, где плохо лежит... Бродяга-курортник... На выпивку налегает, а гроши давно кончились.

— Каже, с жинкою живут плохо.

— На черта ты ту накидку из бисера купила на толкучке? А теперь плачешь.

— Долгу богато... Я ж ему еще с собой дала на одежду. Сказал, что поженимся. Прошел уж месяц — ни гу-гу.

— Так ты ему еще и денег дала?!

— От радости.

— От какой такой радости?

— Дите будет...

— Это неплохо. Ты одинокая. Еремей твой без вести пропал.

— Да пора уж, скоро тридцать мне.

Бедная Дурка: она не только продала кое-что за этот роман, но и купила себе у пленной немки пелерину из бисера. Думала, что наряд этот сблизит ее с тем высшим классом, к которому, по мнению Дурки, относился и ее будущий муж. А он уехал — и с концами. Родился мальчик. Слала Дурка письма в Москву — ни ответа, ни привета.

...Сейчас лежу на брезенте баркаса и придерживаю тугой конверт с письмом, которое мне пришлось переписать более мелким почерком. В нем и фотография Валерочки — Дуркиного сыночка. Каждой женщине, родившей в одиночку, хочется похвастаться перед отцом ребенка — какой, дескать, сын у меня хороший получился. А Валерка разинул «варежку» и хохочет во всю ивановскую, сидя на мотоцикле...

Конверт отдала подводнику — и до свидания... Дурка вытягивала из меня обнадеживающие детали, но тщетно. Хватит и этого. Шли годы, она нет-нет да и попросит вновь рассказать о моей встрече с отцом Валерки.

Как-то заехала я на хутор по дороге на юг, к морю, — сыну бронхит полечить.

— Папаня! — слышу ломаный мальчишеский голосок в Дуркином дворе. — Тетя Нонна з Вовкою.

Постаралась не выдать удивления: Еремей Дуркин вернулся.

— Дядя Ерема, где Александра Григорьевна?

— Заходяте — она на берегу белье трепае.

— Я схожу к ней, — упредила я его.

— Она во-он за той вербой. — Просветленный Еремей охотно указал пальцем.

Обнялись мы с Дуркою, сели, буруем ногами прозрачную, чистую воду. Мальки кусаются...

— Батога хорошего дав мне и усе, — говорит Дурка. — Пацана признал. Тот его батькой зовет. Малой был — четыре месяца. Ото и весь сказ...

— Да, Григорьевна. Такую любовь сроду не найдешь, как Еремей тебя любит.

— И я его тоже, — ответила Дурка.

Бывают же такие люди, как Дурка. Без нее на хуторе пусто. Пускай хоть спит, хоть борщ варит — лишь бы хутор не становился порожним. Вот уж от-

рада для всех, игрушечка и для взрослого, и для дитяти. Смотришь, ребяенок еще только ползать начинает, а до их двора первым делом доберется.

— У-у-ка!

Хохоча, Еремей берет чужого ребенка — и в палисадник. Родители, случилось, даже ревновали. Некоторые матери ждали: вырастет и прибьется к сверстникам. Нет, и сверстники хороши, а все: «Ду-у-ка!» Одна девочка расплакалась, когда узнала о существовании Валерки.

— Мама! Теперь тетя Шура не будет нас любить. Она будет любить своего сыночка...

Многие на земле знают таких людей, а разгадать не могут.

Еремей вернулся из плена и все присматривался к Дурке. Казалось ему, что чересчур насели на его любимую. То «дай», то «пойдем», то «спой». Он подождет немного и забрал ее к себе навсегда. Мама рассказывала, как Дурка ухитрялась принадлежать только ему, семье. А как Еремея нету — тут же или чье-то дите перелазит через плетень, или тетка-соседка идет с какой-нибудь мазью, просит спину растереть. Валерка был в курсе и непременно знак подаст: «Батяня едет». Тут уж все по домам, а Дурка в фартук кинет несколько огурцов и спросит у Еремея:

— Оте-то хватит? Может, еще помидор взять?

— Бери, что хочешь. Сейчас соберемся — и на берег. Там скупнемся и поведемся.

Еремей лицом старел, а фигурой никак. Смуглые мускулы, тонкая талия.

Я тоже ловила себя на том, что первым делом спрашивала: «Дурка в хуторе?» К ней очень тянуло.

— Ты там поосторожней, а то еще и пристрелит,— напутствовала она меня, когда я собиралась отвезить в Москву письмо ее «подводнику».

— Да ты что!— испугалась я.

— Он сказал, что наган имеет. Не упрекай его, поняла? «Баба не схочет, кобель не вскочит». Тьфу, дура я, прости меня, Нонк! Любила я его... Какие там упреки! Отдай письмо, чтоб никто не видел,— наставляла она меня.

И вот я в Москве. Еду на улицу Лесную, дом такой-то, квартира такая-то... Батюшки! Старый-престарый дом, еле держится. Поднимаюсь по стертым, с выемками, мраморным ступенькам. Сколько прошагало подошв по ним! Звоню. Сердце в пятки, но не отступать же! Волнуюсь и оттого все делаю не так. Дурка просила не отдавать конверт сразу, а сначала вызвать его в коридор. Выходит он в полосатой пижаме. Пижамы когда-то белой была, а полоски коричневые. Хмурый, деловой. Конечно, сразу вспомнил меня, но сделал вид, что не узнал:

— Вам кого?

Через захламленный коридор коммуналки вижу настежь открытую дверь, стол с дымящимися тарелками. Некрасивая бледная женщина с плоской фигурой режет хлеб. Она спрашивает испуганно:

— Кто там? Это к нам?

— Здорово, друг!— говорю подводнику.— Тебе привет из станицы Отрадной.— У меня даже в глазах потемнело.— В чем дело?! Вы запомнили?..

Я вошла в комнату и шагнула к столу с тарелками. Женщина таращит глаза.

— Повторяю: вам привет из станицы Отрадной, из города Ейска.— Положила конверт на клеенку возле хлебницы и обращаюсь к нему:— Почему вы так много растрастили тети Шуриных денег? И взяли у нее тоже много на какие-то покупки? Сколько лет уж ни покупок, ни денег.

Я все не то говорила: разве можно заводить речь о деньгах? Однако это был разговор не о деньгах, а о нечестности. Мы никогда не были жадными. Но в подлость надо человека ткнуть носом — пусть понюхает.

— Гражданка, я вас не знаю...— лепетал отец Валерки.

— Знаете! И помните.— Я вскрыла конверт, вытащила фото и поставила перед ними.— А теперь еще и Валерку будете знать!

Я сбегала вниз по ступенькам под истерический крик:

— Вон отсюда! Шантаж!.. Вера, это шантаж!..

...Тучка кинула две-три крупных капли на нас. Мы — под брезент. Затахтел дождь. Дяденька накрыл нас сверху клеенкой. «Вот она, дождалась, налетела, коварная»,— подумала я. Потом треск! Грах! Какой-то краткий получился налет. И снова тихо. Откидываю брезент — сбегала: ни тучки, ни ее проделок. Солнце почти у горизонта. Ему недосуг на такую мелочь реагировать. Глянула на хутор, далеко он от меня...

Интересно, где теперь шнергает подошвами сандалий, не отрывая ног, догрой наш, любимый всеми Геронтий Александрович?

Симанович Геронтий Александрович — участковый врач, один на три хутора. Не идет народ в поликлинику проверяться, пожаловаться, подлечиться. Ни в какую! И вот Геронтий Александрович уже который год ходит к народу сам без приглашения. А ведь он сердечник. Тучный, толстогубый, с не сходящей с лица улыбкой. Между толстыми пальцами непременно зажата горящая папироса. На нем полотняный костюм, куртка-толстовка с множеством карманов, на голове панама. Он знает, что любим всеми и желанен всюду. Он всегда облеплен детьми. Женщины при встрече кланяются ему в пояс. Любой ездовой снимет кепку и пригласит подвезти.

— Не-е, спасибо. Так полезнее.

А какая уж там «польза»? Два шажка пройдет — остановится. Еще два шажка — и снова остановка. Дышит шумно и хрипло. В один день он успевает обойти один хутор. От прохладенького компота или простокваши не отказывается. Пациенту велит лечь на траву. Сам сядет рядом и осматривает: помнет живот, постучит пальцами по позвоночнику. Пацан норовит выскользнуть: «Стоп! Ты куда?!» Хватать за ногу...

— Ты в реке долго сидел, курносый. Знаешь, что у тебя скоро верба из попки вырастет? — Пацан замирает.— Вот тебе утром и вечером по одной таблетке.

— Горькая? — гундосит пациент.

— А как же? Еще какая!

— У-у-у...

— А премию хочешь?

— Хочу! — бойко встает пацан.

— А... Это заслужить надо. Сначала таблетку, а потом вкусное лекарство.

Доктор достает из широких штангин бутылочку гематогена и наливает несколько капель в золотую стопочку размером с наперсток.

Насчет меня он тоже справлялся:

— Ну как тут моя Нунча? — Не заходя во двор, улыбается мне в окно.— Поди ко мне, любимая Нунченька, угощу гематогенчиком. Так уж и быть...

— Да я уж здоровая детина, маленьким отдайте.

— Пока не выпьешь, не уйду.

Я смеюсь и с готовностью открываю рот — вкусно.

— Геронтий Александрович, а почему вы меня называете Нунчей?

— Принесу тебе книжечку Максима Горького. Вырастешь и прочтешь.

...Лошадь убила Колю Портартура. Она дремала стоя, а Коля подошел с ведром, чтоб ее попить. С хвоста-то нельзя подходить. Лошадь, испугавшись, ударила задним копытом Колю по голове. Народ собрался. Геронтий

Александрович сел возле убитого, сжав кулак возле рта. Принесли рогожи, и он бережно прикрыл пострадавшего.

Жаль было на доктора смотреть, и когда умница одна мучилась, мучилась от болей в ногах, да и послушалась народную «докторицу»: «Собери побольше пиявок и подпусти к больным местам». Та обрадовалась и подпустила их несчетное количество. Лежала в сарае и блаженно уходила от болей, а также от жизни...

— Боже мой,— дрожащим голосом произнес Геронтий Александрович.— Я догадывался, я говорил с ней...

На похороны пошел тогда впервые, до этого не ходил никогда, может, оттого, что свою вину чувствовал.

Я все думаю и думаю о родном хуторе, о дорогих мне людях... Скольких уж нет... Ненароком и Геронтий Александрович скончается — похуже он стал, послабее. Недаром на кладбище пошел...

Может, вернуться мне домой? Может, все к черту — и эту Москву, и искусство? Я с ними хочу быть! Мне без них плохо!

— Ба-а-тюшки! Шторм начинается! — завопила тетка.

Каким он будет — малым, большим? Бабы, как обычно, на колени с мольбой к небу. «Свят, свят», — бурчим мы под брезентом. Вот она, негодная тучка! Покидало, покидало нас на штормовых волнах да и сбilo с меня печаль-тоску по дому...

МАМА

В школе я успешно писала сочинения, они даже в край посылались как лучшие. Есть люди, сами собой выделенные. Есть смиренные, боязливые, усердно выполняющие свою работу, но все молчком. А есть боевые, как мама. Меня все время понукали: почему про мать свою не напишешь? Пускай вся округа знает, какие мы. Напиши про мать. Убедили. Я рано стала пером по бумаге водить, свои впечатления записывать. В Москву даже приехала с какими-то «наработками». Маленький рассказ «Квартирант» был опубликован в газете «Пионерская правда».

В деревне, в гурте, все про всех знают. К примеру, надо печку сложить — ясно, кто сможет. А кто — сделать резные наличники. Кто платки вышивает, а кто песню заводит... Мало ли разных умельцев! Меня вот в сочинители зачислили. А я села писать про маму — не получается. Про других — пожалуйста. С детства за всю жизнь я столько нацарапала, насочиняла, что до сих пор шебуршу в мешке, перебираю листочки, перекладываю свои записки. Нет-нет да и найду что-то к нужной теме. Сейчас вот вытаскиваю все о маме.

Она девочкой работала в поле на помещика. Вечером пела в церкви на клиросе. Детей всего было четырнадцать человек. Хата ее под камышовой крышей в станице Старощербиновской. Жили бедно. Вышла замуж. И тоже детей было много. «Оте-то уже лишние», — говорила мамина сестра, бездетная. Она справедливо выводила: «Чем меньше детей, тем больше хлеба останется...»

А что поделаешь — в станице в основном дети, взрослых даже меньше. А эти, как саранча, — туда-сюда, туда-сюда! «Ма-амк! Исть есть? Давай!»

Тетю Елю в счет не брали, не слушали ее советов.

Работали люди, как кони, с утра до вечера, едва переводя дыхание, с заката до рассвета. Колесо так и крутилось. Еще успевали посмеяться до упаду и песню завести, все больше, больше воздуху в легкие набирая, чтоб петь, как надо.

Мама была небольшого роста, в работе не отставала от других, потому что то было время всенародного энтузиазма, время боевого труда. На собрании народ сидел тихо, муха пролетит — слышно. Замерев, впитывали ушами задания на завтра.

Слыла мама певицей, заводилой. И пела она не для того, чтобы выделиться, и не ради похвал, а чтобы поделиться хорошим. «Пение — это добро», — считали люди. И, как нарочно, муж ей попался не любящий музыку, пение, наоборот, стыдился мамы, когда она, откинув голову, глаза обратя к небу, запевала красивым низким голосом.

— Не пой, Ира, — молил ее отец, когда они шли в гости.

— Погляжу! Я бригадир, и решать буду я — петь мне или нет.

Главнее бригадирства и работы тогда ничего и не было, ведь так верили, что строят прекрасную, светлую жизнь!

Еще у мамы был всем на удивление дар красноречия, дар, так сказать, сельского красноречия. Мазюкают, мазюкают на собрании, что-то буровят, бубнят, а скучно и ничего не понятно. А как Петровна прыгнет к столу, накрытому красной скатертью, так зал расшевелится, загудит одобрением. Чем больше распаялась, тем лучше у нее получалось. Так складно, легко, понятно, увесисто текла ее речь. И шутку учудит, и гримасу состроит, и все в точку. На важных собраниях маму часто просили выступить по какому-нибудь вопросу. Речь ей никто не писал, говорила всегда свободно. Не было случая, чтоб она не нашла слова или выражения, не могла бы залихватски закончить речь. Вроде шутит, озорничает, а послушаешь — дело сказано, да еще как. Уж что-то, а ораторские способности ей даны были от природы. Если на каком-нибудь слете или пленуме не было мамино выступление, то мероприятие как бы не имело завершения. Ищут ее, оглядываются: «Неужто, Петровна, не скажешь ничего?» Переставала мама ходить на собрания, только когда была в положении.

— А где же ваш Плевако? — спросил какой-то начальник, прощаясь с председателем райсовета.

— Прибавления ждет.

А потом пошло: только один ребенок из пеленок выберется, на ножки встанет, она уже другого чувствует в себе...

Председателем маму выбрали первый раз в Щербиновке — на родине. Думаю, что не последнюю роль здесь сыграли сельские трудяги. Тут бы и порадоваться всем: человек нашелся путевый, известный, с подходом к людям, вся жизнь ее на виду. Ее всегда все любили, и она словно оевала всех своей любовью, колхоз при ней был, как одна семья. Так бы дальше и растить на радость всей стране лучший колхоз. Но нет! Умели высокие начальники похвалить, сунуть грамоту, премию — одеколон и патетически сообщить: «Будем посылать тебя, Петровна, на отстающие колхозы! Кто, как не ты, управится?»

Мама слушала, едва дыша от волнения: она верила, что надо распространять свой метод работы, надо вытаскивать бедноту, искоренять пьянство, лень, неумение трудиться, и выбрали для этого не кого-нибудь, а ее!

Помню, доведет мама отсталый колхоз до передового, люди полюбят ее, привыкнут, а нас вместе с подушками и чугунами вновь грузят на телегу — в путь-дорогу, в другой колхоз.

Помню скривленные от рыдания лица женщин, они всегда долго шли за нашей телегой, пока мама сквозь слезы не крикнет: «Хватит! Вертайтесь до дому! Вы что, хороните меня? Или не знаете, где колхоз «Мировой октябрь»? За сто километров уезжаю, чи шо?» Колхозницы замолкали, переставали плакать и останавливались.

Мама была для людей радостью и надеждой — любили ее, я уже говорила, все без исключения, только и слышишь: «Петровна, Петровна».

В страду и школьников, и горожан, и студентов мобилизовывали к нам в колхоз на помощь. Помню, с грохотом по неровной дороге тащится телега. На ней котел, посуда, буханки хлеба, старенькая гитара. Повариха тетя Вера заделает тот еще кондер. Это — кукурузная крупа, вымоченная за ночь, лук, зелень всякая — вкуснотища! Котел громадный — уплетают все за милую душу. Потом компот из абрикосов. Мамину гитару возят всегда: а вдруг случится чудо, и она споет. Любо-дорого было ее слушать. Приезжие раззявят рот и не могут оторвать глаза от нее. Все с нетерпением ждали, когда солнце сядет на горизонт — конец работы. А оно, казалось, стоит на месте — так душно, жарко, «силов нема». Наконец повариха как даст бруском по всяческому рельсу — все, отработали.

— Обед, обед! Налетай! — Довольные работнички подтягиваются к котлу.

Раскидываются по траве алюминиевые миски и ложки. Неторопливо сходятся и наши, и студенты. Большим черпаком тетя Вера накладывает во все миски: «Смотри, горячее!» Вижу, один из студентов отошел в сторонку, платочком обтирает мамину гитару, садится возле своей миски, кладет гитару рядом. Я заметила: он всегда норовит сесть с мамой. Ей нравится быть среди людей, в гурте — обед, общие разговоры. А тут она припоздала, ищет глазами, куда сесть.

— Ирина Петровна! — зовет студент.

— А, вон она, моя красавица!.. Я сейчас из бочки ополоснусь немного. Пускай пока остывает, — кивает она на миску и уходит в густые заросли — там стоит бочка с нагретой солнцем водой.

— Фу! Хорошо!

Жара была весь день нестерпимая. Мама села возле гитары к своей миске. Застучали ложки, захрятели от удовольствия проголодавшиеся. И мама тоже уминает. Ее сосед по застолью вынимает какой-то листочек и кладет возле нее. Она осторожно берет, читает, удивляется:

— Ой, какой ты красавец! Какой костюм и скрипочка!

— Это все ерунда. Главное, я занял в Краснодаре первое место по классу фортепьяно.

— Вот это да! Молодец, парень. Как тебя зовут?

— Виктор.

— Как моего мужа.

— А вы мне сказали, что у вас нет мужа.

— Куда он денется. Сейчас на сборах. Военный он. А я пока разгонюсь, песен попою. Не любит он песен.

— Голос ваш божественный.

— Я знаю, что хороший, но не так, чтоб уж божественный.

— Божественный, божественный! — Студент с восхищением произнес эти слова, и стало понятно, что восхищается он не только голосом. Так он и страдал: и место маме занимал, и гитару протирал, а маме «байдуже», что значит «все равно». Однако парень не мешал ей своим присутствием. При нем, музыканте, она и пела наиболее задушевно. Иногда и он брал гитару и тихонько, умело аккомпанировал.

— Петровна, — сказала маме как-то тетя Вера, — не своди с ума пацана!

— Он не пацан. Ему двадцать три года, армию отслужил. Глупостями всякими заниматься не спешит. Ему надо догонять своих аж за два года. А так он мальчик хороший, смешливый...

— Смешливый! Да он как аршин проглотит, когда тебя нету.

— Я ему вольностей не разрешаю. Что-то он мне расскажет, споет тихонько, посмешит. Ну и дура ты! Он в консерватории учится. Отличник. Мне и хочется петь для него. Вот и все.

Настала осень. Мама нас с младшей сестрой взяла в Ейск к тете Еле. Та жила на главной улице, в маленькой хатке. Солнце еще не село. Мама приказала ждать ее, ей сейчас надо уйти. «А потом, вечером, пойдем на концертик...» Стемнело, и мы оказались под старой акацией, раскинувшей пышные ветки. Вдруг распахиваются окна богатого, красивого дома, и студент Виктор, здороваясь, улыбается.

— Прошу вас, заходите.

— Не-не, в дом не! — сказала мама.

Он подоavinул роаль поближе к окну, потер ладони, лицо его стало серьезным. Выждал паузу — и грянул Первый концерт Чайковского.

Вечер. Красивая улица, красивый парень в белой рубашке за роялем. Звучки полетели по улице к самому Азовскому морю. Мама, подавшись вперед, словно окаменела. Мы с сестрой тоже дохнуть боялись. Деликатно подходили отдыхающие. Исполнитель взмок, рубашка прилипла к спине. Прозвучал финальный аккорд, мама кинулась к окну, поднялась на цыпочки, пальцами зацепилась за наличник, волнуясь, поблагодарила:

— Молодец! Ох, молодец! И люди те молодцы, что научили тебя...

— Я сейчас вас провожу.

— Нет. Тут недалеко. Пошли быстрее! — заторопилась она, чтоб он не догнал нас.

Мы скрылись в темноте чужого двора...

Заночевали у тети Ели, утром на базар сходили, и на попутке до порта.

Убрали урожай... Зори стали холодные, лето кончилось. Но на работу ходили: то кукурузу лущить, то веять на ветру пшеницу, то еще что. Кроме того, занятия в хоре, где мама была главной.

Незаметно я стала ее равноправным собеседником.

— Ты знаешь, дочка, нелегко бывает. Вот тут как-то вас спать уложила, а сама на улицу вышла. Темно — глаз коли. Собаки и те незнакомым лаем гавкают. Стою посреди села и думаю: с чего начинать? Третий колхоз уже, а каждый раз все другое. Надежда только на людей.

И не бывало у мамы так, чтоб не заладилось.

Уехала я от нее в Москву, поступила в Институт кинематографии. Она приезжала, но очень редко. Студенты радовались тогда: «Петровна приехала!» Бывало, муки кукурузной привезет, сварит чего-нибудь и угощает, и чудит, а то на картах гадает. «На черта он тебе сдался?» — говорила она, когда чувствовала, что девушка брошена. Я ее почти и не видела. То в одну комнату затащат, то в другую. И пела много, конечно.

— Цэ дуже сильная артистка. Якой голос! Якой голос! — Это она говорила о Саше, подруге моей.

Помню, в Доме кино была премьера фильма «Чужая родня», мама в это время гостевала в Москве. Ее восторгу не было конца.

— Смотри, доченька, сколько людей заинтересовались вашим трудом, ни одного места нема свободного.

Глаза ее расширились, когда она увидела такой же, до отказа заполненный, зал и на втором сеансе.

— Видишь, люди уважают вас, пришли.

Нас опять вызвали на сцену. Бурные аплодисменты. Мама аплодировала громче всех, сияя своими белыми-пребелыми зубами. А когда мы сели в метро, она вдруг заплакала.

— Хотела я признаться тебе... Только не пугай детей... Знай как старшая: заберут меня скоро в больницу. Думаю, не вернусь обратно.

— Что ты, мама! Что ты говоришь такое!

— Тише — люди смотрят...

— Немедленно перебирайся к нам! Тут Москва, врачи хорошие.

Она приехала, устроилась работать в совхоз «Люберецкие поля орошения». Дали ей комнату в бараке: съездила за детьми — их трое оставалось. Одну из сестер я к себе взяла. А куда — к себе? Комната все та же — 14 метров. Мама и сестра на полу, а я сердилась, что мы с мужем на кровати, хотелось к ним под бочок. Сын спал в кроватке своей. Брат после пограничного алма-атинского училища был назначен начальником заставы на Памире. И как все в жизни связано! Его сын Илья закончил Институт кинематографии, факультет документального кино, стал кинооператором и с камерой летал по самым «горячим точкам». Первой оказалась та самая застава, начальником которой когда-то был его отец. Там шел бой — сегодняшнее военное наше время. Илье напомнили о службе его отца, Геннадия Викторовича Мордюкова. Журналисты сняли этот сюжет на пленку. Потом показали по телевизору нашего племянничка с камерой на фоне гор Памира. После Таджикистана он много раз летал в Чечню. Вечером, как скажут в «Новостях» по телевизору: «Хабаров и Илья Мордюков», — ложимся спокойно спать: ага, живые. И Босния, и Афганистан, и снова Чечня... И всюду он, наш Илюша.

Да, вернусь к маминой болезни. Скрутила она ее. Стала мама твердить, что когда я куплю новый платяной шкаф, то свой старый должна детям в совхоз переправить. У них там через всю комнату веревка протянута, и на ней висят носильные вещи.

И вот маму забрали в больницу. Помню, она просветленно сказала:

— Доченька, тут такие условия, такое обхождение! Разве они дадут умереть?

В электричке я плакала после разговора с хирургом: мама натрудила грыжу. Посоветовали вырезать. Она так боялась ножа, что и температура вдруг упала до нормальной. Она ведь никогда не обращалась к врачам. «Ото только в роддоме и отдыхала, и лечилась», — говорила. Грыжа не стерпела дальнейших нагрузок, может, от нее и завелся рак. Пятьдесят лет — разве это возраст? «Разрезали и зашили» — есть у врачей такой роковой диагноз. Привезла я маму назад в барак. Кругом лес, красота. Начиналась весна, стали выводить ее во двор, сажать на табуретку, чтоб воздухом дышала.

— Знаешь, дочка, я сельский человек, а природу не знаю... Некогда было изучать. Все работа, работа. А сейчас все знаю: и время зари, и когда какие птицы щебетают начинают. Ну, ладно, вот выберусь из больницы... Ничего мне не надо, только глядеть на вас. Это великое счастье — на своих детей смотреть...

— Да, мама, хорошо, что нас много.

— Вы, дети, проследите за Дарьей Васильевной, чтоб она не подстроила чего-нибудь божественного.

— А чего? Она ж твоя подруга.

— Я знаю все ее уловки. Помните, что я коммунистка? Проследите, чтоб никаких свечек, тем более икон.

— Успокойся, дыши ровнее. Дарьи Васильевны нет в совхозе. — Ее сухое, желтое лицо выразило недовольство: не проводить свою подругу в последний путь, как же так? — Больно, больно! Укол скорее!

Побежали за Ниночкой Зайцевой. Она на медсестру училась.

От укола мама успокоилась и почти до самого вечера моргала и смотрела в потолок.

Потом прошептала:

— Нонна, я тебя вот о чем попрошу... Слушай меня, доченька, внимательно. Дети! Сделайте, как я прошу... — Медленно она старалась внушить нам что-то. — Как я умру, позовите старушку с книгой, потушите

электричество и зажгите свечи. Принесите иконку от Васильевны, поставьте передо мной... Пусть будет как положено...

Она надолго замолчала, мы сидели и поглаживали ее руки. Открыла глаза, улыбнулась — и все.

Мы исполнили ее пожелание, обряд свершили, как полагается. Я в душе довольна была, видя, как старушка, встав на колени, читала и читала молитвы всю ночь... И свечи были какими-то теплыми, иконка. К этому времени Дарья Васильевна включилась во все. Когда мы шли за гробом, нам непривычно было то, что люди клали деньги маме к ногам.

— Это ничего... Это так надо — на поминки...— пояснила женщина.— Люди от души... преподношение.

Кажется, совсем недавно большой блестящий автобус забирал маму, трех моих сестер и увозил их из совхоза в Большой театр на репетицию предстоящего концерта самодеятельности, в котором будут выступать артисты со всей страны. Это была ее стихия! Как пылко она распорядилась аранжировкой, чтоб петь на четыре голоса. Жаль было маму: мы видели, как она держалась за правый бок перед выходом, преодолевая боль.

— Сестры Мордюковы! — объявляют. Я сижу в партере, наслаждаюсь красивым пением, горжусь своими самыми близкими. Меня в концерт не включили, потому что я профессиональная актриса.

В последний раз, возвратившись с репетиции, мама с белыми губами села на табуретку и сказала:

— Простите меня, дети, больше не поеду.

Вскоре ее забрали в стационарную больницу. Руководитель самодеятельности расстроился. Оставил сестер моих Люду и Наташу спеть в два голоса «Сулико». Иностранцы аплодировали им восторженно: две хорошенькие девушки со светлыми косами прекрасно исполнили песню на грузинском языке. Получили приз: газовые косыночки и браслеты грузинской чеканки. Мастер Коба Гурули. Когда пришли к маме, она приподнялась на постели и радостная попросила дочерей: спойте «Сулико», как там, и станьте так же, как там, на сцене.

Да, она могла бы стать прекрасной актрисой, это все замечали. Известные режиссеры и актеры интересовались, когда приедет Ирина Петровна. Я уже писала, что ею восхищался Алексей Денисович Дикий. Он грустнел даже, слушая мамино пение. Самойлов, Герасимов, Шпрингфельдт, все они в восторге от тембра ее голоса, ее музыкальности. Как же несправедлива судьба. Только стали выпутываться из тисков тяжелой жизни. Попели бы на радость себе и людям. Нет, умирай! Да помучительнее, подольше!

Плакать уходили в лес, чтобы она не видела наших слез.

— Как умру, не плачьте... Пойте наши песни, которые мы вместе пели.— Материнское сердце как бы загодя, авансом утешало плачущих детей.

С похорон пришли, я села к столу, кем-то накрытому для поминок, и подумала: «Я не дочь... я ничья не дочь. Я тетка». Физически почувствовала — тетка.

Мамочка, дорогая, мне и сейчас тебя не хватает, хотя я уже старше, чем была ты.

КАРЕТКА

Саман — глину, смешанную с навозом,— сначала месят ногами, потом — для получения кирпича — орудуя кареткой. Это прямоугольная рама, сделанная плотником по заказу. У кого большая, у кого поменьше. В раму эту натаптывают месиво, затем осторожно выталкивают на траву, чтобы подсохло. Получается саманный кирпич, и испокон веку хата называется

саманной. Заботливо хозяева обхаживают такую хатку. Часто белят, голубую каемочку наводят. Цветы рисуют, петушков. Она невысокая, и за нею можно ухаживать, как за малым дитем. Под окнами сажают цветы: панычи, чернобривчаки, граммофоны, «рожу» — мальву по-научному...

Для человеческого бытия тоже выдумывают разные каретки: живи честно, трудись, детей рожай, не будь скрягой, гордецом. Эта каретка вечна, да только не удержится человек в ее границах. Человек единожды входит в жизнь, в которой ему наперед уготовлен его путь. И каждому намечена судьба. Заранее расписал кто-то, как человеку жить. Смолоду и до конца. Он не думает об этом, потому что считает свои планы незыблемыми, уверен, что он хозяин жизни — как задумает, так и сделает. В каретку эту входят любые пожелания: дети, работа, дом, угодная судьба и путевка в искусство.

Молодость с амбициями. Все препятствия легко устранимы. Не топят в общежитии? А ребята на что? К вечеру любыми путями добудут досок, напоят, и будет тепло. Помню, в Лосиноостровском общежитии не стали мелочиться, спилили сосну. Она упала на провода — остановились две фабрики. За ночь все распилили, попрятали, натопили как следует, но наутро все обнаружилось. Пришли из милиции, стали акт составлять. На полтора миллиона убытку. Да что с нас возьмешь? Свалили на стихийное бедствие. Нам погрозили: так больше не делать! Мы, конечно: ни-ни. Зато неделю или две на обоих этажах черные голландки были раскалены.

На школьной форме, в которой я приехала в Москву, локти штопаны-перештопаны, заплатка на заплатке. Ну и что? Пошла в профком, дали ордер на покупку хлопчатобумажного изделия. Ох, изделие мое! Какое ты мягонькое и уютное — халат на пуговках. Запах-то, запах! Магазиновый, шикарный. Никому и в голову не приходило, что я в халате по институту хожу. Следующий заход в профком — парусиновые туфли на розовой резине. Потом купила на Тишинском рынке две пары ношенных шерстяных носок, распустила и самодельным деревянным крючком связала косынку.

— И все на наряды, все на наряды деньги тратите, — съязвил наш общий любимчик Ростислав Васильевич, преподаватель физкультуры.

Общежитие — это по мне, это отрада. Я первый раз и от мужа удрала, чтобы снова очутиться в гурте: кто голову в тазике моет, кто кофточку гладит. Готовимся к понедельнику — занятие по мастерству актера. Любимый и строгий Борис Владимирович с Ольгой Ивановой приедут. Это бал-маскарад, это праздник! Мало ли что есть хочется и день и ночь! Всем хочется. Всем людям, всей стране неотступно хочется есть. Мы учили друг друга, как тренировать желудок, чтобы он не просил еды, чтобы не отвлекал от основной жизни.

Бесконечно влюблялись, целовались по углам. Местные мамы или папы отрезвляли, отвлекали, умоляли не реализовывать свою любовь или хотя бы отодвинуть реализацию.

Один раз сидим на «западной литературе», совсывается в дверь знакомое лицо пожилой женщины.

— Простите, можно Мордюкову на минуточку?

Выхожу, тарашу на пришедшую глаза, вспоминаю, что Гарик ихний гуляет с одной девочкой, слушаю ее.

— Нонна, доверяю только тебе: каждую неделю буду вам пышки печь, только не трогайте Гарика!

— Я его не трогаю. Мне вообще все до лампочки — я отличница, на доске почета вишу... А Гарик ваш скачет от одной к другой.

— Он сказал: люблю Мордюкову.

— Брешет! Ладно, давайте пышки. Приносите каждую неделю, и мы Гарика спасем...

Вот так бывает: у меня сердце колотится оттого, что пышки едим и еще на вечер останется... Приезжаем в общежитие, на плитке целое ведро булькает с пшенной кашей. Это Сережка Пыров где-то «скоммуниздил». Где — не наше дело. Спрашивать не полагалось. Потом мы усаживались с отличниками натуральными и заседали на них, чтоб те рассказали содержание «Бесов» Достоевского или пьесы Н. Островского. Обычно задают на лето прочесть, но разве летом откроешь книжку? Мама родная, а на танцы к морячкам, а в море покупаться, а рыбы или раков половить? Какой там Достоевский... Оглянуться не успеешь, как мама уже собирает тебя в Москву. Но эти наши читачки-отличники здорово пересказывали произведения. Бывало, и два, и три расскажут. А мы ухитрялись четверки получить на экзамене.

Однажды стою я на бортике бассейна — шли занятия по плаванию. Ростислав Васильевич, наш физкультурник, подплывает, пальцем подзывает наклониться к нему. Я наклоняюсь.

— Ты у гинеколога была?

— Зачем это? — подтягиваю купальник.

— Ведь ты беременна. Пойди в медпункт и возьми направление.

Я закрыла руками свой живот и побежала в раздевалку.

Там села на кучу какого-то инвентаря, задумалась.

— Переоденься, ты вся дрожишь! — крикнула на меня староста.

Я медленно переоделась — и в медпункт. Случилось это на четвертом курсе. Профком в очередной раз схватился за голову: куда девать? Общежития два — женское в Москве, возле метро «Кропоткинская», мужское — в Лосинке. Там как раз и была резервная, четырех-пяти метров, комната для тех женатых студентов, которые ждут ребенка.

Я наведывалась в Лосинку, присматривалась: висят пеленки на веревке или нет? Было такое правило: диплом защитил и — айда на простор, снимай угол или к чьим-нибудь родителям просись...

Наконец входим в долгожданную комнату. Две «солдатских» кровати, стол, печка — отлично! Муж с Евгением Ташковым нанялись пилить дрова дачникам, чтоб купить приданое для будущего ребенка.

Я бегала по двум этажам, на кухню, в умывальник. Жарила на рыбьем жире картошку. Все немного морщились от запаха, а мне он не мешал: плохо ли — рыба и картошка вместе. На второе — кипяток из пол-литровых банок.

Я шустрая была. Стал живот увеличиваться, я поддерживала его руками, но бегать не переставала. Вокруг меня были веселые мальчики. Я им подкину какую-нибудь шутку — хохочут, аж потолок дрожит. Характер у меня был тогда золотой — легкий, веселый, покладистый, — все без исключения меня любили. К примеру, Сергей Параджанов. Бледный он был и худой, одежда без цвета и формы. Он шастал все время по комиссиям, искал «счастья»: кулоны, броши, разные золотые изделия. Антиквар!

Однажды мы собрались все на кухне и варим «че нито».

Сергей входит с интригующей улыбкой и достает из кармана зеленую с золотыми точечками-глазами собачку. Моя неуклюжая рука потянулась: «Ой какая!» И с концами!.. Уронила я, разбила бедную собачку.

— Эх, мама Нонна, что ты наделала! — охнул кто-то.

А Сергей засмеялся, негромко, беззащитно.

— Ничего, найдем еще...

Я чувствовала ценность утери, но он замял происшедшее, вынув из-за пазухи вяленую воблу.

— Ура!

Тем дело и кончилось.

Прибегаю однажды из института. Муж остался там в шахматы поиграть. Вдруг меня как скрутит в узел!..

— Ой, ой, мальчики, мальчики, помогите!

Ребята несмело подошли к открытой двери, взглянули на меня скорчившуюся. А боль внезапно отпустила.

— Все прошло, слава Богу!

— Что с тобой?

Входят несколько человек во главе с Марленом Хуциевым, я смеюсь... И вдруг снова: «Ой! ой!» Марлен выпроводил всех в коридор, в приоткрытую дверь наблюдает за мной. Тишина. Появляется комендант с трубкой.

— Не паникуй, к утру родишь.

Ушли. Лежу, смотрю в потолок. Опять как даст в поясницу молотком, я снова в крик: «Ой, ой!» Слышу в комнате против нашей ключом кто-то дверь открывает. Я кричу, как родственнику:

— Ваня! Ванечка! Беги, звони! Я, наверное, сегодня все!

— Сейчас, сейчас!

Куда побежал, не знаю. Чередование «Ой!» с тишиной, подходящих к двери и уходящих мальчиков. Наконец прибегает Ваня и успокаивает: сейчас, Нонночка, они приедут сюда роды принимать! Я сбегал на мебельную фабрику и дозвонился!

— Как сюда?!

Я испугалась, заплакала. Вижу, сквозь толпу ребят протискивается мой муж. Он раздраженно: сколько вокруг чужих... Стал надевать мне ботинки, с досадой ворчит: «Зачем они здесь. Это — наше дело... Сейчас поедем в Москву. Машина стоит внизу...» Как ни крутилась в машине, а про счетчик не забыла: надо же платить!

Вернулась с ребенком в эту же комнату. Чуть не ослепла, увидев на моей, а значит, на сыновней кровати бумажные цветы на подушке. «Он хотел как лучше...» Я мягко так собрала цветы, положила их на окно, а потом уж опустила сына на подушку. В институт ходим, ребенка с собой таскаем. Он лежит в медпункте, нянчат его по очереди кому не лень. У меня душа разрывается — жаль сыночка. Я полюбила его сразу так жгуче, сильно, какую-то ненормальной любовью. На ручке — еще в родильном доме — привязана была клееночка с надписью «Мордюков — мальчик».

Сидим как-то утром, уже в институт собрались, стук в дверь. Входит медсестричка, поздоровалась и шутя спросила:

— Мальчик Мордюков здесь живет?

— Нет, — сухо ответил муж, швырнув клееночку на стол.

— Этот мальчик — Тихонов Владимир.

— Извините, у меня так написано... — смутилась сестра. — Прививку надо сделать.

После ее ухода резко сказал:

— Собирайся, пойдём в загс!

На улице свистел морозный ветер, я несла сыночка и чувствовала, что ватное одеяльце не защитит его розовую спинку от холода. Так и вышло — застудили. Потом несколько лет лечили от бронхита...

Хорошо, что, еще учась в институте, я сыграла в фильме «Молодая гвардия» Ульяну Громову и иногда появлялись дяденьки с приглашением выступить от общества «Знание». Все-таки приработок.

Как-то позвонили: «Ленинград просит для старшеклассников «Молодую гвардию» и тебя...» В поезде дяденька незнакомый кидает три коробки с фильмом и, буркнув: «Там встретят», — уходит. У меня стали слипаться глаза — было уже за полночь.

Утро выдалось хорошим. Недаром испокон веку есть надпись на станциях «Кипяток». Кипяток — это жизнь, и в купе у нас бурлила жизнь. Кипяток с парком, какая ни есть еда очутилась на маленьком столике. Как хорошо!

— Мне твои фильмы всю ночь снились,— сказал молодой пассажир в солдатской рубахе.

— Фильмы... Это не фильмы, а фильм «Молодая гвардия», и то три части всего,— ответила я.

— Так вы лауреат Сталинской премии?! — взвизгнула с восторгом попутчица.

— Да, вот так...— вздохнула я.

В кармане у меня было четыре рубля. Выступить в субботу и воскресенье, а вечером домой. Приняли меня на «ура». Все были очень довольны, обнимали меня, целовали.

— До следующих встреч! — радушно говорили люди.

Было семь часов вечера. Я додержала улыбку, пока не завернула за угол. А как же гонорар? Мне не на что даже хлеба купить. А ехать на что?

Шла я, шла и оказалась у Политехнического института. Села на лавочку. Красота-то какая! Еще горше стало от такой красоты. Тетеньки мимо меня носят на носилках желтые листья и кидают в кучу. И вдруг одна опустила носилки, под села ко мне, положила руку на колено и спрашивает:

— Что с тобой? Кто обидел тебя, казачка?

Я подняла лицо.

— Откуда вы знаете, что я казачка?

— Да видно. У нас кубаночки подрабатывают, а днем учатся. Вставай. Пошли чай пить. Пока шли, я все-все рассказала ей.

— Ну, чего ж тут особенного? Заработала, а деньги в зарплату получишь,— сказала она.

Зашли мы в четырехугольный дворик, похожий на колодец. Она стукнула по низенькому окошку, и изнутри прыгнула на стекло кошка так высоко, что соски на пузе видны были.

— Раздевайся, садись. Непорядок у вас там... в кино — картину погрузили, оформили, а человека.

— Я первый раз выехала. Не знала, что за гостиницу платить и за обратный путь.

— А с едой как? Голодная небось.

— Нет. На выступления за кулисами стоял столик и чай с хлебом.

— Ну тогда ничего. В другой раз расскажу тебе, как я Кубань люблю... до одурения. В госпитале нянечкой работала. Любовь была с кубанским казаком. Молодые были. Налюбились, нацеловались вдоволь и без обещаний расстались. Еще не вошли в тот возраст, когда жилы друг из друга тянут обещаниями да уговорами... А насчет отъезда — устроим. Пошли, скоро поезд. С моей подружкой поедешь, на уздах с бельем.

Подружка оказалась улыбчивой, тихой ленинградкой. Выложила из кармана шинели мелкую картошку в мундире, кулек морской капусты, чаю с сахаром попили. Хорошо!

Радость моя сменилась на досаду: не хотелось мужу объяснять, почему без денег явилась. И откуда у парня в двадцать два года командирское начало? Это, пожалуй, единственный человек был, от которого я днем и ночью мечтала избавиться. Но как? Раньше нельзя было: ребенок, семья, что скажут в институте. Боже сохрани! Надо терпеть. А про маму и говорить нечего. Бывало, чувствует, что мне не живется с ним, начинает причитать: «Ой, дочка, не бросай его! Он домашний. Никогда семью не оставит. Смотри, как бы одной не пришлось жизнь коротать, а он — судьба твоя».

Так больше десяти лет просуществовали. Мама умерла — мы и разошлись, куда глаза глядят...

Развалилась моя «каретка». Вот только «золотник» остался при мне. С ним не пропадешь. Он главнее, чем муж и несурзная моя жизнь личная. Золот-

ничок — это предназначение быть мне актрисой с пониманием и умением создавать свое искусство на интерес людям.

Сейчас 1997 год. Я в Тбилиси. Гала-концерт в большом зале. Артистов много. «Переаншлаг». Объявили меня. Весь зал сразу встал. Я уж говорила об этом, о том, что такое для гордого грузина встать со стула. Слезы залили мне лицо... Я аплодировала, они тоже.

Вот это награда. Вот это и было всегда моей невидимой кареткой жизни — служить профессии. У каждого человека, занимающегося искусством, главное «пиршество» в творчестве состоит в работе, в которой он расходует накопленное своей жизнью, то есть самое дорогое, что когда-то привело к горьким слезам или к неудержимому смеху. И я тоже из большой семьи художников, людей, занимающихся искусством. И у меня «под ложечкой» есть болевая точка. В детстве мне довелось увидеть у колодца упавшую без чувств женщину, получившую похоронку с фронта. Я все понимала, я сочувствовала ей до глубины души, потому что родилась актрисой. У меня национальные струны тугие оттого, что мне судьбой было предназначено срастись с горем окружающих меня женщин, срастись с их характерами, умением работать до десятого пота, веселиться, песню завести такую, что проберет всех до слез. Так и получилось, что мое богатство было в окружающем меня вечном жизненном сюжете.

Помню, мы были в экспедиции на съемках в глухой деревне. Померла старуха... Несут гроб, за ним группа людей идет.

— Сколько лет ей было? — спросила я.

— Шла до упаду! — не поднимая головы, ответила одна из провожающих свою подругу в последний путь.

Истинная характеристика наших женщин — «шла до упаду». И я, если ничто не помешает, буду идти до упаду. И кто же не согласится с тем, что таких женщин нет больше нигде, ни в одной стране! Нету таких тружениц, как наши. Боже ж ты мой! Одну только войну вспомнить, и того достаточно, чтобы всю жизнь играть ее, писать, рассказывать о женской военной доле. Все у нее, у женщины нашей, получается безропотно, обязательно, нерушимо...

Всегда она бегом. Как бы несправедливо ни обошлась с ней судьба, с какими бы страданиями, лишениями она ни встретилась, крепка в ней уверенность, что плохое — ошибки, неприятности — временно, надо подождать, перетерпеть, и все наладится. Сколько в нашей женщине взрывной силы, дипломатии, милосердия! И все мы разные: есть тихие, есть крикливые и требующие, а крик не помогает, тогда ляпнет такое, что аж чертям тошно: все катаются от смеха. Есть и вульгарные, вроде ведут себя вызывающе, а в работе никому не уступят, такие все время на Доске почета висели. Это мои героини и мои зрители, моя любовь. Таких женщин я знаю, это я сама.

Пошла я недавно на рынок за квашеной капустой. Вижу, бочка стоит, возле нее суетятся подросток и женщина с гипсом на руке от кисти до локтя. По лицу ее видно, что болит рука нестерпимо, но она этой правой рукой взвешивает свой товар. Пацан получает деньги. Все сочувствуют, кто и сам накладывает себе в бидон и ставит на весы. Я в аптеку: «Дайте что-нибудь обезболивающее». Дали. Угощаю несчастную «пятирчаткой» — две таблетки сразу.

— Как же это вы? — с состраданием спрашивает какой-то мужчина.

Женщина смахнула слезу фартуком.

— Да как же, как же... Вчерась вот тут поскользнулась — и на руку! Вывих и трещина, сказали. Вправить-то вправили, но болит, болит.

— Поезжайте домой, — искренне советует кто-то.

— Я и то говорю: поехали, Мария, домой, — бурчит ее напарник, молодой паренек.

— Куда домой? Срам-то какой — явлюсь с капустой. Помалкивай там! — ответила в сердцах хозяйка.

Я ее взяла себе на заметку. Напишу о ней, а может, и сыграть когда придется на нее похожую.

Еще эпизод. Собрались как-то у знакомой актрисы отметить очередное событие. Пришли известные режиссеры, актеры. Надо сказать, что актриса эта и сейчас живет в коммуналке — не все же ретиво рвутся в отдельные квартиры. Пришла в гости и соседка-сторожиха. Вечерами надевала бесформенную волчью шубу, брала ружье без патронов и шла охранять чье-то добро. Мы обычно липли к ней, любили слушать ее рассказы, ловили, запоминали каждое слово — все шло в копилку. Однажды моя подруга влетела на кухню и закричала:

— «Мону Лизу» везут по Москве в особом автобусе, с особым режимом и климатом!

Сторожиха спокойно помешивала суп в кастрюле, чем вызвала еще большее желание убедить ее в чуде происходящего.

— Вы слышите, Антонина Федоровна?

— Чую, нэ глухая...

— Она будет выставлена в музее! Пойдемте!

— Проститутка якась... Че на нэи дывыться?

Иногда, как сейчас, очастливит нас — постоит у притолоки, что-нибудь скажет... Один режиссер спросил у нее:

— Антонина Федоровна, какая у тебя пенсия?

Та нагнулась и ответила ему на ухо. Тогда режиссер ставит рядом с собой табуретку и жестом приглашает соседку сесть.

— Где вы были во время войны?

— У Белоруссии.

— Приходилось ли вам скрывать партизан или кого из бойцов?

— А як же!.. Разве я одна? Мы все помогали... И у нас тоже партизаны ночевали, харчей им давала.

Режиссер отводит собеседницу в сторону, и они о чем-то шепчутся. «Это законно!» — уверяет он. Соседка неторопливо надела шубу, взяла ружье и пошла на пост.

Забыли мы это, не замечали, что несколько дней Антонина Федоровна не попадаете нам на глаза. Вдруг открывается дверь, и входит долго отсутствующая соседка. Ее и не видно — вся завешана венками чеснока, лука, с плеч свисает мешок, до половины заполненный семечками.

— Антонина Федоровна приехала! Наверное, ездила в деревню насчет пенсии?

— Ну да,— простодушно отвечает она и рассупонивается.— Бери вот, от моей младшей сестры. Насилу узнала ее... Хорошо съездила... Ставь чайник — в горле пересохло.

— Сейчас, сейчас! О, и тыква, и фасоль!

— А как насчет пенсии? — Надо ведь было найти одного-двух свидетелей, которые бы подтвердили помощь Антонины Федоровны партизанам и бойцам.

— Якая там пенсия! — воскликнула соседка.— Хлопцы все усе-е до одного повмирали!

Она это сказала, как бы радуясь за себя, что сама-то жива, здорова... А пенсия...

— Це надо хлопотать да просить... На что оно? — Потом задумчиво проговорила, дуя в блюдечко с чаем:

— Скоро, ох, скоро пробегла жизнь... Садись,— кивнула она мне,— чайку попьем. Ты не приучайся, чтоб кто-то тебе поднес. Сперва заслужить должна. Вот сколько заслужишь, столько и дадут тебе пенсии. Но это еще тебе не скоро-ро...

Теперь, спустя много лет, я все думаю о встреченных мною простых женщинах, так похожих на моих героинь. Укладывались ли их жизни в кем-то заготовленные каретки? Образование, манящее в дальние дали, любопытство, талант, войны, зависть — да мало ли еще что ломает желанные формы, корежит спокойное жизненное течение. Вот и Илюша, племянник мой... пропал в Чечне. Пишу это, а мысли сейчас только о нем — не знаем мы, жив ли он, что с ним... У него двое детей — женился он рано, жену привез с Кубани. Отдыхал там и влюбился в кубанскую казачку. Валя, его мать, жена моего брата Геннадия, переживала, плакала, ругала его: мол, рано жениться, сам ребенок еще. А он, глаза потупив, брови домиком, серьезно так, по-взрослому: «Я — жертва любви!» «Ну раз жертва,— рассмеялась Валя,— женись». И жена его тоже совсем молоденькая, он ее и звал «девочка», она его в ответ «мальчиком». Так и до сих пор они «девочка» с «мальчиком». Читает он много, и молчун он у нас. Прежде чем сказать, помолчит, подумает. Я еще раз повторю (только о нем мне сейчас и хочется, нужно говорить, писать): все он в самые горячие «точки» рвался, снимал на переднем крае бесконечных нынче войн. И как мы им гордились, как за него переживали! Как-то я ему об этом сказала, посетовала: зачем тебе это — постоянная опасность, взрывы, стрельба?.. Он, помолчав, тихо ответил: «Тетя Нонна, это мое призвание».

Вот и уложи жизнь в каретку, попробуй втиснуть ее в удобную форму...

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ КЛИПМЕНОВ

Прошлым летом мы вышли как-то из павильона «Мосфильма» во двор, чтобы продышаться немного. Сели на скамейку и стали разглядывать стайку подростков, почти мальчиков, сидящих на траве. Они такие симпатичные, одеты по моде, пахучие, приветливые. Шуруются от солнышка, потрескивают жвачкой, смеются, толкают друг друга. Это клипмены. Видать, что-то снимают и тоже вышли подышать. Я вспомнила понравившийся мне телеклип — реклама водки. Там черная кошка гуляет сама по себе между предметами и забавно процедируется — превращается в пантеру на водочной бутылке. Клип удался. Он прошел по всему миру и получил разные призы.

Меня не один год волновала мысль о форме кино. Всегда напрашивается возможность очистки от ненужных заусенцев, от лишнего по смыслу метров пленки. Порою и на стуле ерзаешь и зеваешь от тяжести эпизода. «Воды много», — говорят про такое кино. А бывает наоборот — ритм фильма слишком вольно меняется. Тот клип с кошкой и водкой подтверждал известную истину — краткая выразительность только украшает фильм. Я преклоняюсь перед односерийными фильмами. Кино — это не театр, не телевизионные «посиделки». Классики его изначально создавали как выдох, как выстрел: «А-ах!» — и все! Кино родилось, появилось на свет односерийным.

Помню, как мы сидели в просмотровом зале на «Мосфильме» и затаив дыхание смотрели двухсерийный фильм Шукшина «Калина красная». Василий вертелся, чесал макушку, кряхтел. За несколько секунд до финала громко встал, хлопнул в ладоши и решительно сказал: «Одна!» — серия, имел в виду. Бывает, что в процессе съемки студия и создатели восхищены текущим материалом. Дирекция незамедлительно провоцирует изменить серийность — из одной сделать две. Студия выигрывает: получается за те же деньги и время не один фильм, а два. Студии, съемочной группе и актерам платят как за два фильма. Обоюдный интерес. Однако Шукшин в угоду этим интересам не стал корежить картину. Но вот в «Трясине», которая изначально была запущена как «А-ах!», как выстрел, как выдох, то есть односерийным фильмом, режиссер не устоял — угодил «Мосфильму». Виктор Мережко знал, почему сценарий был рассчитан на одну серию, но в кино принято не считаться с автором. А надо

бы... Есть определенная заданность жанра, сценария. Недаром, скажем, в спорте — четкое разделение по дистанциям: сто метров, километр и так далее. Односерийный «забег» сценария должен быть неукоснительно односерийным.

Когда я увидела удачный клип, подумала: все же молодежь кумекает, ищет... Уловить момент, крик, подтекст — это много. Налетел на меня где-то на презентации клипмен. Слегка ерничая, убеждала его, что я не клиповая актриса. Он распалился, стал доказывать, что можно забавно снять. Я бы и рада была продолжить спор с ним на съемочной площадке в новом для себя качестве, но мысли нет.

— А зачем она? — говорит он.

— В этом-то и интерес: снимать срез, миг, намек. Пусть по времени это будет сорок секунд, но сорок секунд мысли, — настаивала я.

Мы расстались, а через несколько дней звонит Денис Евстигнеев. Я обрадовалась: «Вот это другое дело!» Его фильм «Лимита» очень понравился мне. И вдруг он предлагает сняться в клипе. Я-то думала, что в фильме...

— О, нет, нет, ни за что!

На другом конце провода пауза и дыхание. Он начал говорить о железнодорожниках в оранжевых жилетах.

— Сколько по времени это должно пройти?

— Полторы минуты.

— Денис, дорогой, клип мне не осилить — я реалистка до мозга костей. Полторы минуты!..

— Это много. — Он еще помолчал, а потом предложил встретиться завтра на «Мосфильме».

Там нас уже ждал художник Павел Каплевич, и мы затерялись в море одежды, хранящейся на складе. Увлеклись, как дети. Пашка прыгал по узлам и ящикам и отменно одевал нас. Этот процесс важен очень. Мы, потные и красивые, вздохнули наконец, и довольный Пашка сообщил Денису:

— Ну вот так, я думаю.

Режиссер потер руки и, смеясь, сказал:

— Пойдемте, теперь займемся тем, зачем вы, собственно, сюда и приехали.

— Действительно! — засмеялись мы.

Два дня на жаре между рельсов снимались с Риммой Марковой ради полтора-минутного изображения на экране. В этот клип вмещен глубокий жизненный смысл. Такой вот клип по мне.

В XX веке много чего появилось. От фривольности ядерных игривых породились неизвестные доселе вещества, имеющие формулу, но не поддающиеся познанию. Крутятся неизвестные соединения, которые располагаются как и где угодно. Англия согласна на полное уничтожение любого скота... А СПИД? Разве есть хоть малая надежда, распознаю этого монстра. А дети-мутанты?.. Это уже другая формула в науке. Кино тоже заслужило наказания. Людям нужен фильм «Белоснежка и семь гномов», а им подают всевозможные откровения патологии. Распад страны, распад всего — в том числе и кино. На этом фоне обнаружилась незаполненная ниша, куда непринужденно и легко вошли клипы. А клипы бывают разные. У Евстигнеева — с мыслью и состраданием. С клипом надо на «Вы». Бойтесь полностью попасть в его вечные объятия. Клип опасен...

Мне припомнился фильм, где Чурикова и Скляр обрадовались безжизненной территории, совсем без людей. Как хорошо! Бурьян, палисадник и скошенное сено ничье. Дом пустой. Ходи, разглядывай, подавайся любви... Хорошо! А между тем эти два человека находятся в радиационной зоне. Наблюдающие общаются друг другу: «Они светятся...» Так и вошли в свою гибель — ни боли, ни

страха, а только блаженство... Не случится ли так, что сугубо клиповое творчество выест реальное предназначение профессии кинорежиссера?

Экран — это магическая зрелищная сила. Его функция — забрать зрителя без остатка. А мы разошлись: «Бей, кроши, бросай детей в окна!» Тут тебе и мозги на асфальте, и кровушка течет, и голый зад, да и секс — пожалуйста. Так лучше уж бессмысленные клипы — там хоть крови нет!

Святое изобретение человечества — экран, а мы порою делаем из него помойку.

Не возраст мне подсказывает это, а опыт. Экрану пристало изображать, как актер Закариадзе в фильме «Отец солдата», забравшись среди перестрелки в пустое здание, нашел сына. Они перекрикивались. Гулом гудели их голоса. Отец добрался до сына и осел, держа в руках выдохнувшего его: «Отец...» «Какой ты стал большой, как ты вырос», — гениально запричитал Закариадзе.

Ну, черный кот прошел, отражаясь в водке, — это лишь забавный миг. У нас и того нету, не видать что-то подобного в наших клипах. Наслаждайтесь жвачками, радуйте родителей, работайте не покладая рук, но, когда начнете взрослеть, посматривайте на жизнь нашу. Если не собираетесь уехать, волей-неволей пожелайте, чтоб вся ваша жизнь не распалась на клипы, не превратилась в пир во время чумы.

Меня во время учебы во ВГИКе общефакультетским собранием решили отчислить со второго курса за «богохульство». Познакомившись с личностью Карла Маркса, я заявила педагогу и курсу:

— На черта он нам сдался! Все равны, тишь да гладь, да божья благодать! А как же искусство? Оно не может возникнуть без страдания!

Это высказывание, конечно, было интуитивным. Какой из меня политик! Но из души неграмотного человека раздался крик — это предчувствие мучений, страданий и тяжелого труда в своей профессии, потому что мы не могли себе представить, какую песню заводить, если не о родимой стороне, о людях наших, если не творить на радость, на надежду простому труженику. Гамлета играть можно и нужно. Образовывать людей необходимо, но все это получится только тогда, когда хлеб будет, вода будет, воздух чистый будет. Идет по синему морю белый лайнер, человеку хорошо разлечься в шезлонге, подставить лицо солнцу и ветру. Он счастлив целых двадцать дней отдыхать между небом и землей. Но в трюме идет другая жизнь — трудовая. Не будь ее — лайнер утонет.

Так когда-то в коммуналке Григорий Чухрай ночами на кухне писал режиссерский сценарий «Баллады о солдате». Фильм полетел по белому свету. Классическая библейская картина. Я не утверждаю: чтобы стать талантливым, нужно пройти нищету, голод, лишения.

Но знать почву, своих людей, их образ жизни — это необходимо для творческого человека.

«Хочешь оставить след в искусстве — вторгайся во все отечественное», — говорил художник Васнецов. Где живешь, там и спасение. К примеру, я хорошо знаю горцев, вообще Кавказ, потому что там выросла. От души позавидовала режиссеру Хотиненко, его таланту понять душу горца, его жизнь через русского солдата, роль которого исполняет в фильме «Мусульманин» Женя Миронов.

И клип обязан доносить до зрителя свою мысль. Смешной ли это случай или грустный. На первой стадии беззаботная игра, как любая игра, вплоть до компьютера. Шарик разного цвета. Здесь же и прелестный задик Ветлицкой, на него мастерски накладывают масло-какао. Она улыбается, выставляя красивые зубы. Зачем это все? Так, за здорово живешь, хорошие мальчики незаметно внедряются в радиационный палисадник. Они не догадываются, что в зону никчемности идут... Вряд ли кто восхитится нашими клипами, потому что клип —

это продукт таланта, поднатюривший в большом кино или в другом виде искусства.

Недавно показали клип Майкла Джексона. Вот это клип! Майкл пошел, а вернее, поплыл, то есть он пошел по сцене медленно, не говоря уже о его пластике. Мы впились, замерли, заволновались: впустив нас к себе на сцену, чтоб мы последовали за ним, он едва заметно дернул на миг подбородком, дразня зрителей знакомым движением. Ради этого мига был сочинен клип. Значит, только богатый талантом, богач таланта, оцененный всем миром, способен на такую драгоценную зарницу. Цветными шариками и поющими рок-попами, под ветродуем, как говорится, ни с того ни с сего разве увлечешь зрителя?! И разве на этом можно сделаться богачом таланта? Нет, детки, нельзя. Правда, в клипах есть возможность ознакомиться с техникой съемок, с аппаратурой, освещением, с хорошенькими актрисами. И больше ни-че-го!

Вот я вам подарю одну из десятка зарисовок, возникших в моей голове. Нуте-ка! Снимите! Представьте: иду по широкой улице Москвы. Вдруг слышу, как десятки машин одновременно остановились и загудели во все моторы. Оказывается, старая худая женщина на середине перехода буквально влипла в неостывший асфальт. Одну ногу вытаскивает, а туфель остается на старом месте. Вторую вытаскивает — то же самое. Машины — исчадие ада — орут, как бешеные. Женщина пытается как-то двигаться, боясь их угрозы: ноги освободила, но оставила вытянутые пустые чулки в туфлях. Вернее, чулки еще тянутся за ней. Несколько шагов сделала, пока не освободилась от приставучих чулок. Наконец босая ступила на тротуар. Я подбегаю к ней, беру под руку, мы возле цинкового карнизика полуподвального окна. Я сажаю ее на этот карнизик. Иссохшая, худая, она хватается за жизнь. Кажется, что грудная клетка пуста, так сильно и гулко бьется сердце, со свистом дышат легкие.

— Ничего, ничего,— убеждаю я ее и бегу вытаскивать туфли.

— Чулки,— прошептала она.

Сбегала я и за поменявшимися цвет чулками. Завернула их в газету, а туфли напялила ей на ноги.

Подождала, пока она более или менее отдышалась, и спросила:

— Что вы там так крепко прижимаете к груди?

Она развернула целлофан, вытащила из него сберкнижку, ногтем открыла ее и, сдвинув брови, выдохнула:

— Сегодня обмен денег назначили, разве ты не знаешь?!

Сорок секунд чистого действия... А какую горькую мысль оно несет! Хоть горькая, хоть сладкая, хоть соленая, а мысль в клипе должна быть, уже не говоря о том, что клип — это хобби, а не профессия.

В комедийном фильме тоже очень точно надо выводить мысли. Комедия по делу должна служить людям...

Расселили нас как-то с киноэкспедицией в деревне по разным хатам. Мне достались очень хорошие хозяева. Маруся, ее сын Коля и муж Анатолий — комбайнер. Жили они в любви и согласии. Одно плохо: муж пил по-черному. Пока работал в поле — ни капельки, потом с друзьями на грузовике в магазин. Гур-ур, буль-оуль, кто домой, кто тут же прилег. Анатолий валялся мертвяком где-нибудь недалеко от магазина. Колька ежедневно брал двухколесную тачку и ехал за ним. Посадив с помощью взрослых невменяемого папку в тачку, он трогался к дому. Старался, чтоб ни рука, ни нога отца не попали в колеса. Для сельчан это привычно, никаких упреков.

— Мама, мамочка! Заплаканное сердце мое! Любимая! — кричал пьяный Анатолий, когда Маруся шла навстречу, чтоб помочь высадить его из тачки.— Любовь моя! Единственная! И тебя люблю, и Кольку.

— Ничего, ничего... Сейчас на топчанчик ляжешь под яблонькой и отоспишься,— приговаривала молодая красивая казачка. А потом мне: — Вы зна-

Юрий БУРТИН

Выход из кризиса: инвентаризация иллюзий

На шестом году своего существования в качестве отдельного государства Россия, как признают практически все, кроме дипломатичных западных политиков, находится в состоянии **общего кризиса**. Столь же употребительно слово «катастрофа». Как выходить из этого состояния? Нынче все всё понимают, но, когда разговор переходит в такую плоскость, всезнайство сменяется состоянием в беспомощности.

Одни говорят: надо просто-напросто довериться естественному ходу вещей, процессу эволюции. Другие: продолжать курс реформ. Третьи: так или иначе корректировать этот курс в пределах сложившегося экономического и политического порядка. Наконец, четвертые предлагают искать выход в смене существующего строя, но коренным образом расходятся между собой в вопросе о направлении такой смены: для одних это возвращение в советское (или еще дальше — дооктябрьское) прошлое, для других — капитализм евро-американского образца.

Переберем по порядку эти идеи. Сначала об эволюции.

1

Считается, что теперь, когда тоталитарный строй разрушен и заложены основы нового, демократического устройства, открылся простор для эволюционного развития, которое само и развяжет мало-помалу узлы всех наших больных проблем, — ему только не мешай. Отсюда — упования на «невидимую руку рынка» и на постепенное созревание «молодой российской демократии».

Что ж, за постепенную эволюцию агитировать никого нынче не нужно. Если раньше все у нас были революционерами, то теперь все сплошь эволюционисты. Сдвиг в общественном сознании произошел в этом смысле колоссальный, и он имеет под собой весьма глубокую почву.

Дело не только в печальном опыте «родины Октября». Мы привыкли все мерить сравнением с Западом. Но вот уже полтора века там без перерывов продолжается динамичный эволюционный процесс, который провел евро-американский капитализм через несколько качественно различных стадий развития, в корне изменил облик этой части мира и неустанно продолжает свою работу, разрешая любые социальные противоречия, едва они успевают достаточно проявиться. Значит, эволюция есть **норма** развития современного мира. Весь вопрос в том, действует ли она здесь и теперь. Увы, на него трудно ответить утвердительно.

Первородный грех Октября состоял не в чем ином, как в устранении рыночной конкуренции и политического плюрализма (демократии) — тех **средств развития**, которые только в условиях капитализма в полной мере раскрыли свое значение в качестве двух могучих двигателей прогресса. Большевики пошли на это совершенно сознательно, в полном согласии с выкладками теории. Коренной и главный порок марксизма, в силу которого теория, заслуженно считающаяся одним из выдающихся достижений человеческой мысли, оказалась опрокинутой последующим ходом истории, заключался в роковой для него недооценке указанных средств развития и обусловленной ими способности капитализма к многоэтапному самоизменению¹. Отсюда — ложность основных идей «научного коммунизма», включая ленинскую концепцию социалистической революции.

¹ Подробнее в моей статье «Ахиллесова пята исторической теории Маркса» («Октябрь», 1989, №№ 11, 12), по отношению к которой настоящая статья может служить как бы продолжением.

ете, у него золотые руки и характер хороший. Утром будет, как огурчик. По-кормлю его — и на работу. Ударник!

Как-то задождило. И нам плохо, и колхозу тоже. Сидим мы под яблоней, вареники лепим. Анатолий очень смешливый — от души прыскал от всех моих рассказней. Надо же было так сблизиться с этой семьей и так в общем-то обнаглеть, что сама уже не помню, как я скорчила ему ту самую рожу, с которой он кричал по пьяни: «Мама, мамочка, заплаканное сердце мое! Маруся схватилась от смеха за живот и выскочила из-за стола. Коля тоже пунктирчиком, как-то дробью захохотал. Анатолий внимательно вгляделся в мое лицо, будто видел впервые. Потом, застенчиво улыбаясь, мотнул головой, отошел в сторонку и стал крутить цыгарку. Колька замолк, почуяв, что отцу моя шутка не понравилась. Обедали молча. Маруся еще кусала губы, сдерживая смех, Анатолий съел борщ, вареники, выпил молока и пошел к сараю. Вскоре он вышел с мотором от лодки.

— Папаня, можно я с тобой?

— Пошли,— буркнул отец.

Коля догнал его, и они скрылись в камышах. Маруся лбом уткнулась в кленку и расхохоталась всласть:

— Ой, как у вас натурально получилось!

— Может, мне съехать на другую квартиру? Он, по-моему, обиделся.

— Кто? Толя? Вы что! И не выдумывайте. К вечеру все забудет. Вон, видите, на закате небо светлеет? Завтра работа будет всюю.

..Прошли годы. Присылает письмо Мария. «Дорогая ты моя да разлюбезная, да какое же доброе дело ты сделала, Нонночка! Толик у нас так с тех пор и не пьет. Уже шестой год пошел. И не буду, говорит. И «мамочкой» больше меня не называет. Теперь я у него «дорогая», «миленькая моя».

«Какую же рожу я ему скривила?» — подумала я. Человек на миг остановил в себе течение крови и повернул его в обратную сторону. Этот эпизод я дала возможность использовать другой актрисе в подобной ситуации, но ничего не получилось: завод и концентрация ей оказались недоступными.

Так что и комедия, и трагедия должны быть пропущены через душу исполнителя до самого дна.



Будучи исторически обусловленной (хотя и не фатально неизбежной), Октябрьская революция представляла собой тем не менее гигантское по своим масштабам насилие не только над миллионами людских судеб, но и над законами истории, над выработанными ею формами движения общества. Замена рыночных механизмов административными, а демократии — «диктатурой пролетариата» (читай: партаппарата) пресекла в нашей стране органическое развитие общественного уклада, эволюция уступила место «социалистическому строительству».

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? Кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом.
Строим мы... строим тюрьму.

Знал бы Валерий Брюсов, какими пророческими окажутся его стихи! Дело не столько в том, что строили именно тюрьму, что таков был замысел Великого зодчего, заранее усмеявшегося в усы. В гораздо большей степени это стало непредвиденным, но неизбежным результатом той исходной операции, которую произвела коммунистическая революция, как бы ампутировав российскому обществу гипозифиз, что изначально обрекло его на грядущий застой.

Понятие «застоя» у нас обычно связывают с эпохой Брежнева — Черненко. Однако это сущностный признак, это принцип существования систем, подобных сталинскому социализму. Систем, которые, симулируя непрерывное движение к некоей высшей цели, в действительности ориентированы исключительно на неподвижность, на сохранение статус-кво. Как только система была «достроена», так тут же и обнаружила эту свою фундаментальную особенность. Твардовский еще в 1954 году гениальным чутьем художника уловил ее внутреннюю мертвенность, воплотил в грандиозном и мрачном образе «Того света».

И вот в то самое время, когда на Западе эволюционный процесс творит чудеса, превращая капитализм в постиндустриальное «богатое общество», «реальный социализм», как бы выпав из истории, стоит на обочине столбовой дороги человечества, словно некая чудовищная окаменелость, не в силах ни закрыть эту дорогу для других, ни самому сдвинуться с места.

Конечно, нельзя представлять себе дело так, будто советский строй и тем более советское общество не эволюционировали вовсе. Так не бывает. Например, шло непрерывное выветривание официальной идеологии. За отсутствием нормальных рыночных отношений мало-помалу сформировался и расширился своего рода рынок «блата», то есть коррупции, взаимообмен (ты — мне, я — тебе) дефицитными товарами, услугами, привилегиями, должностями. Соответственно менялась психология «аппарата» да и его объективная роль в системе, в недрах которой прорастали семена «теневого экономики», фальсификации («приписки») и криминализации всех сфер деятельности, особенно руководящей (сошлюсь на работы Льва Тимофеева). В результате брежневский «реальный социализм» существенно отличался от сталинского, а внутри него, под покровом официальных форм и норм, постепенно вызревали нравы и отношения завтрашнего «номенклатурного капитализма».

Разница с нормальной, прогрессивной эволюцией была тут, однако же, колоссальной, примерно такой же, как химические процессы в мертвом теле разнятся от процессов обмена веществ в живом. Там эволюция была формой движения вперед, здесь — не более как видоизменением старого. Система менялась, но не прогрессировала; отношения между правящим слоем и основной массой населения остаются при Ельцине в существе своем теми же, что при Брежневе и при Сталине, режимы, ими возглавляемые, разумеется, не идентичны, но сердцевина у них общая, и она неизменна.

Так что, повторяю, вопрос не в том, хорошая ли штука эволюция. Вопрос в том, стала ли она уже для нас доступна, вернули ли мы себе ту способность к прогрессивной социальной эволюции, какой сами же, собственными руками лишили свою страну 80 лет назад? Если да, тогда можно (с необходимыми оговорками) уповать на стихийный процесс развития; если нет, тогда подобные надежды — в лучшем случае добросовестный самообман.

Увы, увы и еще раз увы! Оглядываясь вокруг, мы ни в одной из сфер общественного бытия не видим за последние годы стойких положительных тенденций. Только регресс, только ухудшение, в лучшем случае — топтание на месте. И нетрудно понять — почему. Да именно потому, что отключенные в 1917 году двигатели прогресса продолжают бездействовать. Как не раз констатировали многие внимательные наблюдатели (среди иностранных — американский историк Стивен Коэн и итальянский журналист Джульетто Кьеза), в стране по-прежнему нет ни демократии, ни свободного рынка. Ибо рынок без полноценной конкуренции — это не рынок; демократия, существующая лишь для разномастной «элиты» и исключая

шая всякую реальную возможность для общества контролировать государственную власть, демократия, при которой люди вынуждены объявлять голодовку, чтобы получить заработанное (и все равно не получают), — это лишь видимость демократии, издевательство над демократией. А заодно и над нормами рыночных отношений.

Пожалуй, единственное, безусловно, положительное, что эти годы дали нашему обществу, — это горький, но необходимый опыт. В частности, понимание, что рынок и демократия выполняют свою историческую миссию только в том случае, если они подлинные. Суррогаты не годятся. Они либо просто бесполезны, либо (что наиболее реально) работают против человека, загораживают обществу путь вперед, толкают его в трясины.

Таким образом, в нынешних российских обстоятельствах на стихийную эволюцию рассчитывать не приходится. Но тогда что же остается? Активные действия людей по преобразованию общества, то есть реформы.

2

«Продолжить курс реформ!» — призывают гайдаровцы. «Не свернем с пути реформ!» — с мужественной твердостью клянутся президент и правительство. Чтобы оценить, что сулят нам в смысле выхода из кризиса эти призывы и обещания, необходимо как следует вникнуть в суть и наличные результаты нашего «курса реформ», как определились они к настоящему времени. Прежде всего в социально-экономической сфере.

Итак, в чем до сих пор заключалась наша экономическая реформа? В упразднении отраслевых министерств, Госплана и Госснаба? В отпуске цен, сочетающемся с политикой финансовой стабилизации, в либерализации экспорта и импорта? В создании товарно-сырьевых бирж, коммерческих банков и прочих институтов рыночной инфраструктуры? Да, и в том, и в другом, и в третьем. Но все это были только следствия, только разнообразные средства организационного обеспечения того, что составляло суть реформы, — кардинального преобразования отношений собственности.

К середине 80-х годов, в обстановке все углубляющегося кризиса социалистической экономики, на каждом шагу демонстрировавшей свою безумную расточительность и неэффективность, перед партаппаратом КПСС, во всяком случае, перед его более молодой и мобильной частью, во весь рост встала поистине головоломная задача: как оживить систему с преимущественной выгодой для правящего слоя? Как, сохранив власть и собственность в руках партийно-советско-хозяйственной номенклатуры, резко повысить эффективность обладания тем и другим в интересах личного обогащения каждого руководящего товарища в отдельности? Ответом, который гениально нащупан был партийной олигархией, явилась перестройка по Горбачеву — Ельцину, а сутью ее — упомянутое преобразование собственности.

Первый и самый важный его этап прошел еще в 1987–1990 годах, когда серией законов СССР, а потом РСФСР объекты госсобственности были переданы в «полное хозяйственное ведение» (фактически во владение) тем, кто прежде лишь управлял ими в качестве государственных служащих, — директорам предприятий, отраслевой и местной администрации. В результате тот класс советского общества, который на протяжении десятилетий был единственным реальным владельцем «общенародной» собственности, стал владеть ею на новых, гораздо более выгодных для себя началах — не исключительно корпоративных, а, так сказать, корпоративно-индивидуальных. Оставалось юридически оформить и закрепить право собственности должностных лиц на доставшиеся им «за красивые глаза» массивы государственного имущества, оградив последние от притязаний со стороны «черни». Отсюда «приватизация» по А. Чубайсу, в одночасье сделавшая всех нас собственниками: высший слой — законным собственником гигантских реальных ценностей, а остальное население — счастливым обладателем своего ваучера.

Слово «приватизация» я беру в кавычки, потому что вопреки его прямому смыслу результатом ее в России стало не возрождение и преобладание частной собственности как таковой, но такая модификация корпоративной собственности советского правящего слоя, при которой источники его сверхдоходов остались общественными, а присвоение сделалось частным. Сказанное почти в равной степени относится ко всем формам собственности в современной России: и к государственной, и к смешанной, и к кооперативной, и к частной. Формы разные, а содержание во всех случаях (кроме части мелкого бизнеса) примерно одно и то же: если приглядеться, все это — частная собственность за общественный счет, в том числе в большей или меньшей степени за счет нынешнего налогоплательщика, частная собственность без частной ответственности и риска. Для правящего слоя такой характер собственности оптимален, и потому переходить к нормальной частной собствен-

сти этим людям решительно не к чему. Однако с точки зрения интересов всего общества такая паразитическая по своей сути собственность контрпродуктивна; обладание ею не содержит в себе действенных стимулов экономического роста, антистимулы же – на каждом шагу.

Отсутствие (непоявление) в стране ответственного собственника и отсутствие (непоявление) в ней полноценной конкурентной среды – две стороны одной медали. Это то самое, о чем уже говорилось: настоящего рынка нет, а тот суррогат его, который возник в виде экспансии импорта, имел для российской экономики в основном разрушительные последствия. Ибо он заработал не на оживление, а на подавление и умерщвление отечественного промышленного и сельскохозяйственного производства, на уменьшение покупательной способности населения, на расхищение и утрату научно-технического и культурного потенциала нации, на усиление экономической отсталости и зависимости страны, на превращение ее в топливно-сырьевой придаток развитой части мира. Вместо движения в направлении динамического «богатого общества» европейского типа мы с ускорением покатались в сторону застойного общества богачей и нищих, столь характерного для «третьего мира».

Социально-экономической реформе в точности соответствовала политическая. Как для проведения столь крупномасштабной операции по самозахвату номенклатурой «общенародной» собственности и внутрисловному ее переделу, так и для узаконивания результатов этой операции и последующей защиты захваченного нужен был подходящий тип государственного устройства. Более всего этому отвечало государство с внешними атрибутами демократии, но с концентрацией власти в руках того же слоя, которому принадлежала собственность. Однако в конкретных обстоятельствах начала 90-х годов на пути к созданию такого режима стояла демократическая активность масс, охваченных идеей народовластия, – эти опасные ожидания следовало осторожно и мягко погасить. «В сентябре – октябре (1991 года. – Ю. Б.), – признавался позднее Б. Н. Ельцин, – мы прошли буквально по краю, но смогли уберечь Россию от революции...» («Российская газета», 1992, 20 августа). Первые шаги в указанном направлении были сделаны уже тогда; в декабре 93-го новая политическая система была отлита в конституционную форму, а во время президентской кампании 96-го достроена и доведена до совершенства. Высокая степень централизации власти («президентская республика» по-российски); ее фактическая несменяемость, обеспечиваемая монополией на информацию и мнимой «многопартийностью» правящей олигархии, внутренне однородной и единой, несмотря на шумно афишируемые распри; последовательное отстранение народа от управления страной и полное отсутствие реального демократического контроля при видимом соблюдении демократических форм и процедур – вот главные черты этой системы, достойной наследницы тоталитарного строя.

Итак, «курс реформ» есть явление комплексное, разностороннее, его политическая составляющая вполне гармонировала с экономической и социальной, и они неразрывны. Таким же цельным и, в сущности, законченным является и исторический результат проведения этого курса – тот новый общественный строй, который сформировался в послеавгустовской России. Поэтому не совсем ясно, что имеют в виду люди, говорящие тем не менее о «продолжении курса реформ» и с этим «продолжением» связывающие надежду на выход страны из кризиса. Называют земельную, жилищную, налоговую и военную реформы, кажется, я ничего не забыл. Однако неужели от того, что «новые русские» станут еще и владельцами земли, отечественными лендлордами, что квартирная плата будет резко повышена и дифференцирована, налоги уменьшены, а армия станет профессиональной, Россия пойдет наконец по пути процветания? Предположение, которое трудно даже обсуждать всерьез.

Впрочем, наши реформаторы, похоже, и сами не ждут от «продолжения» слишком многого да и не очень его хотят. Не потому ли они часто путаются в словах и вместо «продолжения курса реформ» говорят «стабилизация». Складывается определенное впечатление, что тезис насчет «продолжения» – не более чем ритуальная фраза, предназначенная главным образом для Международного валютного фонда, реальной же целью политики «правительства реформ» является сохранение – чем дольше, тем лучше – теперешнего положения вещей. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – мог бы вслед за Фаустом воскликнуть, например, А. Чубайс, если бы позволил себе подобную степень откровенности. «Движение вперед» как словесное выражение заинтересованности в поддержке статус-кво, будущее как продленное настоящее – вот подлинный идеал нынешних «реформаторов», реальный подтекст всех их идеологических построений.

Неутешительные итоги «курса реформ» и бесперспективность простого его продолжения легли в основу многочисленных предложений, направленных на «корректировку» этого курса.

Мнение о необходимости корректировки курса реформ как условия выхода из кризиса высказывается нынче представителями самых различных политических сил. Если оно не остается просто фразой (как у В. Шумейко, лидера несуществующего движения «Реформы – новый курс»), то в большинстве случаев – у «коммунистов», «аграриев», «промышленников» да и у ряда деятелей «партии власти» – оно в противовес гайдаровскому *laissez faire, laisser passer* обычно включает в себя идею усиления государственного регулирования в экономике. Но, во-первых, нередко и исчерпывается ею, во-вторых, эта мысль, в общем виде не лишённая оснований, почти ни у кого из «корректировщиков» не доведена до уровня конкретной программы соединения в наших нынешних условиях рыночной конкуренции и государственного управления экономикой, а тем более до модели, которая демонстрировала бы, как такая система будет работать.

Кроме того, даже сами гайдаровцы, не говоря уже об их оппонентах, высказываются нынче за усиление социальной составляющей «курса реформ». Часто приходится слышать: экономическая реформа задумана была в общем правильно, но не предусматривала достаточных мер социальной защиты, вследствие чего цена ее для значительной части населения оказалась слишком высокой. Нужно хотя бы теперь это исправить. (Увы, дело обстоит гораздо хуже. Высокую социальную цену населению пришлось уплатить за такую реформу, которая, будучи кастовой, классовой в глубинных своих основаниях, именно поэтому приняла исторически ложное направление, которое из одной тупиковой ситуации с неизбежностью завело страну в другую, едва ли не более скверную.)

Всего подробнее и серьезнее идея «корректировки» разработана Григорием Явлинским и его сотрудниками. Предложенный «Яблоком» (в частности в сборнике его программных документов «Реформы для большинства», М., 1995) критический анализ реформы по Гайдару и социально-экономической ситуации в «пореформенной» России можно считать классическим по глубине, научной основательности и полноте. И хотя позитивная часть программы «Яблока» заметно слабее ее критической части, она тоже конкретна и по большинству позиций убедительна. В числе прочего заслуживают поддержки предложения, выдвинутые в ряде недавних выступлений Явлинского, например, о необходимости конституционной реформы, которая ограничила бы президентскую власть, об инвентаризации федеральной собственности, об общественном контроле за доходами и расходами крупнейших естественных монополий, о переходе от обложения налогами в основном доходов к обложению имущества и рентным платежам, о федерализации бюджета, об индивидуальных счетах граждан в страховых и пенсионных фондах при государственных гарантиях накопления, о ликвидации льгот и привилегий госаппарата и ряд других.

Прибавим к сказанному намерения Б. Немцова (возможно, подсказанные Г. Явлинским) разрушить систему фаворитизма во взаимоотношениях правительства с коммерческими банками, являющуюся, без сомнения, одной из сфер наиболее крупномасштабной коррупции, а также снизить тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки, чтобы спасти от полного уничтожения отечественное промышленное и сельскохозяйственное производство.

Все это, безусловно, полезные предложения и начинания, но при всей их важности сколько-нибудь существенного изменения ситуации от них ждать не придется. Во-первых, они фрагментарны, в них нет никакой системности, ничего похожего на то, что герой Чехова называл «общей идеей». Создавая некоторые административные и социально защитные противовесы однобокому гайдаровскому монетаризму, они, однако, не складываются в альтернативную ему сколько-нибудь целостную концепцию, даже узкоэкономическую, не говоря уже о чем-то большем.

Во-вторых, все подобные идеи рассчитаны на осуществление исключительно «сверху», по воле властей и силами одного лишь госаппарата. Но для этого как минимум нужно иметь другое государство, другую власть и другой аппарат. Ни аппарат, живущий своекорыстными корпоративно-частными интересами, ни правящая олигархия, выражающая эти интересы и не забывающая о собственном кармане, никогда не дадут ходу такой «корректировке», которая сужала бы для них возможности обогащения и вообще хоть в чем-либо противоречила их выгоде.

Значит, чтобы «корректировка» была серьезной и эффективной, она (как и сами реформы, конечно) должна проводиться при широком участии масс, под повседневным и действенным контролем «снизу». Но такой подход к делу совершенно чужд нашей политической «элите», его пока не обнаруживают ни Явлинский, ни Немцов, ни Лебедь, не говоря уже о ком-либо еще.

Сказанное позволяет сделать вывод, что и простая корректировкой правительственного курса, в каком бы варианте она ни предлагалась, теперь уже никак не обойдешься. Корректировать его надо было на старте. А нынче, когда результа-

том проведения такого курса в жизнь стала новая и по-своему законченная общественно-политическая система, любая корректировка, не посягающая на основы этой системы, не даст сколько-нибудь значительного улучшения. Конечно, она предпочтительнее тупой «последовательности» гайдаровского монетаризма, но, обреченная быть верхушечной и частичной, либо лишь ненадолго исправит положение, либо захлебнется вообще.

Что касается способности разбудить нашу спящую царевну Эволюцию, то от «корректировки» и предусматриваемого ею усиления административных воздействий на экономику ждать такого эффекта, пожалуй, еще труднее, чем от «продолжения курса реформ». Во всяком случае, никто из «корректировщиков» не попытался показать, как бы это могло стать возможным. Следовательно, и в результате «корректировки» мы будем, по выражению Твардовского, тащить лодку посуху? Невеселая перспектива.

Остается последнее — смена общественного строя. Как в Чехии, Венгрии, Польше, где следствием «бархатных» демократических революций стало возобновление динамичного эволюционного процесса, а с ним — появление ясной перспективы выйти из общего кризиса, в той или иной мере свойственного всем странам бывшего «соцлагеря».

Этот аспект темы требует особенно пристального внимания.

4

Смена общественного строя предполагает прежде всего ответ на два вопроса. Первый: что именно подлежит смене? Как определить ту общественную структуру, которая, по нашему мнению, ответственна за переживаемый страной кризис, не имеет внутренних сил с ним справиться и потому должна быть заменена какой-то другой? Второй: какой должна быть эта будущая, желаемая общественная структура, чтобы, напротив, обеспечить стране выход из кризиса?

Отвечая на первый вопрос, сегодня уже, пожалуй, нет нужды полемизировать с концепцией «переходного периода», суть которой в том, что, отчалив от коммунистического берега, российская действительность еще не пристала ни к какому другому, что она вся в движении и не может быть адекватно охарактеризована с помощью какого бы то ни было «изма». Если три-четыре года тому назад для такого суждения были какие-то основания, то нынче оно уже решительно устарело. Все основные черты нового общественного устройства в России приобрели отчетливость и определенность, и они вполне общеизвестны. Другое дело, что это оригинальное новообразование, не имевшее до сих пор аналогов в мировой истории, находится в теснейшей преемственной связи с советской системой. Это результат ее **перестройки** — в самом полном и точном значении слова. То есть такого ее изменения, вследствие которого светлое здание социализма (то самое, что строил брянский каменщик) приобрело совершенно новый вид и только фундамент его и основные несущие конструкции — положение человека в государстве, отношения между правящим слоем и общественным большинством — остались прежними. Будучи псевдорыночной и псевдомемократической модификацией «реального социализма» брежневского образца, этот новый (точнее, обновленный, изменивший свою внешность) строй поначалу действительно мог восприниматься как переходная ступень к чему-то иному и лучшему. Однако это такое же заблуждение, как то, какое все мы долго питали, полагая, что наш «развитой и зрелый» вот-вот «перерастет» в полный коммунизм. Нет, как тоталитарный социализм представлял собой отдельную, внутренне законченную структуру, так и новый российский строй, его модифицированное продолжение, существует сам по себе.

С нашей легкой руки, его теперь обычно именуют «номенклатурным капитализмом»¹. Указывая на происхождение этого очередного исторического уroda, совмещившего в себе некоторые внешние признаки современной цивилизации с архаической феодально-советской сословностью, такое парадоксальное, оксюморонное словосочетание, на мой взгляд, удачно передает его крайнюю противоречивость, неорганичность, которая едва ли обещает ему долгую жизнь.

Подробная характеристика «номенклатурного капитализма» выходит за рамки настоящей статьи. Остановлюсь лишь на двух его наиболее фундаментальных особенностях, тесно связанных между собою. Первая — отчетливо классовый ха-

¹ Впервые в моей статье «Две приватизации» («Новое время», 1994, №№ 20, 21) и в нашем диалоге с Григорием Водолозовым («Известия», 1994, 1 июня). Подробнее: Ю. Буртин. Новый строй. О номенклатурном капитализме. Москва - Харьков, 1995. Политические аспекты темы: Г. Водолозов. Дано иное. От номенклатурного социализма к номенклатурной демократии. Москва - Харьков, 1996.

рактер нового российского строя. Вторая — бьющая в глаза нелегитимность власти и собственности нынешнего привилегированного сословия.

Мысль о том, что человеческая история есть история борьбы классов, — один из краеугольных камней в марксизме. Нынче эта мысль решительно не в чести, и по вполне понятным причинам: тот эволюционный процесс, который, как уже говорилось, в XX веке кардинально изменил лицо капиталистического общества, превратил его не только в «богатое», но и в высокой степени однородное общество, без классического пролетариата, без резких имущественных контрастов и социальных антагонизмов. Тем самым указанный процесс все более сужал сферу действия марксистского классового подхода и к настоящему времени свел его почти на нет. Но, как и в вопросе об эволюции, «Запад есть Запад, Восток есть Восток»; то, что верно для современного капитализма, увы, не распространяется на «реальный социализм» и его «перестроенное» продолжение.

В том-то и суть, что вопреки общей тенденции мирового развития, с одной стороны, и марксистской идее построения бесклассового общества — с другой, советский социализм оказался в действительности ярко выраженным классовым обществом. Это всячески старались скрыть. И принятая схема социальной структуры: два дружественных класса (рабочие и крестьяне) плюс прослойка (интеллигенция), и постоянные разговоры о все более полном стирании различий между ними преследовали одну-единственную цель — увести общественное сознание от понимания того факта, что главный водораздел пролегает в данном обществе совсем иначе, оставляя по одну сторону от себя все названные слои, вместе взятые, а по другую — новый господствующий класс, партийно-советско-хозяйственную номенклатуру. Только это разделение, как показал еще сорок лет назад Милован Джилас, и имеет реальный экономический, социальный, политический смысл, и именно оно является основополагающим, системообразующим для тоталитарного социализма¹.

То, что «аппарату» и его верхушке — «руководителям партии и правительства», партийной олигархии — принадлежала вся полнота власти в «общенародном» социалистическом государстве, а у народа не было ни малейших возможностей повлиять на принятие решений, — истина, которую в нашей стране еще нет необходимости ни напоминать, ни доказывать. Почти столь же самоочевиден кастовый, классовый характер «общенародной социалистической собственности». Будучи государственной, она юридически действительно принадлежала обществу в целом, но фактически находилась в корпоративном владении той же номенклатуры, что четко выражалось в способе распределения национального дохода. Формально все мы, от уборщицы до главы правительства, находились в равном положении государственных служащих, черпавших средства к существованию из общего котла. Только ложки у всех были разные: у большинства с наперсток, у некоторых с чашку, а кое у кого и с ведро. Непропорционально большую часть национального дохода номенклатура забирала себе, распределяя ее между своими членами в строгом соответствии с должностной иерархией, другую часть она делила между всеми остальными, чей труд оплачивался намного ниже реальной стоимости их рабочей силы (это называлось «каждому по труду»).

В результате номенклатурное меньшинство властвовало над неноменклатурным большинством и жило за его счет. «Реальный социализм», таким образом, был в полном смысле слова эксплуататорским обществом. Анахронистическая, как бы выпавшая из потока времени социальная структура и система отношений этого общества, где между правящим слоем и основной массой населения возникла все углубляющаяся пропасть, превращала «соцлагерь» в своего рода остров (точнее, архипелаг) классовости, сословности, эксплуатации в современном, уже в общем постклассовом мире. Маркс, Энгельс, Ленин были бы потрясены, увидев, к какому парадоксальному результату привело осуществление их идей, какую злую шутку сыграла с ними история.

Теперь посмотрим, что со всем этим сделала «перестройка».

Правящий слой. Он претерпел существенные метаморфозы. Во-первых, произошла естественная смена поколений: старшее поколение аппаратчиков в значительной своей части сошло со сцены, уступив место среднему, которое, в свою очередь, очистило вакансии для молодых. Во-вторых, на протяжении последних десяти лет намного интенсивнее, чем раньше, шел процесс вертикальной мобильности, вследствие чего в состав правящего слоя вошло относительно большее число новых людей, в том числе молодых карьеристов от демдвижения (примеры общеизвестны). В-третьих, имело место качественное обновление руководящего слоя, исчезно-

¹ Несколько позднее, но независимо от Джиласа, тот же вывод сделал Твардовский, 11 февраля 1968 г., записавший в своем дневнике: «...все еще продолжается освобождение от иллюзий, от всяческой «мифологии». Грубо: все делимся на «аппарат» и «неаппарат». Первое довольно ясно прочерчивается, как говорят, второе много расплывчатее и зыбче» («Библиография», 1997, № 1, с. 134).

вение ряда прежних и возникновение новых социальных ролей. С поразительной легкостью секретари райкома и «красные директора» побросали партбилеты и как ни в чем не бывало предстали перед нами в обличье «демократических» депутатов и чиновников, губернаторов, коммерсантов и разномастной, плюралистической «политической элиты».

И все же, как ни важны эти перемены, основополагающим является тот факт, что правящий слой послевгустовской России сформировался в основном из прежней коммунистической номенклатуры, которая, по остроумному замечанию Л. Радзиховского, обменяла «Капитал» на капитал. Он был и остался, он не родился, а переродился. Пожалуй, это единственный в мировой истории случай, чтобы общественный класс практически в полном составе перешел в свою идеологическую противоположность столь быстро и дружно. И это лучше всего характеризует ограниченность «курса реформ», внутреннее родство нового российского строя с прежним.

Власть. Глубина изменений, происшедших в данной сфере, не поддается однозначной оценке. С одной стороны, перемены грандиозны: тоталитарная политическая система рухнула, сменившись совсем иной, оснащенной полным набором демократических институтов и форм (разделение властей, парламентаризм, многопартийность, гласность и т. п.). С другой стороны, если поставить вопрос о социальном содержании этой власти, об интересах, ею выражаемых, то получится, что никаких изменений вроде бы и нет. Та же номенклатура у федеральных и региональных рычагов управления (часто это и персонально те же лица), то же фактическое бесправие народа, головою отданного произволу чиновников, жестко отстраненного от какого-либо реального участия в определении собственной судьбы. Власть коррумпированного «аппарата» и криминализованного околоправительственного бизнеса, власть богатых и для богатых, почти не скрывающая своего социального эгоизма, на каждом шагу демонстрирующая кастовый, сословный смысл проводимой ею политики.

Такое противоречие формы и содержания неизбежно сказывается на качестве российской демократии: это — «номенклатурная демократия», демократия лишь для правящего меньшинства; не случайно с течением времени она становится все более формальной, авторитарной, олигархической, сужает рамки свободы слова и пр.

Собственность. Как уже говорилось, она претерпела чрезвычайно глубокие изменения, системообразующие для всей социально-экономической конструкции нового строя. Будучи анонимной и юридически никак не обоснованной, фактическая собственность советской номенклатуры на все, что было у нас государственным, могла в таком виде существовать, лишь охраняемая всей мощью тоталитарного государства. Стоило появиться первым признакам «гласности», а репрессивному аппарату ослабить свое давление, как она становилась непрочной, словно апрельский снег. В этих условиях несоответствие между юридической формой (общенародная собственность) и ее реальным наполнением (кастовая собственность номенклатуры) могло разрешиться, по-видимому, лишь двояким образом. Либо номинально общенародная собственность должна была стать таковой и фактически, либо, напротив, кастовое, номенклатурное владение государственным должно было быть легализовано, получить правовое оформление и закрепление.

Первый вариант означал на практике ликвидацию начальственных привилегий в оплате труда и вообще в распределении материальных благ. Если за этим последовала бы приватизация, все члены общества могли бы участвовать в ней на базе равных стартовых возможностей. Однако, будучи наиболее демократическим, справедливым и выгодным для общества, такой вариант развития событий был вовсе не выгоден правящему слою, который употребил все усилия, чтобы пустить процесс преобразования собственности в прямо противоположном направлении.

Выше, в разделе о «курсе реформ», я уже назвал два основных этапа этого процесса: раздачу объектов государственной собственности в «полное хозяйственное ведение» соответствующих начальников и «приватизацию» по А. Чубайсу. Не хочу повторяться, только еще раз зафиксирую смысл совершившейся перемены: в результате серии хитроумных комбинаций наше национальное достояние теперь уже открыто и на законном основании стало собственностью лишь части общества, его правящего слоя. С другой стороны, большинство населения не только де-факто, но и де-юре лишилось своей доли в национальном достоянии, притом навсегда. Во всяком случае, так хотела бы номенклатура, и об этом позаботились наши реформаторы, с блеском выполнившие ее социальный заказ.

Обогащение. Реформы Горбачева — Ельцина позволили правящему слою не только сохранить за собой власть и собственность, легализовав и упрочив его монополию на то и на другое, но и сделали его классом богатых. Стремительное обогащение «новых русских» на фоне глубокого и хронического спада почти во всех от-

раслях промышленного и сельскохозяйственного производства и вызванного этим обнищания большинства населения нуждается в объяснении.

Таким объяснением мне представляется совокупность следующих трех основных причин: 1) гигантское расширение для власти имущих объекта присвоения, 2) возможность продать за хорошие деньги то, что досталось даром, 3) устранение ограничительных норм номенклатурного распределения.

В самом деле. Отнюдь не увеличив общий объем национального достояния (совсем напротив!), описанные процессы преобразования собственности намного расширили, однако же, его распределяемую, доступную индивидуальному присвоению часть. Раньше, хотя номенклатура владела всем и вся, распределяла она как внутри себя, так и среди остального населения только определенную долю **продукта производства** (в денежном выражении — **национального дохода**). Средства производства разделу не подлежали. Правда, кое-что тащили пресловутые «несуны», но больше по мелочи. Перестройка позволила совершить в этом деле настоящую революцию. Основным предметом «полного хозяйственного ведения», а затем и «приватизации» стали как раз средства производства. Это был тот огромный промышленный потенциал, который за одиннадцать пятилеток был накоплен трудом и лишениями нескольких поколений. И это были уникальные по многообразию и богатству природные ресурсы самой обширной в мире страны. Все это обращалось теперь если не в полную собственность разного рода начальствующих лиц, то по крайней мере в источник их личных доходов. Ибо превратилось в **товар**: одно оказалось возможным сдать в аренду, другое просто продать, деньги же положить себе в карман, в том числе на личный счет в каком-нибудь швейцарском или лондонском банке.

Кстати, тотальный спад производства еще больше расширил объем ценностей, ставших объектом распределения среди нынешнего поколения номенклатуры: огромные массивы средств производства выпали из производительного использования, оправдывая и стимулируя их широкую распродажу. Если в развитых странах средства производства и сырье занимают в общем объеме продаж весьма скромное место, то у нас — преобладающее. Возросший экспорт сырья, топлива, цветных металлов, полуфабрикатов, ставших избыточными вследствие резкого сокращения внутреннего производительного потребления, — яркое проявление того же процесса.

Скажут: превращение средств производства и природных ресурсов в товар — вещь для рыночной экономики вполне нормальная, а торговля ими в развитых странах не более прибыльна, чем ботинками или духами. Почему же в России она должна была стать для целого социального слоя источником бурного обогащения? Потому, что тут одновременно действовал и второй из перечисленных факторов: новоявленные владельцы получили возможность продавать по рыночной стоимости то, на что в большинстве случаев не потратили ни копейки личных денег.

Вспомним, как осуществлялась у нас «приватизация». Как министерские чиновники и «красные директора» получали контрольные пакеты акций вверенных им предприятий — либо вовсе даром, либо по ничтожной остаточной стоимости, которая была в сотни и тысячи раз меньше реальной, да и она оплачивалась не из зарплаты покупателей, а из средств предприятий. Вспомним также унаследованную от «реального социализма» бесплатность земли, полезных ископаемых и других природных ресурсов, что автоматически обеспечивало соответствующим коммерческим структурам сверхвысокий уровень рентабельности, от которого, однако же, государство ничего не имеет.

Красноречивый пример — «Газпром», 35 процентов акций которого переданы правительством в «доверительное управление» одному человеку — президенту концерна. Если учесть, что стоимость «Газпрома» оценивается примерно в 700 миллиардов долларов и, по свидетельству Г. Явлинского и Б. Немцова, почти никаких дивидендов он государству до сих пор не выплачивал, легко себе представить весомость полученного Р. Вяхиревым подарка. Равно как и весомость той доли, которая, вероятно, уже осела на личных счетах самих его высоких дарителей.

И, наконец, третий фактор — снятие всех ограничений, которые накладывал на личное обогащение должностных лиц прежний номенклатурный порядок распределения. Раньше партийная олигархия, так сказать, кормила номенклатуру из собственных рук, строго соблюдая при этом должностной, иерархический принцип: чиновники одного ранга имели одинаковый уровень благосостояния и привилегий; кто прихватывал лишнее, рисковал потерять все. Теперь эта досадная уравниловка отброшена, кто смел, тот и съел. А поскольку ни с каким серьезным риском такая «смелость», даже откровенно криминальная, нынче уже не связана, то в сочетании с вышеизложенным мы получаем комплексное (хотя и не исчерпывающее, конечно) объяснение тому, каким образом московские улицы наполнились дорогими иномарками, а зеленая зона вокруг столицы — роскошными виллами и дворцами.

Эксплуатация. Ее степень за последние годы существенно возросла, а характер изменился: свойственная «реальному социализму» исключительно коллективная, корпоративная эксплуатация правящим слоем основных слоев населения сохранилась и даже усилилась (например, через налогообложение и оставление бюджетников без зарплаты), но теперь она дополнена и тем, что буквально соответствует старому термину «эксплуатация человека человеком». Распространенным явлением стала, к примеру, ситуация, когда директор завода назначает себе и своим приближенным многомиллионные зарплаты и премии, а остальному персоналу приходится довольствоваться самым скудным минимумом. Резко усилившаяся безработица, во многих местах приобретающая массовый и безнадежный характер, заставляет людей терпеть любой произвол со стороны администрации: обязательные сверхурочные, работу без выходных, ухудшение условий труда, оплату его различными заместителями денег и т. п. Бесправие и угнетение рядового работника, унижение его достоинства, незаинтересованность в его опыте, знаниях и способностях, овладевшее миллионами людей горькое сознание своей невостребованности и ненужности — все это в сочетании с вседозволенностью нынешних «боссов», наглостью и хамством их охраны и obsługi сделало положение простого человека в новой России еще более печальным и беспросветным, чем в советские годы.

Итак, в лице «номенклатурного капитализма» мы имеем дело с новым классовым обществом. Будучи в этом отношении прямым наследником советского строя, оно отличается лишь еще большей выраженностью и остротой социальных контрастов и противоречий, что делает его в современном мире прямо-таки осямым чудом света. Непригодный для жизни, не заключающий в себе ничего, кроме наследственных и приобретенных пороков, «номенклатурный капитализм» годится только на снос и, значит, подлежит обязательному превращению в нечто кардинально от него отличное.

Важным дополнительным аргументом в пользу такого вывода является все явственнее ощущаемая нелегитимность власти и собственности нынешнего правящего слоя, роковое отсутствие у него сколько-нибудь правдоподобной идеологической «легенды», которая бы утверждала и оправдывала существующий порядок вещей.

5

Ни при какой из прежних общественных систем господствующий класс не обходился без такой легенды, удостоверявшей его особые права и привилегии, более или менее убедительной не только для него самого, но и для общества в целом. Имел ее и античный рабовладельческий мир, и феодальное (в России — крепостническое) дворянство, убежденное, что оно цвет нации, что право владеть землей и землепашцами полагается ему, как военному сословию, в награду за его заслуги перед государством.

Я — опора трона;
Царству оборона —
Мой дворянский меч,—

горделиво заявляет маркиз де Караба из стихотворения Беранже в переводе В. Курочкина.

Свои исключительные заслуги и достоинства — жизнеустроителей, рачительных и умелых хозяев, благотворителей, двигателей прогресса — с еще большими основаниями доказывала буржуазия, мотивируя свое руководящее положение в обществе. Взять хотя бы яркое самовосхваление русского купечества в речи Якова Маякина из романа Горького «Фома Гордеев», кончавшейся здравницей: «Господа купечество! Видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои, видя в вас людей, которые все сделали и все могут сделать, — вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью к вам поднимаю этот свой полный бокал за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество... Здравствуйте во славу матери России!»

Сильно сказано, не правда ли? Но по крайней мере не меньше убеждены были в своей исторической правоте и люди, которым суждено было стать «могильщиками буржуазии». Достаточно вспомнить, какой грозной, неотразимой, сокрушительной силой гремел «Интернационал», утверждая и освящая права революционного пролетариата:

Лишь мы, работники всемирной,
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
А паразиты — никогда.

Потом пролетарский гимн потихоньку вывели из повседневного употребления, и последней из доперестроечных классовых «легенд» стала идеология, призванная

мотивировать «руководящую роль КПСС», то есть особое положение партийно-советской номенклатуры.

Творцы и пропагандисты этой последней легенды не могли называть вещи своими именами, не могли признать, что в «обществе социального равенства и справедливости» оправдывают привилегии бюрократии, ее власть над всеми остальными классами, в том числе и над «гегемоном», от чьего имени они и правили страной. Потребовалось немалое искусство (его назвали «искусством социалистического реализма»), чтобы поддерживать хоть какую-нибудь видимость правдоподобия того, что прямо противоречило жизненному опыту советских людей. И надо отдать должное агитпропу и руководимой им армии журналистов, писателей, обществоведов, школьных учителей: они справились со своей головоломной задачей так хорошо, как это только было возможно.

На высказанный и невысказанный вопрос общества, почему у нас всем и вся распоряжается бюрократия, был найден вполне логичный ответ: потому что народ доверил им власть, потому что это лучшие люди страны, самые нравственные, самые идейные, самые бескорыстные. В доказательство писались романы и поэмы, многие поколения десятиклассников и абитуриентов знали, что в числе экзаменационных тем обязательно будет «Образ коммуниста в...». И выстреливали не задумываясь: «Партия — наш рулевой», «Руководитель и организатор всех наших побед», «Ум, честь и совесть нашей эпохи»... Привилегии? У коммуниста нет никаких привилегий, кроме права умереть за дело коммунизма, первым поднимаясь в атаку или ежедневно и еженощно сгорая на работе. Ну а если ему под утро подают машину к райкому — можно ли считать привилегией такую малость?

Словом, в частичную параллель с апологией дворянства и буржуазии господство номенклатуры обосновывалось с помощью идеи некоей коммунистической меритократии (власти достойнейших). Конечно, чем дальше отодвигалась в прошлое эпоха Давыдовых и Корчагиных и чем труднее было идентифицировать с ними бесцветных и коррумпированных брежневских аппаратчиков, тем сильнее от всего этого несло тошнотворной фальшью. То, что в реальности было властью худших (а именно таков был итог той отрицательной селекции, к которой сводилась кадровая политика ЦК КПСС), все сложнее было выдавать за власть лучших. И тем не менее какую-то долю легитимности в глазах населения эта власть сохраняла — отчасти по традиции, отчасти опираясь на некоторые несомненные реалии (победа в Отечественной войне, успехи в космосе, индустриальная и военная мощь ракетно-ядерной сверхдержавы, простиравшей свое влияние на полмира).

На таком дальнем и ближнем историческом фоне правящий слой новой России оказался идеологически в самой невыигрышной ситуации. Правовая и моральная легитимность его привилегированного положения находится, можно сказать, на нуле. Силой и хитростью удержав власть, бывшая партноменклатура, однако же, сама лишила ее каких бы то ни было, даже мнимых оснований. Прежде она могла хотя бы ссылаться на то, что руководит строительством коммунизма. А что теперь? От коммунизма и «руководящей роли КПСС» она отреклась, сверхдержаву развалила, индустрию и армию разрушила, науку, культуру, здравоохранение пустила по миру, а что, кроме собственных шикарных дач, сумела создать? То есть прежнюю легитимность своей власти, хоть и весьма сомнительную, она собственными руками аннулировала, новой же не приобрела и не способна приобрести.

В этих обстоятельствах, кажется, единственный внятный аргумент, который наша номенклатура может предложить в обоснование своего продолжающегося господства, состоит в указании на особую ценность опытных кадров, профессионалов управления. Что ж, нельзя исключать, что, например, среди нынешних хозяйственников есть люди честные и бескорыстные, а иногда встречаются и поистине талантливые организаторы производства. Но ведь таких единицы. В основном же опыт наших начальников — это искусство обходить закон, опыт самоснабжения, коррупции, устройства личного благополучия за чужой счет. Это опыт людей, под чьим руководством страна десятилетиями топталась на месте, сползала в зависимость и отсталость, гнила изнутри, а теперь и вовсе находится в состоянии разрухи и распада. Такой опыт — величина по преимуществу отрицательная, так что спаси, боже, от подобных «опытных кадров»!

Феномен смены общественного строя без смены правящего слоя, реализовавшийся в нашей стране на протяжении последнего десятилетия, давно нуждается в осмыслении, политической и нравственной оценке. Если слой коммунистических партаппаратчиков, отбросив идею коммунизма, остался господствующим сословием в идеологически противоположном, псевдокапиталистическом мире, то давайте называть вещи своими именами: это значит, что страна живет под властью оборотней, перевертышей, людей законченно бессовестных и беспринципных. Такая власть, даже если она воспроизводится с использованием демократических процедур, заведомо неавторитетна и нелегитимна. Еще в большей степени это относится к собственности нынешних хозяев жизни.

Независимо от своих конкретных индивидуальных источников, иные из которых могут быть вполне чистыми, взятое в целом богатство «новых русских» глубоко сомнительно в своем происхождении. Если в условиях органического развития капитализма буржуазное накопление было неотделимо от трудолюбия, бережливости, честности и других «мещанских добродетелей» (и служило убедительным доводом в их пользу), то каким уважением может пользоваться богатство людей, на которых оно свалилось с неба?

Задним числом сейчас нередко приходится слышать о многочисленных злоупотреблениях при проведении «приватизации». Некоторые законники, типа В. Илюхина, сильно кипятятся по этому поводу, требуют расследования, аннулирования незаконных сделок и наказания виновных. Их принципиальность заслуживала бы всяческой похвалы, если бы не способствовала распространению официального мифа, согласно которому все зло в данной области состоит не в самом законе, а только в его нарушениях. Увы, дело обстоит гораздо хуже. Ибо главный-то вопрос стоит так: хотя «капитализация» советского правящего слоя, то есть закрепление за ним огромных массивов государственной собственности, совершилась в основном в соответствии с буквой принятых по сему случаю нормативных актов, можно ли считать сами эти акты законными, отвечающими духу права?

Никоим образом. Ведь предметом «полного хозяйственного ведения» должностных лиц, а затем и начальной «приватизации» стала собственность, которая до той поры считалась общественной. Пусть реально ею владела номенклатура, но это владение было, во-первых, исключительно корпоративным, а во-вторых, общественно не признанным. Ни один, даже самый высокопоставленный начальник не мог указать, например, на какую-нибудь фабрику и сказать: это мое. А теперь, как правило, не заплатив из своего кармана ни копейки, он получил такую возможность. Легализовав таким образом номенклатурную узурпацию собственности, «подарив» одной, притом меньшей, части населения то, что было создано всеми, номенклатурное государство явно превысило свои полномочия. Не будучи собственником национального достояния, а всего лишь приказчиком, которому общество поручило вести свои имущественные дела, оно не имело никакого права, не спросив у нас с вами, превращать это достояние в личную собственность своих фаворитов — узкого круга должностных лиц. Сделав это, оно совершило — будем называть вещи своими именами — преступление. Знает его за собой и, чтобы скрыть, вынуждено идти на новые мошеннические дела (вроде операции с ваучерами) и окружать все, что касается отношений собственности, плотной завесой тайны. Однако туман рассеивается, и при свете дня люди все яснее видят незаконность большей части нынешнего богатства, тем более что оно возникло не где-то там во глубине веков, а отнято непосредственно у них самих.

Притом, если бы обогащение «новых русских» служило экономическому росту, тогда с течением времени все большая часть населения была бы готова закрыть глаза на моральную и правовую сомнительность их состояний. Дескать, Бог с вами, наживайтесь, пусть даже и за наш счет, лишь бы с выгодой для России, с пользой для будущего наших детей и внуков. Так ведь нет этого, как нет и никакого движения в указанную сторону. Одно из главных свойств «номенклатурного капитализма» — его преимущественно непродуцирующий, потребляющий характер. Вместо того чтобы созидать, он в основном расхищает, вместо того чтобы накапливать индустриальный и духовный потенциал страны, распродает и проматывает ее природные богатства. Лишая Россию будущего, предопределяя ей судьбу отсталой, зависимой, сырьевой страны, он объективно выступает в реакционной и антинациональной роли.

Жульническая ловкость, с какой «перестроившийся» правящий слой ухитрился захватить наиболее крупные и лакомые куски «общенародной собственности», оставив большинство населения ни с чем, — вот истинная морально-правовая (аморальная и антиправовая) основа нового российского строя, куда более важная и определяющая, нежели ельцинская конституция. Отсюда — все главные качества этого строя и прежде всего его сверхобычная, всеобъемлющая криминальность.

Криминальный элемент существует, вероятно, в любом обществе. В более узком плане, в виде коррупции он является универсальной принадлежностью бюрократических структур (вспомним хоть гоголевского «Ревизора»). Но с «номенклатурным капитализмом» случай особый. Криминал здесь не «недостаток» и даже не просто свойство данной общественной системы, но ее природа, ее суть. Украд государственную собственность у народа, одарив ею номенклатуру и таким способом ее подкупив, ельцинское руководство показало пример грабежа и коррупции в столь гигантских масштабах, что на этом фоне любой взяточник и грабитель может считать себя ангелом во плоти. Поэтому, когда у нас время от времени начинают «бороться с коррупцией», это воспринимается как надоевшее лицемерие. Ибо речь идет о системе, которую люди самых разных взглядов теперь уже привычно

ют то «криминально-бюрократической», то «мафиозно-олигархической», то «клептократией» (властью воров). Последнее определение звучало, в частности, на слушаниях в американском конгрессе. О системе, которая не только в тех или иных проявлениях, но в самой основе своей противозаконна, криминальна.

Анахронистичное классовое общество с резкой социальной поляризацией, ограблением и грубым обманом масс в основании «молодой российской демократии» — вот что такое «номенклатурный капитализм», юный и дряхлый одновременно. Юный — потому что ему нет еще и семи лет от роду, дряхлый — потому что в общем итоге ему уже восемьдесят, и он в очевидном маразме. И вот почему он должен подлежать не «корректировке», а замене.

6

Однако замене чем? Куда, в каком направлении уходить России из тупика ее нынешнего общественного устройства?

Идею восстановления «реального социализма», советской власти, СССР, доперестроечной действительности приходится отвергнуть с порога, как бредовую и пустую. Выступать с ней открыто решаются нынче лишь совсем отчаянные головы типа Виктора Анпилова, для которых чем сногшибательнее, тем лучше. У «коммунистов» основного, зюгановского толка, чья программа представляет собой окрошку из взаимоисключающих, на любой вкус, политических демагогий, та же идея маячит гораздо более смутно — то ли она есть, то ли ее нет.

И нетрудно догадаться — почему. Во-первых, мало кто не отдает себе отчета в том, что история не имеет обратного хода. Ну-ка загони сегодня кого-нибудь на еженедельные политзанятия, выгони на картошку или к 123-му столбу на Ленинском проспекте изображать радость москвичей по случаю приезда какого-нибудь высокого гостя! Ну-ка убери с прилавков импортную провизию и тряпки, с телеэкранов «Санта-Барбару» и зарубежные детективы, а из газет — разномыслие и критику властей! Ну-ка заставь в обязательном порядке ходить на выборы и голосовать за единственного, утвержденного в ЦК кандидата!.. Из всего этого уже просто ничего не получится, было, да сплыло.

А ведь унифицированная пресса, закрытая граница, безальтернативные выборы и т. п. — все это отнюдь не случайные черты прежней действительности. Без них она — как система, как целое — была бы просто немыслима.

Во-вторых, даже если бы чудо возврата могло состояться, какой смысл для общества возвращаться туда, откуда оно в свое время выбиралось, как из гиблого места? Зачем вместо поисков выхода из кризиса менять новый кризис на старый? Тем более что нынче этот старый кризис оказался бы многократно тяжелее. Если и раньше социалистическая экономика двигалась с ужасным скрипом, то теперь, когда ее техническая база подорвана, кадры растеряны, а казна богата только долгами, попытка вернуться к командно-административной системе, то есть снять с предприятий ответственность за их выживание и переложить ее на государство, означала бы немедленный и всеобщий хозяйственный коллапс и крах.

Наконец, в-третьих, и само желание возврата под большим вопросом. Даже многие из тех, кто сейчас доведен до нищеты и отчаяния, отнюдь не обязательно привержены идеологии реставрации (или легко отказались бы от нее, если бы увидели иной выход). Что касается лидеров коммунистической «оппозиции», то на самом деле они отнюдь не помышляют о «возврате», ибо прекрасно устроились в новой действительности, входят в правящую олигархию и, как вся она, заинтересованы в сохранении статус-кво. Это, понятно, не исключает желания каждого из этих товарищей достигнуть еще большего, но мечтать о том, чтобы лишиться нынешних экстраординарных возможностей обогащения, своими руками посадить себя и своих братьев по классу на прежний, строго нормированный номенклатурный «паек» — извините! Ни сам Зюганов не хочет этого для себя, ни его коллеги ни за что не позволили бы ему подложить им такую свинью. Так что идея «возврата» — это в устах нынешних политиков — чисто демагогический мотив, предназначенный исключительно для «быдла», рассчитанный не на практическое осуществление, а лишь на то, чтобы заставить массовое сознание ходить по кругу, путаться в трех соснах, выбирать между разноцветными пропагандистскими пустышками по принципу «меньшего зла».

Два слова о «возврате» еще более глубоко — в ту «Россию, которую мы потеряли». Подобные мечтания время от времени появляются на нынешнем рынке идей, но теперь уже заметно реже, чем четыре-пять лет назад, и они всегда крайне фрагментарны. Из общей картины дореволюционной действительности выхватывается и примеривается на современную Россию какая-нибудь историческая деталь, пусть важная (вроде земства, монархии или казацких мушкетеров), но не существующая вне целого, а потому приобретающая характер бутафории, музейного экспона-

та. Если произведения подобного консервативного романтизма и имеют какое-то значение, то исключительно эстетическое.

Другое дело, что обе реставраторские идеи, как советская, так и антисоветская, будучи в практическом плане вполне бессодержательными, весьма знаменательны как явление социальной психологии, как отражение того факта, что миллионы людей стали жить хуже, чем раньше, потеряли почву под ногами, впали в неизбывную нищету. Нельзя исключать в современных ностальгических умонастроениях и мотивов иного порядка, обусловленных утратой жизненно важных духовных ценностей. В их числе — обесцененные и отвергнутые идеологией официального либерализма принципы социальной справедливости и равенства, чувства коллективизма и гражданского долга, гордость своими трудовыми (а у старшего поколения и фронтовыми) заслугами, своей причастностью к ярким страницам в истории страны. В таком случае их можно рассматривать и как указание на некую живую общественную потребность.

7

Вопрос о желательности перехода от «номенклатурного» капитализма к нормальному едва ли можно считать дискуссионным. Никакие критики капитализма, чьи резоны здесь и там нередко весьма серьезные, не оспаривают тот факт, что по всем, без исключения, показателям уровня и качества жизни «реальный социализм» и его «перестроенное» продолжение катастрофически проигрывают нынешнему западному обществу. Значит, желательность налицо, была бы возможность.

К сожалению, приходится признать, что возможность указанного превращения — сегодня и в обозримом будущем практически нулевая. Вопреки представлениям гайдаровцев, что они-таки построили капитализм, хотя и несовершенный, «дикий», мафиозный, который теперь остается лишь улучшить, облагородить и который, при всех его пороках, представляет собой необходимую ступень к нормальному капиталистическому обществу, соотношение этих двух типов общественного устройства совершенно иное. Ведь слова «номенклатурный капитализм» не более чем метафора. В сущности, это вовсе не капитализм, а особая, коммерциализированная перелицовка «реального социализма». Тот и другой смотрят в разные стороны, и от первого ко второму не ведет, по крайней мере непосредственно, никаких дорог.

Главный барьер между ними лежит опять-таки в сфере собственности.

Капитализм — царство частной собственности. Она может быть индивидуальной или групповой, персональной или анонимной (как в крупных акционерных обществах) — это не меняет ее существа. Что касается «номенклатурного капитализма», то, как уже говорилось, в нем господствует принципиально иной вид собственности. Ее называют «приватизированной», что по смыслу слова является синонимом «частной», однако она представляет собой вполне оригинальное явление и по ряду существенных признаков совершенно ей противоположна.

Начать с того, что нормальная частная собственность носит производительный, созидательный характер. Частным здесь является не только присвоение собственности, но и ее производство, одно вытекает из другого и целиком им определяется: нельзя присвоить больше, чем сам же произведешь. Более того: нормой является преобладание производства над присвоением, то есть накопление, создающее основу для расширенного воспроизводства. У нас же все иначе. Частный принцип действует здесь в основном в сфере присвоения, которое отнюдь не лимитировано производством. Предметом частного номенклатурного присвоения сплошь и рядом оказывается стоимость, в создании которой соответствующие лица не принимали никакого или почти никакого участия: производительные силы, накопленные трудом и лишениями многих поколений, богатства российских недр, бюджетные средства. Подобное частное присвоение общественного не только социально несправедливо, но и разрушительно для страны, ведет к расхищению, проматыванию ее экономического потенциала. Однако оно выгодно правящему слою, и отказаться от этой выгоды он, естественно, не захочет.

Далее. Полноценная частная собственность сопряжена с ответственностью. Степень доходности такой собственности и само обладание ею напрямую связаны с эффективностью ее производительного использования. У нерадивого хозяина она неизбежно уплывает из рук, заставляя его всем своим имуществом отвечать за собственную неумелость. Что касается нынешнего российского собственника, то, питаемое вышеназванными источниками, его богатство, как правило, вовсе не зависит от успехов его хозяйственной деятельности. Заводы стоят — директорские дачи растут как грибы. Освобожденные от ответственности и риска владельцы подобной «частной собственности за общественный счет» рассуждают просто: на наш век хватит, а после нас хоть потоп. И понятно, что они будут всеми мерами противиться изменению такого порядка вещей.

Далее. Капиталистическая частная собственность универсальна, она проникает во все поры общества. В том или ином аспекте она является достоянием всех — будь то хотя бы собственность на свою рабочую силу, на свои интеллектуальные способности, на свое жилище и т. д. «Приватизированная» собственность — достояние немногих. Как и ее предшественница, корпоративная собственность советского правящего слоя, она представляет собой сословную привилегию и очень дорожит этим своим анахронистическим феодальным статусом. Принцип капитализма — равенство стартовых возможностей для каждого; принцип «номенклатурного капитализма» — гони в шею! только для власть имущих! посторонним вход запрещен! Так что и в данном отношении современный капитализм и новый российский строй не просто далеки друг от друга: они антонимы.

И последнее. Основанная на упомянутых «мещанских добродетелях», капиталистическая частная собственность, в том числе собственность на землю и недвижимость, на орудия и продукт труда, практически ни у кого не вызывает сомнений в своей правовой и моральной легитимности. Правда, за пятьсот лет существования буржуазного общества бывало в этом смысле всякое, достаточно вспомнить знаменитую фразу Прудона: «Собственность есть кража». Но даже на гребне поднимавшихся время от времени антибуржуазных волн такое отношение к частной собственности всегда разделялось лишь меньшинством населения. Что касается собственности наших «новых русских», то в массе своей она действительно украдена у нас с вами (хотя бы и в полном соответствии с буквой закона). Сами грабители это прекрасно понимают, почему и не считают за грех устраивать между собой кровавые «разборки» с целью передела доставшейся им добычи. У остальной части общества тем более нет оснований относиться к такой собственности хоть с какой-то долей уважения.

Как же, спрашивается, совершить превращение паразитической собственности в производительную, безответственной в ответственную, кастовой в общедоступную, пиратской в доброкачественную и честную? Как осуществить все это в условиях, когда правящий слой заинтересован в прямо противоположном? И как добиться того, чтобы вопреки всему, что известно о происхождении такой собственности, люди, у которых ее отняли, признали ее легитимность?

Боюсь, что это совершенно невозможно не только теперь, но и в обозримом будущем.

Да и не в одной собственности дело. Она, конечно, ключевой пункт, но переход от «номенклатурного капитализма» к собственно капитализму наталкивается и на множество других препятствий, совокупность которых легче всего определить с помощью понятия «цивилизации». Ведь капитализм, в том числе наиболее близкий нам европейский, — это не просто способ организации экономической и политической жизни, но именно цивилизация, складывавшаяся веками. Это определенный (хотя и внутренне многообразный, конечно) тип человеческой личности. Это философия индивидуализма, позитивизма и прагматизма, уравновешенная христианскими заповедями. Это, повторю еще раз, этика трудолюбия, бережливости, честности, самостоятельности, инициативы. Это нарастающая пласт за пластом великая европейская культура. Без всего перечисленного так же нет капитализма, как без наемного труда и рыночной конкуренции, притом все его свойства находятся в нерасторжимом единстве между собою.

В свою очередь, «реальный социализм», просуществовав в условиях замкнутости 70 лет, также приобрел черты особой цивилизации. Здесь тоже (да еще больше, чем у неорганизованных западных соседей) все было пригнано одно к одному: и система хозяйствования, функционировавшая по типу единой фабрики, и государственный строй, и идеология, и особый тип личности («советский человек»), целеустремленно вылепленный и консервируемый однонаправленными усилиями унифицированной печати, школы, комсомола, КГБ, искусства «социалистического реализма» и пр.

«Советский человек» — пожалуй, не меньшая преграда к осуществлению надежд на создание (или воссоздание) российского капитализма, чем словесные интересы номенклатуры и продиктованное ими направление «курса реформ». Можно сколько угодно называть наших соотечественников «совками», стыдить их, что они «не выдержали испытания свободой», что вместо опоры на личную волю, энергию, предприимчивость они по привычке ждут помощи и защиты у государства, — морализаторством делу не поможешь, тем более что оно лишь отчасти справедливо.

Во-первых, где в нынешней России вы видите свободу? Вместо свободного соревнования на базе равных возможностей — все возможности одним, «обновленному» правящему слою, который руками собственного номенклатурного государства сам себе вручил ключи от всех кладовых, не оставив представителям социальных низов практически никаких шансов конкурировать с собою. Во-вторых, даже если бы стартовые возможности для всех оказались равными, люди не виноваты, что к

такому соревнованию они в массе своей не имели ни способностей, ни охоты. Ведь они и сами выросли, и вырастили не только детей, но и внуков в обществе, где конкуренции почти не было и только партийные карьеристы втихомолку работали локтями в стремлении как можно выше подняться по лестнице чинов. Впоследствии этот опыт придется им весьма кстати, но осуждать ли всех остальных за отсутствие стремления к подобному «росту»?

Впрочем, разве в оценках суть? Важнее как следует уяснить себе самый факт: существенное несходство «советского человека» с тем типом личности, который воспитала и на котором зиждется «буржуазная» цивилизация. Можно по-разному оценивать нравственно-психологическое наследие советской истории, превозносить его или отвергать, но с ним нельзя не считаться. «Мы почему, Иван, такие-то?» — горестно спрашивает один из персонажей в повести Валентина Распутина «Пожар». Как бы ни отвечать на этот вопрос, всего важнее сейчас констатация, в нем самом заключенная: да, мы такие, какие мы есть, какими нас вылепила наша история. И именно таким, каковы мы есть сегодня, нам приходится «выходить из кризиса», думать о коренном изменении общественного строя, заново решать свою историческую судьбу.

«Человеческий фактор» в истории столь же объективен, как, например, уровень развития техники. Отдав себе в этом отчет, мы с особой ясностью увидим, сколь глубока пропасть, разделяющая нынешний российский строй с нормальным современным капитализмом. Поскольку капитализм — явление органическое, его совершенно невозможно «ввести», «построить», тем более в такой огромной стране. Он может только вырасти, как дерево из семени, в процессе более или менее длительного эволюционного развития. Так было на Западе, так было в дооктябрьской России. И там, и здесь для формирования капитализма и его перехода из одной стадии развития в другую требовалось не только время, но и наличие динамичного эволюционного процесса. Но в том и беда — и с нее мы начали, — что этого последнего условия существующий строй как раз и не в состоянии обеспечить.

Получается замкнутый круг: о смене «номенклатурного» капитализма настоящим так же невозможно помышлять всерьез, как и о возврате в советское или досоветское прошлое. Что же остается? Ведь мы перебрали, кажется, все мыслимые возможности «выхода из кризиса» — как в рамках нынешней общественной структуры, так и при готовности выйти за эти рамки. Все рассмотренные варианты оказались пусть не без каких-то крупиц «рационального зерна», но в целом почти одинаково нереалистичными и бесперспективными. Глухая стена, тупик. Этот теоретический тупик, это отсутствие в современном российском сознании не то что целостной, всесторонне проработанной программы развития страны, но хоть чего-нибудь, кроме общего пессимизма и раздражения, разрозненных благих пожеланий и частных, заведомо паллиативных стабилизирующих мер, — одно из важнейших изменений переживаемой нами катастрофы.

Лишь в полной мере осознав вышеизложенное, лишь освободившись от расхожих, но бесплодных иллюзий, лишь обретя способность без предвзятости воспринять любую конструктивную идею, сколь бы далеко ни отстояла она от господствующих представлений, от интеллектуальной моды, люди смогут понять, что выход все-таки есть и находится там, где им только что виделась та самая стена. Такой — похоже, единственно благоприятный — выход указывает, на мой взгляд, теория конвергенции (то есть взаимодействия и взаимосближения) социализма с капитализмом, если рассматривать ее в интерпретации А. Д. Сахарова и в том специфическом преломлении, которое диктуется особенностями современной ситуации в России.

Но это уже предмет другой статьи.



Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

Среди рам и картин

Иногда одолевает усталость. Хочется вдруг укрыться и от политических новостей, очень смахивающих на небылицы, и от небылиц, старающихся притвориться политическими новостями, искать заступничества, убежища. «О, дайте мне маску!..» – как написал английский классик.

В данном случае ходатайство, поддержка тем более необходимы, ибо материал статьи – изобразительное искусство – заведомо сопротивляется слову. Игра цветом и формами отлична от словесной игры. Одна из слабых возможностей – увеличить пробелы между словами, немотой печатного поля уравновесить немоту живописную, многозначность изображения представить монтажом фрагментов текста, определенность оценок заменить указанием на обстоятельства и декорации, в которых находится наблюдатель.

Подобный прием виртуозно использован В. В. Розановым. Копировать его нельзя, да и нет нужды, особенно когда мода на Розанова, нахлынув, совсем отошла. Мое подражание чуть пародийное. В конце века – пародия все и вся. А розановский стиль, с излюбленными кавычками и курсивами, берущими под сомнение, подчеркивающими главное, возражающими, и ненароком насмешлив. Проще представить, что это сочинение целиком взято в кавычки и заодно выделено курсивом.

Равно надо помнить: книги здесь не предмет рассмотрения, а повод для беседы.

Евгений КОВТУН. РУССКИЙ АВАНГАРД 1920-х – 1930-х ГОДОВ.

Из собрания Государственного Русского музея,

Санкт-Петербург. СПб., «Аврора», Борнемут, «Паркстоун», [б. г.].

Рассказанное о Юрии Анненкове имеет значение вовсе не частное: «Горького портрет начал и не кончил». Далее следует примечание автора дневника: «Он сделал только половину лица, левую щеку, а правую оставил «так», ибо не пришел на сеанс». Разве это не закономерность, обрядившаяся случайностью? С Немировичем-Данченко договорился о сеансе, даже точные сроки назначил и не появился. Характер ли Юрия Анненкова тому виной? Проблема недовершенности тяготеет над всем русским авангардом.

(читая «Дневник» К. Чуковского за 1921 год)

Могущее показаться курьезом, по меньшей мере выступить в качестве ошибки, упущения, по сути делается опознавательным знаком такого рода искусства. Его движущей силой, его особой прелестью. В портрете В. Каменского работы самого известного Бурлюка вокруг светлой головы поэта-летчика изображен нимб, на котором начертано словечко – песе боец. Именно так, с пропуском посередине. Автор альбома делает конъектуру, и зря, словечко, состоящее из двух свободных половинок, о знаменитом выражении «песнебоец» напоминает очень отдаленно. Написано что написано и воспринимается художественным приемом, чуть ли не изыском. Вариация на ту же тему.

Почти формула «Авангард, остановленный на бегу» (выпущен даже странно-ватый альбом под этим названием. Кто знает, в каком году, год не обозначен).

Есть оценка художественного авангарда, правда, не русского, а мирового, с точки зрения психиатра. «Живопись полностью подчинилась духу разложения, одновременно провозглашая новую концепцию красоты и находя удовлетворение в

отрицания любого смысла, любого чувства». К этому К. Г. Юнг добавляет: чувствовать себя метлой, подгребающей в угол мусор прошлого, приятно.

Представив неопрятность и разор, которые художники создают, допустимо применить сравнение и к тем, кто курирует государственное спокойствие: им так же приятно чувствовать себя метлой, подгребающей мусор, быть половой тряпкой, бьющей по мордасам возомнивших себя гениями. Юнг подобного оборота не учел. Он говорил лишь о художниках. Видел последствия, рождаемые духом разложения и новой красоты. Зритель обойден, обобран современным искусством. Тут и кроется опасность. Не находя искомого, то бишь внятного, зритель недоумеает. Но включается бессознательное, оно действует интенсивнее, актуализуется, воплощается в твердые и четкие формы.

Своеобразное высокомерие современного творца, желание унижить зрителя, отвергнуть и понимание, и сочувствие. Совсем недавно И. П. Смирнов оценил это как тоталитаризм, узурпацию. Узурпацию власти над миром (идеология), власти над символами (государство), власти над знаками (художники, в шестидесятых – семидесятых годах семиотики, и французские, и тартусско-московской школы). Знак для них должен обозначать то, что надо на данный момент. По Смирнову, черный квадрат – знак без значения.

Между тем подобное утверждение ошибочно. «Носите черный квадрат как знак мировой экономии. Чертите в ваших мастерских красный квадрат как знак мировой революции искусств», – читаем в пояснительном тексте к альбому.

(разглядывая аптечную вывеску)

В авангарде поражает скрупулезная разработанность понятий и дефиниций. При желании разглядишь огромную, на полные обороты работающую канцелярию, художественный бюрократизм, чающий государственности. Авангард никто не останавливал (о том говорится в книге В. Паперного «Культура Два»). Порою движение захватывало тех, кто к подобному маршу, кажется, совершенно не предрасположен. А ведь отчаивались от собственной ограниченности, мешающей спешить вместе с другими. «И разве я не мерюсь с пятилеткой...»

Авангард следовал по расписанию, будто курьерский поезд. Остановлены люди (о том Паперный не пишет, да он такой цели перед собой и не ставил).

Недоконченность закономерно обернулась полнотой. Недоделанность перешла в долгоделание (Дворец Советов, коммунизм), далее в долгострой (примеры перед глазами). Вспоминая о полноте, следует помнить об избыточности. Желание соединить несоединимое родит химеры в прямом смысле слова, с головой льва, телом козы и задом дракона. Химеры недаром придуманы греками, и недаром греческое искусство принято за образец, приподнято на позднем этапе развития Искусства Два. Химеры украшают величественные сооружения, воплощаются в архитектуре.

По известной легенде, на ватмане, где Щусев изобразил одновременно два варианта фасада гостиницы «Москва», сталинская подпись пришлась по середине, и потому воплотили сразу оба варианта. Отсюда и фасадная асимметрия.

Резонно возразить: а Филонов? Принцип сделанности? При чем тут недовершенность? Все зависит от точки зрения. Да, картины его проработаны скрупулезно, однако не завершены. Филоновские работы в принципе и не имеют завершения. Часть чего-то, лица, предмета, является частью чего-то другого, лица, предмета, фона. Это философская незавершенность, незавершенность становления, которое длится. Наглядный рост художественной формы, прорастание повсюду («взаимопроницаемость предметов», по словам Ковтуна из каталога филоновской выставки), затягивание пространств.

Что до государственности, ее у Филонова присутствовало поболее, чем у кого-нибудь. Картины не продавал, решив подарить их Советскому государству, предлагал написать для Государства (прописная буква принадлежит самому Филонову) серию реалистических картин.

О незаконченности. Насколько отделана гравюра С. Телингатера «Портрет брата жены»: точность линии, острота решения. А представлена часть лица, нет правого глаза и правой щеки. Разумеется, причиной не заимствование, не торопливость авангарда (отговорка, прикинувшаяся истолкованием). Причины куда более важные. Пробивающаяся античность и тоска по античности (создание химер, делающих эталоном. Выставка «Москва – Берлин»), но о том особо.

(за подбором материалов для статьи)

А подумашь – понимаешь – Анненков ни при чем. Люблю рассматривать его работы. Меньше – живопись, больше – графику. Например, портрет Михаила Кузмина. Вернее, фрагменты портрета, поделенного на квадраты и проработанного везде тщательно и везде по-иному. Где густо заполненному, укрепленному плотью, где зияющему, распахивающему фон: церковь, прозрачные, ажурные дома, частью построенные, частью в проекте, возможный аэроплан, зависший в небе очертаниями, наброском. Становящийся город. Или, как точно сказано о Москве: «Иной уже нет, иная есть, иная будет».

**Иван ЕФИМОВ. ЭРОТИЧЕСКИЕ РИСУНКИ. 1914–1947.
М., Библиотека русской культуры Ольги Ковалик, 1996.**

Несомненно, в его рисунках смешались разные традиции. Греческое искусство представлено телами, опоясанными гирляндами хмеля, сюжетами о деве и лебедь. Турецкий кукольный театр присутствует самой фигурой главного героя графических сюит Карагеца. Негритянская скульптура отразилась в геометризованных черных фигурах. Но легко подобрать и российские аналогии. Придут на память запретные по тематике брюсовские полупереводные, полуоригинальные стихи («понатешился с козой»), запретные, по судьбе автора, клюевские строки («в случае с рысью рычит лесовик»).

Масса людей и животных слилась воедино, прихотливо, откровенно, теша друг друга и наслаждаясь друг другом, вожделея, оплодотворяя. Пусти на свободу ассоциации (дева играет с быком) – и поймешь, как явился на свет минотавр. И только древним грекам с их изощренными понятиями впору представить, кто появится от игр девы и павлина, девы и крокодила, девы и огромной коричневой жабы, тем более если учесть, что Ефимов, художник-анималист, изображает животных точнее, логичнее, убедительнее людей.

Следует ли обвинять рисовальщика в безнравственности? Смех, закваска культуры, безнравственным быть не может, а Ефимов смеется. На рисунке, датированном 15 мая 1929 года, Карагез своим мужским инструментом взламывает закрытую наглухо дверь. Рядом окошко, лицо в окошке словно из стилизованного мирискуснического лубка. Что это, если не отсылка к парикмахерским куклам, припомнит ли зритель «Окно парикмахерской» М. Добужинского, стихи П. Потемкина?

Часто рисунки Ефимова отмечены явной автопортретностью. Автор воплощает себя и в баранообразном рогатом монстре, и в Карагеце – характерный нос, облеченный горбинкой, остроконечная борода, выгибающаяся на конце вперед. Тут присутствует определенная общекультурная закономерность. Пушкин рисовал себя в разных обликах (и конем, и бабой, и стариком). Художнику претит собственная натура? Или он выявляет скрытое, затушеванное внешним?

(перед зеркалом, за бритьем)

Ефимовские рисунки, на первый взгляд точно построенные и пластичные, при внимательном к ним отношении удивляют: части композиций, иногда и части фигур находятся в разных плоскостях. Если считать грехом не помысел, а процесс соития, греха в его графических листах не отыщешь. При самом страстном желании и потакании темным силам куски людей и животных не соединятся воедино, тем более не смогут сотворить плотский грех. Впрочем, помыслы художника чисты, если не считать грехом пародию и насмешку.

Тем не менее концепция окрашивает и ефимовские рисунки. Художник был и профессиональным кукольником, приемы театра марионеток проступают в тематике (Карагез правит мужской инструмент на точиле, бьет им противника по голове), влияют на построение композиций. Народный кукольный театр движется бурлеском, недослышкой, ложной этимологией, корочей, явлениями по природе умозрительными. Исходным толчком для рисунка Ефимова служит и анекдот. Что есть корова? Бык с женским органом, названным по матушке. И рисунок запечатляет женщину-быка, как указано в названии работы. Обыкновенную женщину, обойденную и физической дородностью, и могуществом, наделенную лишь громадой расщелины. Рисунок иллюстрирует анекдот, строится по принципу ребуса. Эмблематичен и рисунок 1937 года, изображающий стаю мужских органов, украшенных крыльями. Панибратство с воздушной стихией диктует и изобразительное решение – вот орган, попавший, словно в легчайшую шелковую петлю, в орган женский, а вот его крылатый собрат, заключенный в клетку (смысл родится от смысла. Железный застенок, сопоставленный с порядковым номером года, – чем не ребус, причем забористый).

И. П. Смирнов утверждает: мы обладаем данностью собственного тела, к ней и свелось человеческое бытие после хождения в лабиринтах опустошенных символов и знаков. Не ведаю, соотносится мое наблюдение с таким утверждением или совпадает исключительно внешне: изображенные мужские и женские органы (трудился ли над ними высокий художник или невежественный похабник) выскальзывают из пределов искусства. Они воплощают только данность.

(у забора)

С. МАРШАК и В. ЛЕБЕДЕВ. ДЕТЯМ. Стихи. М., «РОСМЭН», 1996.

Дама сдавала в багаж

Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку

И маленькую собачонку.

(стихи, перечитываемые ночью, во время бессонницы)

Ложь, будто Маршак и Лебедев сотрудничали, создавая книги совместно. Они боролись, каждый твердил свое. Разве мог Лебедев согласиться с такими стихами:

Вон темно-красная божья коровка,
Спинку свою разделив пополам,
Вскинула крылья прозрачные ловко
И полетела по божьим делам.

На титульном листе «Разноцветной книги» выведена красная звезда. Динамику пятиконечной формы можно увидеть почти в каждом рисунке. Стрекоза (четыре крыла и длинное туловище, направленное от зрителя), бабочка (снова четыре крыла и тяжелое туловище), по строению и по месту на странице противопоставленная стрекозе, будто антитеза, пятипалая морская звезда, верблюды, повернутые боком (ноги и длинная шея, словно лучи. Горбы прикрыты поклажей или восседающими на них людьми. Только верблюжонок с двумя горбами, незаметно пристроившийся в середине иллюстрации, удовлетворяет любопытство и подчеркивает форму других фигур. Законченный полукруг черепахи завершает смысловой ряд). Елка (острый шпик, зеленые лапы, пара над парой), красные звезды среди прочих праздничных украшений (самолетов, флагов, шаров, сходных по цвету, отличных по виду). Картина ночной Москвы – пятиконечные кремлевские звезды встали пятью равномерными уступами.

На обложке оформленных Лебедевым книг, с внутренней стороны или снаружи, часто размещены как бы символы, свод предметов, которые позднее будут действовать в книге либо уже действовали. Мнемоника? Истинные герои повествования? Стадии сюжета? Возможно.

Значит, Е. Шварц не ошибся, утверждая, что Лебедев веровал только в сегодняшний день, а любил больше прочего вещи? Вещи он и впрямь рисовал с любовью, тщательно, вдумчиво. Взять хотя бы «Цирк» 1925 года (а не поделку с таким же названием): воспроизведен даже рисунок на круглых сиденьях венских стульев.

Наиболее сложное для понимания дальше. Слишком прямо пишет Шварц, а потому создается впечатление, будто он Лебедева осуждает, что герой шварцевских мемуаров – отъявленный мерзавец. Между тем и Шварц оговаривается: подобная душа чиста от греха, и Лебедев был действительно человеком. Но текст в силах вместить ровно столько, сколько в силах вместить. «У него была страсть ко всяким вещам. <...> И в Кирове во время войны Лебедев потряс меня заявлением, что ему жалко вещей, гибнущих в блокадном Ленинграде, больше, чем людей. Вещи – лучшее, что может сделать человек».

А если в иллюстрациях к стихотворению Маршака («Цирк», не знаменитый, а плохонький, давно и правильно позабытый) содержится разгадка? В иллюстрациях волнует непонятное соотношение игрушечного и природного. Например, нарисован еж. Иголки, мордочка – чистая реальность, почти реализм (подпалина, глаза, влажный нос). Живая верхняя часть плавно перетекает в деревянную подставку на колесах. Вдруг это – возвышение, возведение живого до высокого ранга предмета и продление жизни, если не бессмертие?

Он подхватывал мелодию времени и оркестровал по-своему, создавал вариации на чужой мотив. Как это происходило? Хотя бы так.

Повисший в воздухе мяч. Три фигуры – большая, поменьше и маленькая. Наверное, юная мама и две дочки (или дочка и подружка?). Черты лица лишь угадываются, как угадываются и отношения тех, кто изображен на акварели. Кто кому кем приходится, надо домысливать. Тревога, сопутствующая угадыванию, когда разгадка близко, еще чуть – и поймешь, отсутствует. Знаком и мяч над землей. Знакома и полосатая футболка рыжеволосой то ли мамы, то ли старшей подруги. Кто не помнит работу А. Самохвалова «Девушка в футболке»?

Художник умен. Он не собирается заимствовать чужой образ. Героини лебедевской акварели разнятся фигурами, возрастом, цветом волос. Лебедев умножает самохваловскую героиню на три. Разводя и объединяя, сравнивая и показывая различия, художник утверждает – современность многолика.

Но это слишком просто. Лебедев усложняет построение. Итак, три фигуры и мяч. В памяти всплывает работа А. Дейнеки того же 1932 года, что и работа Самохвалова. «Игра в мяч». Вот они, три женские фигуры, и даже причудливые узоры на мяче использованы в лебедевской иллюстрации. Акварель тонко разыграна: современность и многолика, и узнаваема.

«Багаж». Вещи. Он мог бы оставить картину прямоугольным цветным пятном, упрятать ее за другими предметами, пусть высовывается только уголок либо край рамы, и того достаточно. При постоянном перечислении мест багажа: диван, чемодан, саквояж – знаешь эти предметы, как свои. Тем более внимание читателей привязано к живому – собачонке. Живому? По Лебедеву, живыми и являются предметы.

Вещи волшебны, мистичны (не отсюда ли вещей?). Даже упомянутая картина. Выход в иной мир? Окно? У классического художника за окном жила бы природа, противопоставленная замкнутости интерьера комнаты. У сюрреалиста окно подчеркивает условность живописи. Оконное стекло разбито, за ним тот же пейзаж. Дурная бесконечность (не оценка, а термин). У Лебедева в «Багаже» изображение на картине, поставленной в разных положениях (луна, два дерева), меняется. Деревья сливаются, опять расходятся, луна заслоняется ночным облаком, проглядывает сквозь серую дымку. словно отсылка к «Сказке о глупом мышонке»: там художник поместил в верхней части каждого рисунка два окна. В них движется круглая и очень светлотелая луна. Постепенно, из одного окна в другое, преодолевая переплет рамы. Иногда заслоняясь облаками. Иллюстрации Лебедева размыкаются в еще более глубокий иллюстративный мир.

ПРИЯТНЕЙШАЯ ТЕНЬ. М., Классика плюс., 1997.

Последнее, завершающее движение ножниц.

Не только невыигрышность искусства силуэта по сравнению со лстящей графикой, но интуитивная боязнь, страх перед силуэтом, тенью, снятием тени, уходом. (на Старом Арбате, посредине пешеходной зоны)

Точность рук и уловление отличий, особенного. Трудное ремесло, тут не подправишь, не затушуешь. Люди боятся в силуэтном портрете отсутствия глаз (а наличие глаз делает лицо страшной черной маской), изображения в профиль. И не ведающие о знаковости, символизме черного цвета, китайском теневом театре, греческой вазописии догадываются.

Что бы ни изображалось силуэтистом – портрет, пейзаж, архитектурный памятник, – работа его твердит об одном. Различия между человеком и предметом утрачиваются. Здесь особая среда. Недаром художник-любитель, создавая портреты людей из рязанского общества, свое изображение поместил на дощечке с изображениями умерших. Недаром искусствовед Э. Голлербах, оформлявший свою книгу о Царском Селе собственноручно сделанными силуэтами, часы, принадлежавшие Пушкину, изобразил со стрелками, застывшими на трех четвертях третьего. И недаром, по мнению искусствоведа А. А. Сидорова, самое трудное в классическом силуэте, вырезаемом из бумаги, – перетекание частей рисунка, единство пятна (то бишь единство силуэтного мира). Эту трудность и стараются снять, рисуя силуэты тушью на белом фоне, реже – белилами на черном.

В мире силуэта строгие законы. Старости нет, возраст утрачивает значение. Разве поймешь по автопортрету Е. Кругликовой, что изображена почти семидесятилетняя женщина? И, одновременно затушевывая, силуэт проявляет скрытое. В портрете художника И. С. Ефимова отчетлива мефистофельская борода и на тылке подобие острящихся рожек.

Изобрели дагерротип, в искусстве силуэта настало временное затишье. С изобретением пулемета остальное стрелковое оружие чувствовало смущение. В бытовом и мистическом сознании фотография смертельна (Олеша испытывал ужас перед фотоаппаратом и наотрез отказывался фотографироваться). Двойничество, поставленное на поток, портрет Дориана Грея, воспроизводимый фабричным способом.

(возле моментальной фотографии на станции метро «Савеловская»)

Темы, разрабатываемые художниками-силуэтистами. Батальные сцены Федора Толстого. Детские сцены Елизаветы Бем. Почему? «В детстве тоньше жизни нить...» (И. Анненский).

Твой образ в сердце врезан ясно;
 На что ж мне тень его даришь?
 На толь, что жар любви страстной
 Ты дружбой заменить велишь?
 Но лъзя ль веленью покориться:
 Из сердца рвать стрелу любви?
 Лишь смертью может потушиться
 Текущий с жизнью огонь в крови.

Возьми ж обратно дар напрасной; –
 Ах! нет; оставь его, оставь.
 В судьбине горестной, злосчастной
 Еще быть счастливым заставь;
 Позволь надеждой сладкой льститься,
 Смотри на милые черты,
 Что как твоя в них тень хранится,
 Хоть тень любви хранишь и ты.

В стихотворении В. В. Капниста сопряжение смерти, тени и силуэта, верное по сути, и такая умелая манипуляция символической и эмблематической, что мнится, части стихотворения противоречат друг другу. Из метания между жизнью и смертью, любовью и дружбой выводит осознание себя в определенной точке культуры, осознание, представляющееся вычурой, аллегорией. Тень человека, запечатленная в силуэте, сравнивается с тенью любви, на которую надеется автор. Жизнь и смерть, любовь и дружба отринуты, вытеснены изящным умозрительным построением. Силуэтное подобие больше не пытается затенить образ человека, а следовательно, не грозит опасностью.

(в букинистическом магазине, листовые книги, сданные на комиссию)

Но главное – последнее движение ножниц! Парка перерезала нить жизни. И человек становился тенью. Полностью отделялся от фона. И его печальная тень брела по Элизийским полям.

Вероятно, последуют возражения: сочинитель создает подобие, муляж, симулякр (В. В. Розанову особо нравились подъязыки, воровской жаргон).

Возражающий не берет во внимание причину, по которой так происходит. Мысль ищет прибежище, страдает укрыться от неудержимого тоталитарного вожделения философов, семиотиков, государственных мужей и государственных жен. Мимикрия мысли, в основу которой положен мимесис, подражание знакомым формам, из культурных ставших почти природными, иногда помогает выжить.

Мерцающей бабочке лучше притвориться листком, чем перестать существовать. Хотя можно привести и опровержение – некоторые считают, что обезьяны притворяются, будто не умеют говорить, дабы их не заставили работать.

Жаркое Anno Domini 1997



Вячеслав КУРИЦЫН

Века за плечами и 150 лет впереди

Ни о чем, наверное, мне не приходилось писать в последние годы так часто, как о жанре перечня. Готовя этот выпуск «Записок литературного человека», я попросил свой компьютер пошариться по моим старым файлам в поисках слов «перечень/перечни». Он стал радостно заваливать меня примерами.

Из дневника Даниила Хармса за 1933 год, где даны в столбиках списки типа «что меня интересует». «Стихи. Укладывать мысли в стихи. Вытягивать мысли из стихов. Опять укладывать мысли в стихи. Проза. Нуль и НОЛЬ. Числа. Знаки. Буквы. Ликвидация брезгливости. Умывание, купание и ванна. Чистота и грязь. Пища. Приготовление некоторых блюд. Подавание блюд к столу. Писание по бумаге чернилами или карандашом. Ежедневная запись событий. Маленькие гладкошерстные собаки. Женщины, но только моего любимого типа. Муравейники. Палки-трости. вода колесо метеорология».

Из теоретических рассуждений того же Хармса о странном жанре перечня: «Любой ряд предметов, нарушающий связь их рабочих значений, сохраняет связь значений сущих... Такого рода ряд есть ряд нечеловеческий и есть мысль предметного мира».

Из Михаила Безродного, который писал в «Конце цитаты», что филологам неплохо ограничиваться перечнем обнаруженных параллельных мест, без всяких комментариев, потому что комментарии в любом случае будут притянуты за уши. Ибо не бывает счастливо точных комментариев.

Из «Альбома для марок» Андрея Сергеева, где перечисляются «имена моего детства: Самолет Максим Горький – ледокол Челюскин / Отто Юльевич Шмидт – капитан Воронин / Молоков – Каманин – Ляпидевский – Леваневский / Чкалов – Байдуков – Беляков...» и музыкальные произведения, звучавшие из радиоточки.

Из романа Вадима Месяца «Ветер с конфетной фабрики». Там идут стройными рядами промышленные предприятия: «Водоприбор, Военхот (Всеармейского военно-охотничьего общества Центр. Совет), вышивальная фабрика, гардеробного обслуживания, гвоздильно-проволочных изделий, «Гипросбетон», глазных протезов, Госплемзавод, деталей низа обуви «Пролетарий» объединения «Рособувпром», желатиновый, жировой, зонтов, зоокомбинат, машин по заготовке сена...» Там тянутся сладкими рядами конфеты: Аистенок, Аленький цветочек, Буревестник, Василек, Вечер, Загадка, Киевлянка, Ласточка, Мир, Ромашка, Апельсин, Волейбол, Радий, Ракета, Счастливое детство...

Из давно написанной, но недавно опубликованной мизантропической саги Александра Кондратова «Здравствуй, ад!»: «О Господин Серотонин, хозяин и владыка Хим-Нирваны! О дядя Алкоголь, апостол Павел нашего бутылочного рая! Дорогие наставники и собутыльнички: морфин-Марфуша, водка столичная, водка московская, водка особая, водка охотничья, водка петровская, водка-50, водка-56 градусов, выборова-экспорта Польши, китайская «ханжа», японское саке, бразильская кашаса! Джин, виски, аспирин, херес, малага, фторотан, пиво всех сортов, самогон, кодеин, белое крепкое, пантопон, твиши, столовое, разномастные портвейны, гидрокадон-фосфат, столовое, коньяк армянский, двин, дагестанский, грузинский, камю, реми, мартен, наполеон, азербайджанский, виньяк, курвуазье, фенамин, шампанское, анаша, плодово-ягодное, фруктовое пойло, первитин, миль, айгешат, трешфшты, кокур, сурож, десертное, люминал, ликер яичный, нембутал, спума де дройбиа...»

Из Довлатова, из Бродского, из Кибирова, из Битова, из Евгения Попова – «Душа патриота» последнего завершается огромным перечнем лиц, за которых автор пьет за новогодним столом.

И т. д. и т. п.

Все это примеры из искусства двадцатого века. Большая часть из, так сказать, постмодернизма. Многие из этих перечней очень ненадежно структурированы, непонятно, по какому принципу собраны. Идеологически они восходят к знаменитым китайским классификациям Борхеса (животные делятся на принадлежащих императору, нарисованных тонкой кисточкой и похожих издали на мух), которые вдохновили Мишеля Фуко на сочинение «Слов и вещей». Природа такого сумбурного перечисления достаточно легко описывается через ситуацию «смерти Бога» и исчезновения идеи Абсолюта: если нет в мире одной главной точки, то классификации могут быть абсолютными любыми. Нет главной или «правильной» классификации. К концу столетия равноправие наивозможнейших классификаций и номинаций нашло яркое отражение в массовой культуре, в шоу-бизнесе и тому подобных приятных вещах. Музыкальная премия «Грэмми» вручается по миллиону номинаций, и лучший исполнитель латиноамериканской музыки среди скандинавов получает такую же статуэтку, как и победитель номинации «лучший вокал». В Национальной хоккейной лиге фиксируется двести рекордов: публике есть чем интересоваться. Оснований для составления списка может быть бесконечно много.

Вещь, болтающаяся в странноструктурированном списке, лишена благословения небес: у нее нет надежного места в безусловной божественной классификации. Но, лишенная этого благословения, она набухает собственно вещностью, самостью. В ней крепнут мускулы имманентности. В нее можно долго и пристально всматриваться, удивляясь, как может быть хороша собственно голая вещь, потерявшая или сменившая контекст, отвечающая сама за себя. Так умеет всматриваться в вещи, например, Андрей Левкин. Описывающий, скажем, колбасу как «длинные и круглые в попереичнике участки вещества...».

У меня на столе – «Каталог музея паноптикума Г. О. Иванова», изданный в Екатеринбурге в типографии А. З. Каца на прошлом рубеже веков. Восковые фигуры Эдуарда Нельсона («англичанин, самый маленький человек в мире, 34 лет от роду, весом не более 23 фун.»), императора Микадо, Пушкина и женщин племени Бубу («любимейшую их пищу составляют собаки, которые откармливаются единственно с этой целью»). Скульптурная группа «Похищение девушки гориллой» («эта группа представляет гориллу в тот момент, когда она правой рукою держит свою жертву, а левою защищается против нападавших на нее»). Милые орудия испанской инквизиции. Страшущая или пыточная скамья, паук («этим орудием вырывалось мясо у осужденных»), испанский воротник («это орудие надевали евреям, которые не желали принять христианство»). Эту книгу мне подарил киновед Сергей Анашкин.

Последним январем мы с Анашкиным принимали участие в одной художественной акции, причем Анашкин производил всяческие магические действия и читал вслух под плотную тягучую музыку какие-то тексты про руки и ноги. Позже я узнал, что эти тексты принадлежат Яну Амосу Коменскому.

Чешский педагог Ян Амос Коменский выпустил в 1658 году книжку «Мир чувственных вещей в картинках», в которой весь явленный ему в ощущениях или понятиях космос был разбит на сто пятьдесят сюжетов. Разбит вполне борхесианским образом, без четкого основания классификации. Семь возрастов человека и Умеренность, Часы и Переплет, Голова и руки и Состязание в беге, Бог, Металлы и Вьючные животные. На каждое понятие была нарисована картинка и написан текст. Вообще-то книжка Коменского имела вполне сермяжную функциональность: обучать детишек латинскому языку. Но из нашего, привыкшего к игре по менее крупным концептам времени эта грамматика считается прямо как космогония. Надо же: Семь возрастов человека... А также Фазы луны, Сосуды и кости. Овоци, Справедливость, Зеркала и оптические стекла...

Московское художественное объединение «М'Арс» затеяло ремейк «Мира чувственных вещей», вполне перекрывающий оригинал и по объему работы, и по размаху. Несколько десятков современных российских художников рисуют сто пятьдесят сюжетов Коменского, несколько десятков современных российских литераторов пишут сто пятьдесят эссе. Подборка, публикуемая сегодня, призвана иллюстрировать любимый тезис автора этих строк: не самое убедительное состояние нынешней отечественной словесности связано прежде всего с проблемами ее функционирования. Писатели умеют писать в тех случаях, когда им есть куда прикладывать свое письмо. Четко сформулированная задача и ясная цель – вот чего не дает русским литераторам несколько расшатанная система литературных журналов и еще не очень налаженная система издательств. Когда же с целью и задачей все ясно, русский писатель вполне способен предъявить и «мысль», и «мастерство», и тонкое чувство. Оцените, с какой бережностью и любовью самые разные русские литераторы подошли к делу. В таком тексте ты один на один с Камнем, с Колосцем, с Медом): ты смотришь ей в глаза и не можешь пренебречь вещью на том глупом основании, что она не защищена контекстом. Ты оказываешься перед необходимостью думать о ней и чувствовать ее. Другое дело, что даже шедевральные миниатюры остаются миниатюрами и не могут заменить больших жанров...

Что же, пусть роль больших жанров играют большие проекты. Все 150 картинок и 150 текстов «М'Арс» выставит в октябре этого года в ГМИИ имени Пушкина и выпустит в виде каталога. Но и это, как говорят в «Магазине на диване», еще не все. В 1998 году предполагается выпустить книжку, посвященную уже только одной из ста пятидесяти чувственных вещей. Той, на которую падет жребий. В разных изображениях, интерпретациях и трактовках. Пресс-релизы «М'Арс» вызывают смешанные чувства: вполне понятные рассуждения о гражданской и творческой позиции и целостном мироощущении вдруг сменяются сообщением о том, что проект с гордым именем «Энциклопедия чувственного мира» предполагает выпуск ста пятидесяти томов. И занять он должен сто пятьдесят лет.

Что же, по-настоящему большие проекты должны соизмерять свое дыхание с фигурами вечности, а не с лоскутками конкретных человеческих жизней. Кельнский собор строят, кажется, уже девятый век, и конец строительства пока не объявлен.

В таких делах нельзя не участвовать.

Станислав ГРИДАСОВ

КОЛОДЦЫ

Вода хлестала, брызгаясь во все стороны с такой радостью, с какой жадностью и выхватывал воду из-под крана. Мама не понимала: куда ж проще взять стакан, из которого быстрее утолить жажду после моего ненасытного футбола, но игра, пробудив азарт хищника, победителя, требовала, чтобы и жажда была одолена вот так, захватнически. В том, как выпиваешь воду из стакана, нет ощущения добычи. Или вот тоже: колонка. Вода была только вкусней от того, что слабосильная детская рука еле удерживала, срываясь-таки, упрямую железку.

Маленькие восторги городского ребенка, только читавшего о колодцах: о том, что с его дна даже днем можно увидеть звезды. А есть ли вообще оно у колодца – дно? Тайные люди, спустившись под землю, залили водой свой лаз, фантазировал я: не может же быть такое чудо чудесное, не сантехнический кран и не дворовая колонка, простым устройством для зачерпывания воды? Простительное детское любопытство – кто не разбирал куклу с интересом, что у нее там внутри? Заглянув первый раз в колодец, уже взрослым, я отшатнулся: из него, из-под воды мне глянуло в лицо что-то, показавшееся исчадием моей судьбы.

Одним вечером, в неприкаянном ожидании вестей о нарождающемся событии, я уснул. Вот тогда мне и приснился колодец. Стоял он посреди сжатого поля. Та женщина попросила меня зачерпнуть воды. Раскрутив ручку, я лихо выставил ей ведро на лавочку подле. Вдруг, подурнев лицом, она спросила: «Тебе было интересно, что у меня там, внутри?» Достав нож, она принялась взбивать краснеющую на моих глазах воду. Заглянув в ведро, где пенилась уже вскипевшая кровь, я дернулся, как от ночного телефонного звонка. На том конце провода, за сотни километров от меня, сказали: «Вот так, понимаешь... Крепись...»

Неродившийся крик был бы только моей личной историей, но колодцев слишком много, и они такие могущественные, что я не советую неокрепшим душам заглядывать из любопытства вниз, под землю, в темные ее воды.

Александр ГЕНИС

КАМНИ

Размеры камня варьируются столь широко, что их можно определить лишь туманно: нечто, расположенное в диапазоне от гор до песка.

Камень, оставленный в покое, неизбежно становится собой. Но такой камень, камень per se, неразговорчив. Его немота вызывающе таинственна. Нам трудно найти с ним общий язык, потому что камень – пришелец. Время камня несовместимо с нашим. Мы только притворяемся современниками. Камень не способен расти, поэтому у него нет ни прошлого, ни будущего. Но и настоящее камня – ненастоящее: оно лишено мимолетности.

Камень до странности неподвижен. Осколок неорганической статики в океане вечных перемен, он не подвержен эволюции. С камнем вообще мало что может случиться. Он может порости мхом, отбросить тень, стать мокрым, потом сухим.

Другая странность камня связана с его внешностью. Что, например, значит «камень естественной формы»? Для него ведь любая форма – естественная, но и – противоестественная. Уникальность, неповторимость камней не выделяет, а прячет их в толпе себе подобных. Все камни так похожи или – что то же самое – так непохожи друг на друга, что нам не запомнить их в лицо. Для того, чтобы познакомиться с камнем, надо выдернуть его, как редиску из грядки, и поселить с собой. Только одомашненные камни приобретают индивидуальность, отчасти напоминающую нашу.

Лучше понять камень помогает его антитеза – вода, без которой он никогда не встречается на восточных пейзажах. Вода и камни указывают на два завидных, но недоступных нам предела: верх твердости и низ уступчивости; невозможность метаморфозы и постоянная готовность к ней; геологическая долговечность камня и неуничтожимая вечность воды.

Камни, считали китайцы, застывшая сперма природы. Но нам никогда не узнать, что вырастет из оплодотворенной камнями земли.

Точно, что не мы.

Илья АЛЕКСЕЕВ

ЗЕМНОЙ ШАР

Картинка на телеэкране, изображающая дымящийся стратосферой шар, снята из Космоса – это то, что я видел в детстве, и с тех пор привык считать шаром то место, где все происходит. Картинка, правда, плоская и безлюдная: ворохи тусклых пятен, соответствующих якобы странам и континентам. И располагается где-то в телевизоре какого-нибудь 82-го года между репортажем о полете, прогнозом погоды и новостями спорта. Космонавты в белых костюмах, плавающие в невесомости, привезли эту плоско-шарообразную картинку, доказывающую, что Земля не стоит на трех китах. Сами были более шарообразны.

Глобус, кокетливо поводящий полюсами и вращающийся вокруг кривой оси, картонный суррогат, профанация шарообразности, безликая копия, приучившая тебя к чувству постоянного превосходства по отношению к земному шару, который ты можешь свободно похлопать по плечу, раскрутить, остановить...

Только когда ты сходишь из троллейбуса и тропинка медленно поднимается в гору, ты идешь по шару. Это очень точное ощущение.

В залах Земля плоская.

В метро – прямоугольная, вытянутая в черную бесконечность закольцованного тоннеля...

«После нескольких дней отсутствия Аркадия Буэндиа вылез из своей каморки и сказал: «Земля круглая, как апельсин».

Это было выше терпения Урсулы. "Если хочешь рехнуться, так Бог с тобой! А детям я не позволю забивать голову всякими глупостями"».

И моя голова тоже круглая, как земной шар.

С торчащими в разные стороны ушами. Которые, в свою очередь, обнимают наушники плеера, из которых слышится рык льва.

Ирина БАЛАБАНОВА (вербализатор)
СВ ПИТ (информатор)

МАШИНЫ

Человек Старый долгое время не знал о существовании Машин, удовлетворяясь изобретением колеса, зубила и топора. Первые Машины появились среди Людей благодаря легендарному Архимеду: рычаги, катапульты и подъемные краны использовались первоначально (как и последующие Машины) в военных целях.

Человеческая история Машин описывалась тремя эрами: эра Рычага, Индустриальная эра и Киберэра. Переход к последующей эре отмечается изживанием антропоморфности и связан с именами великих Землян. Коперник увидел Землю как периферию Космоса и таким образом прорубил окно во Вселенную. Декарт осознал, что человеческое тело – мудро созданная Богом машина, а сердце – обычный насос.

Индустриальная эра характеризуется экстенсивным сотрудничеством Людей и Машин, визуальные образы которого – гигантские доменные печи и конвейеры, армады электронных ламп, кнопок и рубильников, километры телеграфных проводов.

Трансгрессивный прорыв из экстенсивной индустриальной в интенсивную киберэру отсчитывается от первого полета Novus Russian Землянина по имени Гагарин в Космические пространства, не подвластные Земным силам.

Кибернетика, под которой Человек Старый мыслил науку управления интеллектуальными машинами, опровергла себя в киберпространствах. Посредством Звездных Войн и гибкой киберговой политики, исходившей из факта устарения Земли, Человек Старый трансмутировал в Homo Machinus.

Светлана БОГДАНОВА

КУСТЫ

Уже не трава, но еще не деревья, кусты представляют собой маргинальный вид флоры. Их назначение – отделять сочные парки и нежные скверы от остальных, более шумных частей города. Кусты призваны служить стеной, вернее, границей. Будучи неотъемлемым элементом садовой субкультуры и – в то же время – мегаполисного ландшафта, кусты довлеют над бессознательным горожан. Они, как всякая нейтральная зона, как любая соединительная ткань, притягивают к себе людей, стремящихся заняться хотя и стыдными, но естественными отправлениями, – своего рода отщепенцев и заведомых «меньшевиков». Посему кусты могут еще определяться как символ запретного и сладкого, контакт с которым неизменно приводит к прозрению.

Вячеслав КУРИЦЫН

ИСКУССТВО ПИСЬМА

Смыслы, скрытые за рядами букв и прочих символов письменности, доступны только Богу и нашим любимым. Нам самим нечего сказать об этом, нам не дано языка говорить о высоких значениях.

Если мы и можем говорить о красоте, то только о красоте букв. Если мы и можем искренне и преданно служить, то предъявляя в залог искренности и преданности лишь аккуратность и тщательность, с которой мы покрываем значками белую почву бумаги. Пусть пальцы белеют от напряжения, сжимая перо, пусть кончик языка, зажато в волнении между зубами, напряженно дрожит. Пусть адресат нашей преданности видит, как мы стараемся. Почем нам знать, каких он ждет от нас мыслей, страстей и представлений о мире? В этих тонких материях так легко ошибиться маленькому человеку, только и умеющему, что складывать из букв слова, а из слов предложения. Так пусть же мерилom нашей любви будет желание написать красиво, чтобы буквы своим видом не оскорбили лучистого взгляда, которому они хотят принадлежать.

Раньше мы писали от руки, пером или шариковым снарядом, переписывали от руки целые книги, в том числе и очень толстые, и руки стыли в холодном скриптории, и приходилось отогревать их своим дыханием. Теперь мы пишем, ударяя подушечками пальцев по клавишам умных машин, и буковки сами вспыхивают на экране, но они получаются у всех одинаковые, и в них не дышит случайная прелесть ошибки или особо вдохновенного завитка.

Это не беда: в мире много других способов дружбы с вечным искусством письма. Буквы можно татуировать на горячих телах любимых. Их можно оттаивать теплым пальцем на морозном узоре зимнего стекла. Буквы можно печь из теста в виде пышных вкусных хлебов и кушать их с теми, кому это будет нужно.



Однажды в Америке

Мечта идиота

— **Ф**онд газеты «Washington Times» проводит литературную конференцию в Вашингтоне. С такого-то по такое-то... Поэтом N предложена для участия ваша кандидатура. Не сообразовали бы вы?

Легкое оцепенение. Дело в том, что не то что в Америке, но и вообще за границей я не бывал. И на каком-то этапе жизни почти смирился с мыслью, что предложения типа вышеозначенного вполне законно поступают по каким-то иным адресам и спискам, в которых не состою и **не должен** состоять. Потому что все **не могут** состоять. И значит – есть какая-то маленькая правда и логика в том, что одни «там» **бывают**, а другие **не бывают**. И эта правда тоже часть великолепной **фигурности** нашей домашней жизни, все еще отчаянно противостоящей общемировому смещению. Да – так. Но...

Но было бы чистым враньем не признать, что довольно часто мое второе и менее стойкое Я пицало нечто типа: «В Париж хочу!», «В Лондон хочу!» и «Пошел бы ты... со своими совковыми заморочками!» – на что я говорил решительное «цщц».

Но даже оно, это писклявое второе Я, никогда не решалось произнести: **Америка!** Оттого, наверное, что я-то как раз никогда не скрывал своей особой заочной любви к этой стране, именно ее **культуре**, ее **литературе**, но и – ее «боингам», ее автомобилям, ее голливудским фильмам, которые я всегда, не таясь, предпочитаю фильмам, например, Бунюэля или Тарковского. Потому что голливудское кино если не отторгает тебя, то растворяет уже без осадка, и это самое, по моему простейшему разумению, является настоящим (то есть непижонским) **искусством**.

Итак, меня спросили: «Не хотели бы вы?»

– ХОЧУ! – заорало мое второе Я.

Но я схватил его за горло и произнес чужим, незнакомым мне голосом:

– Надо подумать... Напряженный, знаете ли, месяц. Позвоню вам потом.

Я и сам от себя этого не ожидал! Что касается моего второго Я, оно в этот миг просто позеленело от злости. «Чего-чего, ты сказал, у тебя напряженный? – засипело Я, выпучив глаза и потирая травмированное горло. – Вот сволочь! Вот же пижон!» И закончило что-то о своей горькой долюшке быть тенью такого завалыщего и беспросветного идиота.

Но я свое Я не слушал. Я сочинял свой будущий американский маршрут. Потому что порядочный литератор обязан быть фаталистом. И если Судьба произнесла слово **Америка** – значит, она сделала это неспроста. Потом, как и положено, были какие-то «списки», в которые я то попадал, то не попадал, но все это не имело никакого значения. Америка была уже как бы **реализована**.

Их нравы

Негров и чиновников в Вашингтоне действительно подавляющее большинство, как меня и предупреждали. Негры интереснее чиновников, но и подавляют они больше – особенно если забыл отстегнуть от рубашки карточку конференции и тебя приняли за богатого дурака-иностранца, с которого грех не слупить деньжонок. «I'm hungry! Buy me food!» («Я голоден! Купите мне еды!») – кричат они тебе, еще не разобравшись, что ты человек русский и, следовательно, тебя на кривой козе не объедешь. Когда десятый, что ли, чернокожий мой брат застремился ко мне с дру-

гой стороны улицы в восемь часов утра, я сделал несчастное лицо и заорал, не дожидаясь надоевшей просьбы: «I'm hungry! Buy me food!»

На изумленном лице негра постепенно проявилось выражение папаши Бени Крика. «Сдается мне, что этот тип хотел меня обидеть?» – как бы спрашивало это лицо. Я слегка затрепетал. «Зарезан обиженным негром в восемь часов утра в Вашингтоне» – такой некролог не примет ни одна русская газета, кроме разве «Московского комсомольца». Я потянулся было за кошельком. Но вдруг негр заулыбался и вихляющей походкой пошел по улице, бормоча-сочиня на ходу какой-то рэп. Не то он оценил русский юмор, не то принял меня за специфического бомжа, для шику нацепившего на свой воротник карту-значок международной конференции.

Чтобы покончить с немногими отдельными пятнами на солнце американского капитализма, признаюсь, что видел в Вашингтоне аж трех бомжей. Первый пил пиво из банки или бутылки, аккуратно запрятанной в бумажный пакетик. Без пакетика дуть пиво на улице нельзя – заметут! В пакетике можно. Второй бомж не спеша направлялся в Union Station – замечательный столичный вокзал, фасадом и внутренним убранством напоминающий московскую галерею имени Пушкина. Этот второй бомж, хотите верьте, хотите нет, был вылитый Веничка Ерофеев! Он брел целенаправленно со строгим интеллигентным лицом сильно выпивающего и высокодуховного гражданина Америки. Он был помят, но его ноги стройно обтекали потрясающие белые шерстяные гольфы, которые при жаре градусов 35 смотрелись настоящим художественным вызовом. Третий «homeless» (бездомный) – и в это вы уж точно не поверите! – был похож на... критика Льва Аннинского, который – невозможно представить! – три дня пил бы и не брился, но не потерял при этом ни своих очков, ни трезвого и пронзительного взора.

Кстати, в этой цепочке странных сближений на самом деле нет ничего странного. Просто душа Ерофеева в тот день была в Вашингтоне и направлялась – куда ж ей еще идти? – в тамошний Курский вокзал. Бомж а' la Аннинский – еще проще. Если не спать на свалке в тридцатиградусный мороз, не быть битым ментами по два раза в сутки – то даже сильно пьющий и бездомный человек легко сойдет не только за критика Льва Аннинского, но и за Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Америка без Таратуты

В первые дни пребывания в Америке я все не мог понять, чего мне в ней подсознательно не хватает. «Тебе не хватает Таратуты!» – пояснило второе Я, с которым мы хотя и рассорились на эти дни, но совпадая темпераментами восприятий, но все-таки иногда обменивались наиболее сильными впечатлениями. Таратуты?!

А ведь правда!

В моем подсознании материальный образ Америки был как бы заслонен крупным планом этого человека, который долго вел (и все еще ведет?) еженедельный цикл телепередач «Америка с Михаилом Таратутой». Внешне зрение мое видело все, как оно есть, но внутренний глаз (если можно так выразиться, «глаз памяти») диктовал прежнее впечатление: Капитолий – да, Пентагон – да, Белый дом – да, – но впереди этого непременно должна была маячить фигура Гида, снисходительно объясняющего простым советским гражданам: что есть Америка и с чем ее едят.

Смешно сказать: мне не хватало Таратуты! Он должен был быть здесь! Он должен был быть выше Капитолия и шире Пентагона; Америка должна была краешком выглядывать из-за его плеча. Я неожиданно понял, что оказался **наедине с Америкой** – и это чувство было не только странным, но и каким-то страшным... Как если бы внезапно попасть внутрь знакомой цветной картинки и судорожно хватать руками воздух в надежде нащупать привычный глянец, за которым выход из картинки. Возможно, это только **мои** переживания, как-то связанные со слишком запоздалым посещением заграницы (впрочем, кто знает, когда это лучше делать впервые?). Но лишь **оправившись от Таратуты** (по чести сказать, он недурно делал свой передачу), я по-настоящему **оказался в Америке**.

Я сделал это просто. Я подошел к пожилому негру (скажем так, старожилу этих мест), мирно курившему свою самокрутку (натурально!) на обочине M street.

– Sorry! How can I get to Taratuta? (Буквально: как добраться к Таратуте?)

Негр недолго размышлял. Вскоре он весьма подробно объяснил мне, где именно в Вашингтоне находится taratuta, жестикулируя и тыча своей черной ладонью вперед, потом налево, потом направо. И хотя я почти ничего из его объяснений не понял (негритянское произношение с непривычки кажется полной околесицей), я выяснил главное: **при желании** в Америке можно найти **все!** Даже – Таратуту!

Причем таратут будет, как минимум, сто пятьдесят. Это будут люди, отели, улицы, вокзалы, аэропорты и авианосцы. В Вашингтоне тоже есть местный таратута. Но что это именно – вот не понял!

Просто жить

«Городок наш Вашингтон тихий и весь в садах» – примерно так должен был бы начать ихний американский Аркадий Гайдар свой роман «The School» («Школа»). Потому что Вашингтон (за исключением его центра, в котором уважающие себя вашингтонцы предпочитают не жить, а только работать) действительно весь тихий, провинциальный, в зелени и цветах. В Джорджтауне и Александрии (красивейшие места Вашингтона на берегу Потомака) мне иногда казалось, что Америка решила меня разыграть. Где небоскребы в облаках? Где акулы капитализма в рычащих «фордах» – с котелками и сигарами? Где огни рекламы и злачные места? Не затем же я летел сюда, чтоб цветочки нюхать и наблюдать, как студенточки загорают на лужайках, а счастливые мамы выгуливают своих детей и собак!

Впрочем, мудрые люди из нашей делегации (например, питерский прозаик Валерий Попов) сказали мне: для того чтобы «глотнуть» настоящей Америки, надо побывать не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке. И вот, отбив на конференции положенный срок, я на свои «зеленые» рванул в Нью-Йорк прожигать, так сказать, жизнь.

Писать о своем впечатлении от Нью-Йорка, наверное, очень пошло и неприлично. Надо быть страшным гордецом, как Максим Горький и Владимир Маяковский, чтобы таким образом заявить тему: **я и Нью-Йорк**. Еще нелепее было бы сказать: **мой Нью-Йорк** – по аналогии с **моей Москвой, моим Ленинградом**. Пожалуй, наиболее сильным потрясением для меня стало то, что в отличие от Вашингтона (по которому я через день-другой бродил, как по знакомому городу, степенно объясняя растерявшимся туристам-европейцам, как добраться туда-то и туда-то) Нью-Йорк – это город, совершенно исключаящий всякий туристический подход. В нем нельзя просто **находиться**. В нем можно **жить**. **Просто жить** – как выразилась приютившая меня бывшая москвичка, поэтесса Марина Георгадзе.

Первые два дня в слепой гордыне я пытался покорить своими ногами Манхэттен, отказываясь от метро и такси, бодро вышагивая вдоль и поперек всего острова в диапазоне от свыше десятка авеню и не меньше двух сотен пересекающих их street. Подвиг этот, как я вскоре понял, был героически-идиотическим, потому что совершенно не важно, в какой точке острова ты в данный момент находишься, если, конечно, это как-то не связано с работой или намеченной встречей. Манхэттен везде Манхэттен, а Нью-Йорк везде Нью-Йорк – бесконечно разнообразный и бесконечно однообразный Великий Город; разнообразно-однообразный, как всякое не признающее границ **извержение жизни**. Как вулкан и водопад. Как половой акт.

Самые неинтересные фотоснимки вышли в Нью-Йорке. Он не терпит никакой статистики. Но когда идешь по улицам Манхэттена, действительно веришь, что его небоскребы **растут** из-под земли. Вероятно, сто или двести лет назад они были еще маленькими, а через тысячу лет их крона пронзит небеса. Люди же так и останутся возле корней: негры, японцы, русские, китайцы, итальянцы – американцы, в общем. Однажды Манхэттен стремительно погрузится в Гудзон, потому что ни одна почва не в состоянии выдержать давление эдакой махины. И тогда в нем просто добавится жизни: его населят рыбы и крабы, лобстеры и креветки, моллюски и осьминоги... Они сделают это как бы в отместку за то, что люди столько времени пытали их льдом и горячим воздухом в бесчисленных рыбных магазинчиках Чайнатауна – Китайского Города, в одном из которых громадный краб строго погрозил мне клешней, чтоб я очень близко не подходил.

Душа патриота

В Америку попасть трудно, но выбраться из нее даже очень просто. В Америку могут не пустить, как не пустили, скажем, Кобзона. Но задерживать тебя в ней никто не станет. Так вышло, что я опаздывал на самолет. «Не бойся, – сказали наши эмигранты. – Даже если ты опоздаешь на месяц, **они** отправят тебя бесплатно – чтобы ты здесь, не дай Бог, не остался». «Вот еще, большое мне надо, – сказал я. – Дома-то мне лучше». «Да будет тебе заливать-то, – засмеялись наши эмигранты. – Чем же это лучше?» «Понимаете, – важно сказал я, – **мне** дома лучше». «Да чем?» И я ответил предельно искренне и серьезно: «Да я вот там свои любимые тапочки оставил. Забыл с собой взять. Никак не могу без них».

ЛАВКА БУКИНИСТА

ПОЭТЫ ГРУППЫ «ОБЭРИУ». [Б.м.], «Советский писатель», 1994. 3 000 экз.

Обстоятельно подготовленный том демонстрирует три вещи. Чрезвычайно трудно найти что-либо, кроме знакомства и порою дружеских отношений, что могло хотя бы формально объединить столь разных людей и стихотворцев. В прямом сопоставлении очевидна абсолютная величина таланта Н. Заболоцкого, рядом с которым и А. Введенский, и тем более Д. Хармс почти перестают быть. Стихотворные вселенные Н. Олейникова и К. Вагинова столь же несравнимы со вселенной Н. Заболоцкого, но уже потому, что у всех троих они тщательно разработаны и самодостаточны. Следует отметить, вероятно, единственный случай за время существования «Библиотеки поэта»: в книгу помещены стихи последнего здравствующего обэриута И. Бахтерева.

Эдуард ФУКС. ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ ПРАВОВ. Эпоха Ренессанса. М., «Республика», 1993. 51 000 экз. Галантный век. 1993. 50 000 экз. Буржуазный век. 1994. 50 000 экз.

Написанные много десятилетий назад эти книги до сей поры любопытны. Главная тема трехтомника – не взаимоотношения мужчины и женщины, а то, как взаимоотношения меняются во времени, то бишь динамика культуры. И хотя излишняя подробность материала иногда переходит в дробность, все искупают замечательные обильные иллюстрации. Достаточно рассматривать их и не обращая к тексту, чтобы почувствовать, чем эпоха разнится от эпохи.

AD MARGINEM'93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований Института философии Российской Академии наук. М., «Ad Marginem», 1994. 10 000 экз.

Круг рассматриваемых в сборнике вопросов необычайно широк. Среди авторов сборника В. Подорога, С. Бак-Морс, Ж. Деррида, М. Мамардашвили, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр, А. Гараджа. Особый интерес представляет работа М. Ямпольского «Жест палача, оратора, актера», которая является фрагментом исследования «Физиология символического», давно объявленного, но до сих пор не увидевшего свет.

Игорь ГОЛОМШТОК. ТОТАЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО. М., Галарт, 1994. 5 000 экз.

Безвозвратно устаревшее и по методу, и по тональности, и по разоблачительному пафосу исследование. Достаточно привести фрагмент, должный характеризовать творчество таких художников, как А. Дейнека, А. Лабас, Ю. Пименов, А. Самохвалов, и время, на которое пришелся пик их активности: «В пределах уже значительно сузившихся рамок творческой свободы эти мастера еще удерживают некоторые завоевания современного искусства и стремятся на его языке выразить «радостный, энергичный и активный» дух времени между гражданской войной и коллективизацией, когда впрыскивание экстракта свободных рыночных отношений несколько оживило разрушенный организм экономики страны, когда появление в лавках простого хлеба воспринималось как знамение грядущего народного изобилия, когда в каждом вновь выстроенном каменном бараке грезилась черты невиданной доселе архитектуры, а каждая выплавленная тонна стали выдавалась за очередной сокрушительный удар по мировому империализму». Автор монографии, считавший строки своего трактата сокрушительными ударами по мировому социализму, немного промахнулся.

Н. М. ТАРАБУКИН. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ КОСТЮМА. М., «ГИТИС», 1994. 5 000 экз.

Ни двадцать, ни двести слов не смогут объяснить, кто же такой Николай Михайлович Тарабукин и каково его значение для русской культуры. Не узнавший славы, он был из тех, на ком держится время. И редкие публикации, в том числе пре-

красная книга о Врубеле, покажут, сколь умен и талантлив человек, их сочинивший. Даже в лекциях, которые подготовил ученый и которые легли в основу очерков, он предложил оригинальную трактовку типологии одежды.

Давид БУРЛЮК. ФРАГМЕНТЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФУТУРИСТА. Письма. Стихотворения. СПб., «Пушкинский фонд», 1994. 2 000 экз.

Мемуары сочиняют для того, чтобы защититься от прошлого. Памятуя об этом, и следует их читать. И если Д. Бурлюк утверждает: «...о футуризме и о футуристах должно быть написано и изучено все до последнего волоска на голове Велимира Хлебникова», – стоит не умиляться чужим благим намерениям, а сопоставлять написанное с написанным другими. «Они делают еще попытки найти пути и способы заретушировать тягчайшие преступления, совершенные ими. Они теснили его предельно», – утверждал родственник и друг В. Хлебникова П. Митурич, прочитав рецензию на хлебниковское собрание сочинений, написанную В. Трениным и Н. Харджиевым. И добавлял: «А Бурлюк, помимо эксплуатации, как издатель, украл у «Вити» золотые часы, подарок дяди, в компенсацию за проживание у него в имени. Так что, когда дядя спросил: «Где часы?» – Велимир в ответ дал ему адрес Бурлюка». Под собирательным «они» П. Митурич подразумевал и левовцев, и А. Кручных, и, разумеется, Д. Бурлюка. А потому не странно ли, что в приложении издатели (осознанно ли, по незнанию ли) нашли возможным опубликовать рукописи В. Хлебникова, хранящиеся в Российской Национальной библиотеке.

ЛОВЕЦ ЧЕЛОВЕКОВ. Сборник мистической прозы. М., «Республика», 1993. 51 000 экз.

Мистика в равной мере противится и восприятию, и демонстрации, недаром считается, что прикоснуться к ней могут лишь специально подготовленные либо очень тонко организованные натуры. И если в искусствах, связанных с изображением, ее можно представить привычной символикой, в литературе мистика обычно явлена напряженным ожиданием возможных событий, неясной тревогой, переданной при помощи интонации. Но как раз интонация по большей части и теряется в переводе. Что же до авторов книги, они, каждый по своему разумению, создавали собственную литературу, ставили особые психологические, стилистические, повествовательные задачи, вряд ли догадываясь, что когда-нибудь в их произведениях будут выискивать мистику. Данное утверждение справедливо для перевода, но не самой повести Г. Джеймса «Поворот винта», с которой следовало бы познакомиться в оригинале. Зато трое других от мистики попросту далеки. Э. По прославлял силу логического мышления, способного самое загадочное преступление разложить на составляющие, понятные даже обыкновенному человеку (едкая авторская ирония действовала на повествовательную материю, как растворитель). А. Бирс, мрачный шутник, имел сложно разработанную, разветвленную философию бытия, где таинственному месту отведено, но знание об истоках таинственного одновременно и лишало его ореола непостижимости. К сожалению, философия А. Бирса до сей поры в должной мере не исследована. Д. Кольер – имя для наших читателей новое – пришивает в свои новеллы столько отстраненного юмора, что любая загадочная и тревожная ситуация неизбежно оборачивается фарсом.

Джон ДОНН. ИЗБРАННОЕ из его элегий, песен и сонетов, сатир, эпиграмм и посланий в переводе Г. Кружкова с добавлением гравюр, портретов, нот и других иллюстраций, а также с предисловием и комментариями переводчика. [Б.м.], «Московский рабочий», 1994. 5 000 экз.

Пожалуй, все, что нужно о нем знать, добросовестно изложено в стилизованном названии самого сборника. Добавить остается немного. Хотя Г. Кружков неплохой поэт и умелый, порою удачливый переводчик, предпринятая им попытка заведомо обречена. Так сложилось, что в восприятии российского читателя английский метафизик будет представлен стихами И. Бродского «Большая элегия Джону Донну» и несколькими его переводами, впрочем, столь же теряющимися рядом с элегией, как теряются и переводы Г. Кружкова. И, вероятно, иного Джона Донна на русском языке уже не будет.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Читайте в ближайших номерах

АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА

**«ПРИЗВАНИЕ РЮРИКОВИЧЕЙ,
ИЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ЗАГАДКА РОССИИ».**

Книга вторая. Часть вторая.

«Процесс становления человечества есть процесс подавления одной «цивилизацией», хищнической, всех остальных, альтернативных ей; но как во всемирной истории, так и в национальных историях народов (и прежде всего в истории славянства) он представлен некой благотворящей неизбежностью, неким идиллическим верховенством общечеловеческих (древнеегипетского, фараоновского первоуродства) ценностей над ценностями варварского (языческого) бытия; на самом же деле сей страшный поворот истории совершался в условиях ужасающего насилия, так что не только славянство, но и многие другие народы оказались как бы вырванными из привычной им социальной и нравственной среды обитания...»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца этого года и в 1998 году
«Октябрь» предполагает опубликовать
новые произведения известных авторов.*

Среди них:

- Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.
- Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.
- Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**
- Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс.** Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.
- Даниил ГРАНИН. **Повесть.**
- Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**
- Владимир КАНТОР. **Соседи.** Повесть.
- Юрий КАРЯКИН. **Дневник русского читателя.**
- Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.
- Анатолий КИМ. **Роман.**
- Юнна МОРИЦ. **Рассказы. Стихи.**
- Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**
- Анатолий НАЙМАН. **Славный конец бесславных поколений.**
Главы из книги.
- Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.
- Олег ПАВЛОВ. **Повесть.**
Записки из-под сапога. Рассказы.
- Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**
- Валерий ПИСИГИН. **Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург.**
Документальное повествование.
- Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1939 года.**
- Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
- Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.
- Уильям САРОЯН. **Рассказы.**
- Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.
- Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники. Стихи.**
- Военный дневник** великого князя Андрея Владимировича РОМАНОВА.
- А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Юрия ДАВЫДОВА, Григория КАНОВИЧА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Асара ЭПЕЛЯ и др.

Следите за нашей дальнейшей рекламой!